

ФОЛЬКЛОРНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В СВЕТЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

*© Н. А. Криничная
Петрозаводск*

Мифологема сотворения мира и ее христианская трансформация (русско-карельские параллели)*

Космогонические мифы относятся к древнейшему духовному наследию человечества. Именно они отвечали на вопрос о начале и устройстве Мира, о сущности его творца, о месте человека во Вселенной. Такие мифы зафиксированы и на территории Карелии. Они обнаружены здесь в различных этнокультурных традициях – русской и карельской, а также в разных жанрах фольклора: легендах, духовных стихах, эпических песнях. Типологическое сходство, наблюдаемое между сюжетами в той и другой традициях космогонической мифологии, значительно превалирует над другими формами этнокультурных связей. Длительное взаимодействие на территории Карелии названных соседствующих традиций, каждая из которых поддерживала бытование другой, обусловило уникальную сохранность фольклора, в том числе и интересующих нас древних сюжетов.

Вместе с тем нельзя недооценивать и наличие генетических связей, ярко проявившихся в фольклорных традициях Карелии. Если русская космология своими корнями уходит в праславянский и – шире – индоевропейский мифологический фонд, то карельская соответственно в финно-угорскую и далее в прауральскую общность.

Свою лепту в картину межэтнических взаимодействий в той или иной мере вносят и контактные, в данном случае прежде всего культурно-религиозные связи. Преобладающее конфессиональное единство русских и финно-угров

* Автор выражает благодарность кандидату искусствоведения В. Г. Платонову за консультации по иконописным сюжетам, связанным с темой публикации.

облегчило подобное взаимовлияние. Укрепление христианства на Руси сказало на фольклорной традиции. Определенная трансформация коснулась и восходящих к язычеству мифов о сотворении Мира. Их христианская «перелицовка» происходила под воздействием церковно-христианской и апокрифической литературы. Ее поток, идущий из Византии через южнославянские земли, не прерывался с самых первых веков христианства на Руси, что, однако, не исключало и других культурно-религиозных влияний.

Обратимся к рассмотрению фольклорных текстов.

В русских космогонических мифах, уже перешедших в силу их христианизации в разряд легенд, началу сотворения Мира предшествует первородный хаос. Его воплощением служит всеобъемлющая водная стихия, бесформенная и недифференцированная: «Было время, когда не было ни земли, ни неба, а была одна вода»¹. Такое состояние уподобляется библейской *бездне*, обозначающей первоначальные мировые воды и связанной с космогенезом: «<...> и тьма над *бездной*; и Дух Божий носился над *водою* (курсив мой. – Н. К.)» (Быт. 1. 2). В этой универсальной природной стихии заключены нерастроченные потенции к созиданию, к установлению упорядоченного мироздания. Не случайно в обрядах и верованиях вода повсеместно наделяется животворящей силой, порождающей, исцеляющей, обновляющей. В известном смысле – это первоэлемент Вселенной: «Как Бог творил мир, была сначала везде всё вода»².

Заметим, что репрезентацию состояния, связанного с первичным водным хаосом и его преодолением, по сути, содержат в себе мифы о всемирном потопе, известные в фольклоре народов мира. Тем не менее именно библейская версия сыграла санкционирующую роль в формировании русской легенды о Ноевом ковчеге, записанной и в Карелии: «Бог сильно разгневался на людей, послал всемирный потоп. <...> Сорок дней и сорок ночей непрерывный дождь – и ничего не осталось. Все потопло»³. Числом «сорок» в фольклоре обычно обозначается лиминальный период, в течение которого свершается переход из одного состояния в другое. В результате мир опять возвращается к первородному хаосу, для преодоления которого потребуются вторичный (если не очередной) космогонический акт.

В качестве единственной изначальной природной стихии изображаются воды и в карельских эпических песнях, повествующих о создании Вселенной. Независимо от того, где было снесено птицей-демиургом космогоническое яйцо: на синей кочке, синем островке, на колене Вяйнямёйнена, упавшего в море и годами плававшего по волнам, либо на лопатках Иисуса, а то и на мачте проходящего судна, – оно неизменно вызревает среди водного пространства.

Если экспозиция, которой предваряется сотворение Мира, сходна и в русской легенде, и в карельской руне, то сценарий самого космого-

нического акта имеет стадийно обусловленные различия. В карельских эпических песнях творцом-демиургом представлена утка (варианты: гусь, орел, ласточка). Рассекая крыльями первородный хаос, она дни и ночи без усталости летает, парит в поисках той единственной точки опоры, с которой и начнется сотворение Мира. Найдя место для гнезда, она согревает своим теплом это «золотое яйцо» – вместилище будущего космоса.

И тогда яйцо разбилось,
Шесть и семь кусочков стало,
Верхняя часть скорлупы
Обернулась верхним *небом*,
Нижняя часть скорлупы
В *твердь земную* превратилась.
А белок яйца [той утки]
Солнышком на небе греет,
А желток яйца той утки
Месяцем на небе светит,
А осколки от скорлупки
Стали *звездами* (курсив мой. – Н. К.) на небе⁴.

Уже в этой эпической песне, отразившей черты древнего мифологического сознания, обозначились дуальные модели сотворения Вселенной: небо – земля, солнце – месяц, возникшие из верхней и нижней частей яичной скорлупы, желтка и белка.

Мотив сотворения Мира из яйца, снесенного водоплавающей птицей, обнаруживается и в саамском мифе: Земля образовалась из травинки, вокруг которой летала уточка, а из снесенных ею яиц возникли деревья, животные, люди⁵. Этот мотив находим и в коми мифологии. Возможно, что подобные космологические представления нашли отражение и в традиции создания пластических форм, относящихся к так называемому пермскому звериному стилю. В их числе – птицевидный персонаж, фигурирующий на металлической литой подвеске, датированной VI–VIII вв. Того же ряда и онежский петроглиф в виде водоплавающей птицы (лебедя?) со снесенным, как предполагают исследователи, мировым яйцом. Его «возраст» свыше четырех тысячелетий.

Такое яйцо (по сути, сама водоплавающая птица) в рассматриваемых космогонических мифах служит исходным «материалом» для первотворения. Подобного рода «птичьи» образы – отголоски древних космологических представлений, связанных с зооморфной (а в данном случае – с орнитоморфной) моделью Вселенной.

Осколок мифа о птице-демиурге обнаруживается, как это ни удивительно, даже в библейском сказании о сотворении Мира. Так, в ветхозаветной Книге Бытия при упоминании о Духе Божием, который *носился* над водой, в оригинале, как выяснили исследователи, используется глагол, обозначающий не только быстрое передвижение, полет, но и высиживание наседкой яиц в гнезде. Русский синодальный перевод Библии оставил, по сути, незамеченным второе значение этого слова⁶. А между тем уже в IV в. один из отцов церкви Василий Кесарийский, разъясняя смысл выражения «и Дух Божий носился над водою», писал: «Дух согревал и оживотворял водное естество <...>, наподобие того, как *птица высиживает яйца* (курсив мой. – Н. К.), сообщая им через это некоторую живительную силу»⁷.

В русской же традиции некогда бытовавший миф о сотворении мира из яйца по мере того, как в него переставали верить, все более удалялся в область художественного вымысла, пока и вовсе не перебазировался в сферу сказки. Об этом, в частности, свидетельствуют реконструкции этого мифа, предпринятые В. Н. Топоровым на материалах русской волшебной сказки⁸.

Зато в русской мифологической традиции так и не изжила себя до конца более поздняя, антропоморфная модель Вселенной. Она сохранилась главным образом в духовном стихе о Голубиной книге, варианты которой были зафиксированы и на территории Карелии. Вместо привычного для подобной космогонии первочеловека-великана, из плоти которого и создается мир, в отдельных текстах духовного стиха в качестве «материала» для творения Вселенной представлен сам Иисус Христос. Согласно этому стиху, компоненты космоса образуются от частей его тела, а также от некоторых материализованных абстрактных категорий, маркированных именем Христа: *солнце красное* – от Божьего лица, *млад светел месяц* – от его грудей, *звезды частые* – от Божьих риз, *ночи темные* – от Господних дум, *зори утренние* – от его очей, *ветры буйные* – от Святого Духа, *белый вольный свет* – от Суда Божия. Так возникает антропоморфизированная модель Вселенной.

С мифом о сотворении мира птицей в рассматриваемых традициях преемственно связан другой сюжет: Мир создают *две* птицы, в *разной степени* противопоставленные друг другу. Такой космогонический миф основывается на дуальных моделях, или бинарных оппозициях. «По досюльному окиян-моря плавало два гоголя: один бел гоголь, а другой черен гоголь», – говорится в русской легенде, записанной в Занежье⁹. В парном сочетании творцов-демиургов возможны закономерные замены и трансформации. Основной персонаж обычно антропоморфизируется, в то время как его помощник-антагонист сохраняет

в своем облике прежние «птичьи» черты (чаще утки, гоголя, гагары). То же наблюдается в аналогичных мифах, бытующих у финно-угорских народов. В парном сочетании демиургов в соответствующих мифах коми фигурируют Ен и Омоль: они вылупились из двух яиц, снесенных уткой и мировом океане (по другим вариантам, плавали в образах лебедя и гагары или летали в облике двух голубей). В удмуртской мифологии дуалистическое деление мира определяют Инмар и его брат Керемет. В марийской космологии подобную пару составляют братья Кугу-Юмо и опять-таки Керемет, который плавает в водах первородного океана в облике селезня. Аналогом подобного рода демиургам в мордовской мифологии является Шкай, изначально обитающий на камне среди первозданного водного хаоса; ему противопоставит Шайтан, архаическим предшественником которого также была птица (его душа помещена в яйцо, а яйцо – в утке, плавающей по Великому океану). В обско-угорской традиции, мансийской и хантыйской, подобным персонажам соответствуют Нуми-Торум и Куль-Отыр, принявший облик гагары¹⁰. Аналогичные персонажи известны и в орнаментике финно-угорских и славянских народов: парные водоплавающие птицы фланкируют мировое древо, соединяющее миры и символизирующее Вселенную.

И в русских легендах, зафиксированных не только в Карелии, но и в различных областях России, в других славянских землях, и в финно-угорских мифах каждый из первых членов этих бинарных оппозиций – носитель доброго начала, тогда как его антипод – создатель зла на Земле. В основе рассматриваемого сюжета лежит идея дуалистического деления Вселенной на «светлую» и «темную» сферы. Создание Мира вырисовывается как противоборство двух изначальных сущностей, двух универсальных противоположностей, а сам космогонический акт – как некое достижение равновесия между силами упорядоченности и хаоса, света и тьмы, добра и зла. И в русских легендах, и в финно-угорских мифах творцы создают твердь из горсточки земли, песка, ила, подчас из камня, поднятых с третьей попытки со дна первородного океана на поверхность мировых вод пернатым дублером и одновременно антиподом главного демиурга. И в той и в другой космологии один из творцов создает ровную и благодатную землю, тогда как другой – гористую, непригодную для человеческого бытия.

Космогонические мифы финно-угорских народов *в основе своей* сохраняют дохристианские представления о мироустройстве, в то время как русские в значительной мере уже христианизированы, хотя в них так до конца и не изжиты подспудные языческие пласты.

В дуальной модели христианизированных русских легенд место птиц-демиургов заняла другая пара противопоставленных творцов-антиподов – Господь и Сатана: «На воды плавало две утки. В одной утке заключался Бог, а в другой – Сатанаил», – говорится в легенде, зафиксированной на территории Карелии¹¹. Как видим, одна из «ячеек» дуальной модели, выработанной традицией преимущественно для изображения водоплавающего демиурга, теперь оказалась пригодной для изображения Бога, Господа, Господа Вседержителя, Саваофа (в легендах, как и в иконографической традиции, связанной с изображением Творца Мира, это персонажи-синонимы). Возможность замены языческого крылатого демиурга христианизированным творцом поддерживалась иконографией – этой «книгой для неграмотных»: когда Иисус созидает Мир в облике Ангела Великого Совета, то есть Христа до воплощения, он, естественно, крылат. «Крылатость» Творца Вселенной особенно ярко проявилась в народной гравированной Библии мастера Василия Кореня, созданной в конце XVII в.

Сам же космогонический акт даже в христианизированном виде описывается в сугубо крестьянских категориях. Он осмысливается как посев, где семена – горсть песчинок, а почва – мировые воды. Созревший же урожай – Земля, нередко отождествляемая с Миром. Это не просто твердь, но целое мироздание, с морями, реками, озерами, лесами. По другой версии, творимая Богом земля растет, всходит, подобно тесту в твориле, от раскинутой по воде горсти песка пошли пузыри, земля киснет, увеличиваясь в размерах. Не случайно ведь и слово «творить» в родстве с диалектными лексемами «творево», «творилка» – тесто и дежа, квашня. В рамках устной легенды сугубо бытовые элементы органично сочетаются с библейско-христианскими представлениями, сформулированными на все века в ветхозаветной Книге Бытия: «И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша; и стало так. (И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша.) И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями: и увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1. 9–10). Обратим внимание, что в библейской космогонии Бог с самого начала выступает как единственный творец и мироустроитель. Таким же он предстает на иконах «И почи Господь в день седьмый...», «Символ веры», равно как и в композициях «Сотворение мира», «Господня земля и исполнение ее», в росписях папертей русских храмов, в рукописной миниатюре.

Однако на рассматриваемый нами сюжет русской народной легенды оказала влияние не только христианско-церковная, но и христианско-апокрифическая литература. Согласно апокрифической Беседе трех святителей, мир творили два начала: предвечное высшее начало Саваоф и противостоящее ему существо – Сатана, который и здесь изображается в виде птицы-гоголя.

Такое осмысление сотворения Мира сложилось под влиянием восточно-гностических и манихейско-богомильских учений, возникших в качестве религиозно-философских течений в период раннего христианства. В них христианские религиозные догматы причудливо сочетались с восточной мифологией. Отголоски этих учений, нашедших свое выражение и в апокрифах, через южнославянские земли достигли в свое время и пределов Руси¹².

В дуальной модели мироздания, сформировавшейся в славяно-русской и финно-угорской традициях, имелась, как мы помним, «ячейка» и для антагониста, противостоящего основному творцу. Ее-то и заполнил персонаж, носящий имя «Сатана», которое в переводе с древнееврейского означает «противник», «противоборствующий». Еще в III в. александрийские богословы отождествили Сатану, изображаемого в Ветхом Завете в качестве падшего ангела, с дьяволом, «князем тьмы», противником Бога¹³.

Деяния Бога и Сатаны в рассматриваемой легенде определяются бинарными оппозициями, первая часть которых соотносится с положительным началом, а вторая – с отрицательным: светлый – темный, верхний – нижний, правый – левый, восточный – западный (северный), равнинный – гористый. Они сыграли свою структурирующую роль в дуалистической картине создающегося мира.

Таким образом, данный фольклорный сюжет сложился на пересечении различных традиций – вербальных и изобразительных, устных и книжных, бытовых и религиозных, языческих и христианских. Он – продукт творчества многих народов, близких и далеких этнически или территориально. Это в полной мере относится и к рассмотренным в данной статье русско-карельским параллелям.

Архетип таинственного действия сотворения всего сущего, маркированного знаком водоплавающей птицы, и поныне живет в нашей генетической памяти, питает подсознание современного поэта. И рождаются строфы о невозможности постичь заключенную в обыденности тайну мироздания:

И ничего не выразить стихом,
Когда взлетают утки над рекою¹⁴.

¹ Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельниках // Изв. Имп. общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 13. Тр. этнографического отдела. М., 1874. Кн. 3. Вып. 1. С. 87.

² Ширский А. А. Из легенд Ветлужского края // Тр. Костромского научного общества по изучению местного края (Третий этнографический сб.). Кострома, 1923. Вып. 29. С. 6.

³ Архив Карельского научного центра РАН. Кол. 165. № 1100.

- ⁴ Карело-Финский народный эпос / Сост., вступ. ст., перевод, примеч. В. Я. Евсеева. М., 1994. Кн. 2. I. IV. С. 13–14.
- ⁵ Чарнолуский В. В. Легенда об олене-человеке. М., 1965. С. 122.
- ⁶ Евсюков В. В. Мифы о вселенной. Новосибирск, 1988. С. 29.
- ⁷ Святоотеческая хрестоматия / Сост. Н. Благоразумов. М., 1883. С. 231–232.
- ⁸ Топоров В. Н. К реконструкции мифа о мировом яйце (на материалах русских сказок) // Тр. по знаковым системам. Тарту, 1967. Т. 3. С. 81–82.
- ⁹ Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Петрозаводск, 1991. Т. 3. С. 181.
- ¹⁰ Айхенвальд А. Ю., Петрухин В. Я., Хелимский Е. А. К реконструкции мифологических представлений финно-угорских народов // Балто-славянские исследования. М., 1982. С. 162–192 и др. работы.
- ¹¹ Архив Карельского научного центра РАН. Кол. 40. № 187.
- ¹² Щапов А. П. Исторические очерки народного мирозерцания и суеверия // Щапов А. П. Соч.: В 3 т. СПб, 1906. Т. 1. С. 100.
- ¹³ Серов С. Я. Дьявол // Религиозные верования: Свод этнографических понятий и терминов. М., 1993. Вып. 3. С. 76.
- ¹⁴ Сойни Е. Г. И найдется ветвь... Петрозаводск, 1997. С. 33.

© Н. В. Дранникова
Архангельск
© Р. Ларсен
Тромсё (Норвегия)

Предания о чуди в норвежском и русском фольклоре

Статья посвящена преданиям о чуди, существующим в России и Норвегии. Кем же является чудь – реальным народом, действовавшим в определенном историческом контексте, или же – мифологическим персонажем? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к различным упоминаниям о чуди, которые сохранились как в исторических источниках, так и в русских преданиях, и в норвежских историях (сагн). В наши задачи входило: 1) раскрыть значение слова «чудь» в норвежской и русской культурах; 2) провести анализ сагн и преданий о чуди с целью установления основных сюжетообразующих элементов. Для этого вначале мы обращаемся к значению этого слова в норвежской культурной традиции, затем – в русской.

Изучением семантики и функционирования данного этнонима занимались исследователи: в Норвегии – Л. И. Хансен, С. Солхейм, Ф. Стремстед и др., в России – Д. К. Зеленин, Д. В. Бубрих, В. В. Пименов, А. И. Попов, Р. А. Агеева, Е. А. Рябинин, А. К. Матвеев¹ и др.

В работе использовались синхронный и диахронный методы анализа исследуемого материала, записи которого охватывают более чем полутора-вековой период. Первая фиксация преданий была осуществлена в 1856 г. С. В. Максимовым, последние записи относятся к современному

периоду. Записи норвежских сагн были сделаны Ю. К. Квигстадом на рубеже XIX–XX вв.²

Этноним *чудь* в русской культуре имеет длительную историю. В настоящее время в Архангельской области в этом же значении употребляются слова *чухарь*, *чуча*, *чукча*, *чучкарь*³. Существуют различные точки зрения о возникновении слова *чудь*. Р. А. Агеева приводит многочисленные гипотезы о происхождении этого наименования и его этнической идентификации⁴. Приведем одну из них. Исследовательница высказала предположение, что «название древнего племени „чудь” связано с обозначением глухаря в саамском и некоторых других языках территории Севера»⁵. М. Фасмер также предположил, что наименование «чухарь» возникло в результате преобразования финно-угорского названия глухаря⁶. А. И. Попов считал, что у саамов слово «чудде» / «чутте» означает враг, противник⁷.

Обратимся к истории значения слова «чудь» в русской культуре. Чудь – таинственный народ, некогда живший на территории Русского Севера. Ю. И. Смирнов придерживается мнения о том, что *чудь* относилась к группе прибалтийско-финских народов. Одно из первых упоминаний о чуди встречается в «Повести временных лет» (около 1113 г.)⁸. В ней приводится свидетельство о том, что, преодолев сопротивление чуди, «славяне автоматически стали называть чудью другие финноязычные народы»⁹. Русское название «чудь» (*tsjude*) было, таким образом, расширительным, не включавшим точной этнической идентификации¹⁰.

Как полагали Д. К. Зеленин, Д. В. Бубрих, В. В. Пименов, А. И. Попов, Р. А. Агеева, Е. А. Рябинин и др., *чухарями* и *чудью* называли вепсов¹¹. Н. Первухин в 1888 г. распространял наименование *чудь* на вотяков¹². М. Фасмер писал о том, что *чухарь* «название близкородственного карельцам населения в у.<езде> Лодейное поле»¹³. В словаре В. И. Даля *чудь* названа «народом дикарем, жившим, по преданию, в Сибири, и оставившим по себе одну лишь память в буграх (курганах, могилах)»¹⁴. Остатки чуди Ю. И. Смирнов видит в сету – обрусевших эстах¹⁵. Норвежский исследователь Л. И. Хансен считает, что *чудь* – это не только финские народности, жившие у Балтийского моря, но и другие, с которыми русские контактировали, – воты и эсты на западе.

Образ чуди сохранился в русской и норвежской повествовательных традициях. В Норвегии устные рассказы называются сагн. О. Сольберг утверждает, что слово *sagn* связано с глаголом *å si* (говорить)¹⁶.

Рассказы о чуди публиковались в Норвегии Ю. К. Квигстадом, С. Соллеймом, Т. Стурюрдом, Л. Стэрком, О. Сольбергом¹⁷. Ю. К. Квигстад собрал в конце XIX – начале XX в. самую большую коллекцию саамских преданий и сказок. В его книге находится 21 рассказ о чуди, которые были записаны как от норвежских, так и от русских саамов, проживающих на Кольском по-

луострове. Эти истории до сих пор бытуют в северной части Норвегии. С 1998 г. Р. Ларсен вместе со студентами колледжа г. Тромсе собирает саги этой части страны. Его работа завершилась изданием в 2002 г. книги «Люди без головы и очоочевшие путешественники автостопом»¹⁸. В нее вошли 144 текста, 10 из них – содержат информацию о чуди.

В XIX в. в России предания о чуди публиковались в книгах и в периодической печати исследователями, собирателями, краеведами, путешественниками и писателями (С. В. Максимов, П. С. Ефименко, А. Кастрен, Д. Н. Островский, Н. Н. Харузин, А. Шустиков и др.)¹⁹.

С конца 1980-х гг. студенты Поморского государственного университета (г. Архангельск) под руководством Н. В. Дранниковой записывают предания о чуди на территории Архангельской области. Таким образом, была собрана обширная коллекция текстов об этом персонаже. Интересующие нас предания были обнаружены в различных районах Архангельской области.

В России предания о чуди изучались Ю. И. Смирновым, Н. А. Криничной²⁰ и др. Ю. И. Смирнов опубликовал указатель мотивов «Предания Европейского Севера о чуди», который до сих пор остается единственным в русской науке. В отдельную группу выделены эти предания в «Указателе типов, мотивов и основных элементов преданий» Н. А. Криничной.

Л. И. Хансен, проанализировав многочисленные исторические источники, пишет о том, что события, связанные с чудью, восходят к средневековой приполярной Скандинавии²¹. О. Бё считает, что подобные саги возникли в северных территориях²², граничащих с современными Россией и Финляндией, а также Швецией и Норвегией, о чем свидетельствуют истории, записанные от луле-саамов²³.

Дальнейший анализ мест записи преданий и сагн дает возможность сделать вывод о том, что сюжеты о нападении чуди на местное население оказались распространены среди саамов, в том числе и кольских, проживающих в Мурманской области России²⁴. Истории о чуди, вероятно, восходят к воспоминаниям о разбойных набегах на этот народ. Уже в конце эпохи древнорвежского вождя Отара имели место нападения квенов, говорящих на финском языке, на Северную Норвегию. Квены были отдельным народом²⁵. С конца XII в. древнорвежские источники описывают Квенландию как район, находящийся на границе Финляндии и Карелии²⁶. Начиная с XVIII в. слово «квен» получает еще одно значение – финн-эмигрант, переселившийся в Северную Норвегию.

Вначале норвежская государственная власть не рассматривала территорию проживания саамов (*Sameland*, или *Finnmark*) как владения короля²⁷. Несколько веков эта территория была местом различных столкновений и обоюдных разбойных набегов²⁸. В начале XIII в. для ее населения стали угрозой карелы, политически представлявшие Новгородскую республику (в

конце XV в. они стали действовать от имени Москвы). Известно об 11 набегах карел на побережье Северной Норвегии в период с 1250 по 1444 г.²⁹

К какой этнической группе относят чудь сами исполнители – жители Северной Норвегии? В уже названной книге Р. Ларсена приведены истории, в которых говорится о том, что народ-захватчик приходил с востока³⁰. В двух первых разбойников называют *русскими*, в третьей упоминаются *карельские банды разбойников*, которые, кроме того, именуются еще *чудью* и *русскими*. В четвертой чуждь – это банды разбойников из России и Финляндии. Ю. К. Квигстад отмечал, что названия *русская чуждь* и *карельская чуждь* являются взаимозаменяемыми³¹. Это позволяет нам сделать вывод, что название «чуждь» допускает более широкое толкование, оно использовалось как наименование различных этнических групп, пришедших с востока в Северную Норвегию. Этой же точки зрения придерживается Ф. Стрёмстед³². В рассказах, записанных от кольских саамов, чуждь приходит с запада. Свидетельства о постоянных набегах шведов на Кольское Поморье в начале XVII в. содержит статья К. Козьмина³³.

Возможно, что бесчисленные истории о *карельской* или *русской чужди*, нападавшей на население провинций Финмарк и Тромс, отражают исторические события. Также не следует игнорировать возможность того, что этой группой «чужеземных» сборщиков податей могли быть и другие северные соседи – шведы, датчане, финны или же квенны³⁴. Т. Стурюрд опубликовал предания о чужди, записанные среди луле-саамов в провинции Нурланн на границе со Швецией. Образ чужди, присутствующий в рассказах, нельзя соотнести ни с карелами, ни с иными финно-угорскими народами³⁵, вероятнее всего, что это наименование относилось к шведам. В различных саамских регионах название «чуждь» было адаптировано к местным иноэтническим контактам³⁶.

Особенности функционирования слова «чуждь» в саамском и норвежском языках можно проанализировать на примере географических названий. Топоним *Russeholet* (Русский омут) означает место, где река бурлит и где, по рассказам, *карельскую чуждь* убили с помощью обмана; *Russeflaget* переводится как место, где карел убили с помощью обмана. Эти примеры взяты из сборника Ю. К. Квигстада. Луле-саамское слово *Tjudiharra*, означающее *пирамиды (груды камней) чужди*, относится к 17 грудам камней, символизирующих 17 *чуждинов*, пришедших в поселок Кьеррис провинции Нурланн³⁷. Топоним послужил названием сагн «Чудихорро», опубликованной Т. Стурюрдом. Приведенные топонимы свидетельствуют еще раз, что слово чуждь охватывает «чужие» народы, выступавшие в роли захватчиков по отношению к саамам.

Оказалось, что истории о чужди, разбойничавшей в приполярной области, редко имеют временную определенность. Некоторые ин-

форманты, с которыми работал Р. Ларсен, с неуверенностью говорили, что события могли происходить в XVIII–XIX вв. Большинство из исполнителей использовали следующие формулы – *в давние времена, давно или очень давно (gamle dager, lenge siden, for alvorlig lenge siden)*.

Память нарратива, как правило, распространяется на 3–5 поколений, поэтому «чуждые» события при попытке определения времени их существования исполнителями «приближаются». В современном фольклоре тексты о чуди стали не актуальны, во время Ю. К. Квигстада (на рубеже XIX–XX вв.) их еще рассказывали в настоящем времени³⁸.

Предания о чуди оказались особенно устойчивы к историческим изменениям. Их сюжет содержит в себе антитезу, заключающуюся в героическом поведении саамов и представителей других коренных народов в самых северных провинциях Норвегии (включая Кольский полуостров на востоке России)³⁹, с одной стороны, и разбойные набеги чуди – с другой. Данные рассказы относятся к «внутренним» текстам, повышающим оценку пограничных сообществ в глазах «соседей». Таким образом, сюжеты о чуди были распространены в разных местах, фиксировались в различное время, основывались на реальных событиях и подверглись мифологизации.

Рассмотрим два рассказа, которые все еще живут в народной памяти⁴⁰. События в них относятся к району г. Каутокейно, находящемуся во внутренней части провинции Финмарк. История «Русские обжигают глаза» рассказывает о саамах – мужчине и мальчишке, отправившихся на рыбалку и обнаруживших движущихся к ним русских. Чтобы русские не смогли зайти внутрь их землянки, они завалили ее вход деревянными чурками и развели костер. Когда русские поняли, что не смогут зайти внутрь, то залезли на крышу землянки, чтобы посмотреть внутрь через дымовое отверстие. У взрослого саама был котелок с жиром, в который он в тот момент смотрел. Когда он увидел в нем отражение голов разбойников, то вылил жир в костер. Костер вспыхнул, и русским обожгло глаза огнем.

Вторая история – «Биретлуокта» относится к северной части провинции Тромс и рассказывает о саамской женщине и ее маленькой дочери, которым пришлось спрятаться в яме, чтобы избежать смерти от чуди. Как только саамки укрылись в яме, паук начал плести над ямой паутину. Когда чудь увидела паутину, то решила не искать беглецов в яме. Мотив о пауке характерен для христианских легенд. Он встречается у разных народов, например, у балканских народов и на Западной Украине⁴¹. Вероятно, он был связан с сюжетом о бегстве Богородицы с грудным Иисусом Христом.

Среди норвежских историй о чуди есть группа текстов с сюжетом, где чудь, ведомая проводником, падает с обрыва. Существуют различные варианты этой истории. Остановимся на наиболее распространенном из них. Вооруженные чужеземцы надеются внезапно подойти к саамской деревне, для чего им нужен проводник. Они поднимаются в горы и встречаются с человеком, часто саамом, которого заставляют показать короткий путь через гору. Саам идет первым, держа в руках факел и приводит отряд, который идет на лыжах или же едет на сани, к крутому обрыву. Затем кидает факел вперед, а сам скатывается в сторону и спасается, хватаясь за дерево или камень. Чудь же летит с обрыва и разбивается насмерть.

Типологическая близость между норвежскими и русскими преданиями существует на уровне композиционно-повествовательной стереотипии. Общими для норвежского и русского фольклора оказались сюжеты о том, как проводник саам заводит чудь к обрыву (норвежские саамы) и на берег реки (кольские саамы, Итконен, с. 101–102); в бурлящую воду (норвежские саамы; Квигстад, № 98) и на водопад, порог или молодой лед (кольские саамы; Кастрен, с. 61; Максимов, с. 324–325). Рассказ о том, как кольский *лопин* (саам) губит чудь, был опубликован несколько раз: в 1889 г. Д. Н. Островским, в 1890 г. Н. Н. Харузиным и в 1931 г. Т. И. Итконен в Хельсинки⁴². Только у норвежских саамов проводник везет русских на остров, где растет много морошки, оставляет их там, и они погибают (Квигстад, № 108).

В некоторых преданиях проводник с помощью обмана заводит врагов в быстро текущую реку или в водопад (Квигстад, № 98), где они гибнут. Как мы уже отмечали, исторические источники подтверждают, что нарративы о чуди, несомненно, имеют под собой историческую основу. Территориальная привязка рассказа о проводнике и чуди относится только к отдельным районам. Рассказ с таким же сюжетом был записан среди луле-саамов на границе со Швецией. В дер. Салтдал в провинции Нурланн до сих пор существует предание «Квенская гора»⁴³. В нем рассказывается о саамском проводнике, который завел на обрыв квенов.

С XVI в. в русском фольклоре существует предание об Иване Сусанине. Во время Второй мировой войны, уже в Советском Союзе, сюжет возник вновь⁴⁴. В период немецкой оккупации предания с этим мотивом появились и в северной части Норвегии, где существуют до сих пор. История о проводнике, с помощью обмана заведшего немцев к обрыву, была записана в 2001 г. Р. Ларсеном⁴⁵. Немцы, как и предыдущие захватчики, называются в них чудью.

Как воспринимало чудь местное население Норвегии в различные исторические периоды? Предания из Северной Норвегии, записи которых делались в течение всего XX в., восходят к выражению «они

источали зло». Информанты, предоставившие Р. Ларсену материал о чуди, однозначно называют ее *захватчиком*⁴⁶.

В рассказах чудь наделяется стереотипами поведения, свойственными представителям «чужого» мира. Ее глупость утрирована, а поступки и внешность аномальны. Она носит черную одежду и говорит на каком-то искусственном языке⁴⁷. Ее дурачат и обманывают, так что в конце концов она падает с обрыва и погибает, теряет одежду и замерзает, остается на пустынном острове и умирает с голода, шторм разбивает ее суда, и она тонет, иногда ее представители сами убивают друг друга. Ее физическая сила гиперболизируется. В борьбе с нею саамы вынуждены были обращаться за помощью к шаманам – нойдам. В сагн чудь обращается за помощью к нечистой силе. Для того чтобы победить саамов, она заключает сделку с саамской нечистой силой – сталлой (Квигстад, № 112). Средством убийства сталлы становится универсальное для традиционной культуры различных народов средство – металлический предмет (в рассказе финский нож). Мотив использования колдовства встречается и в преданиях кольских саамов. В текстах, опубликованных А. Кастреном и Н. Н. Харузиным, чудь, околдованная лопарем, губит друг друга (Кастрен, с. 15; Харузин, с. 373).

Некоторые из историй носят легендарный характер. Обратимся к сюжетам некоторых из них. О. Солбергом был опубликован рассказ «Русская бухта»⁴⁸, где Бог лишил зрения орду разбойников. В рассказе Ю. К. Квигстада «Русские и гром» (№ 107), когда чудь начинает богохульствовать, Бог с помощью молнии разрывает землю, и чудь проваливается в трещину.

Таким образом, чудь в норвежской повествовательной традиции – название различных этнических групп, пришедших с востока (реже – с запада) на саамские территории и занимавшихся разбоем. Наблюдается общность сюжетов о чуди среди различных групп саамов, проживающих 1) на территории Северной Норвегии, 2) на границе Норвегии и Швеции и 3) на территории Кольского полуострова России.

В современной русской речевой практике этноним чудь используется в качестве локально-группового прозвища. *Чухарями* называют жителей деревень Сояны, расположенной на одноименном притоке р. Кулоя (Мезенский район), Нюхчи, находящейся в самых верховьях Пинеги (Пинежский район), а также всех жителей р. Пёзы (притока Мезени) и др. Прозвище *чухари*, как и само слово *чудь*, в архангельской речевой практике приобрело значение ругательства и используется в отношении людей, отставших, по народным представлениям, в социокультурном плане.

Наименование «чудь» присутствует в архангельских топонимах и семейных антропонимах. «В 1858 году в д. Устькымская (Мезенский уезд Архангельской губернии) появляются два околотка Якшины и *Чухари*»⁴⁹. Околоток (самостоятельная часть деревни) с таким же названием существовал в дер. Почезерье Пинежского района; а его жителей называли *чухи*. Как и топоним, семейное прозвище *чухарь* имело распространение в среднем течении рек Мезени и Пинеги.

Д. К. Зеленин рассматривал коллективное прозвище *чудь белоглазая* как присловье, имеющее антропологическое значение⁵⁰. Он писал, что это прозвище «очень верно и метко характеризует финский тип»⁵¹. Можно предположить, что за определением «белоглазая» стоят мифологические представления о слепоте иномирного существа. Представители «чужого» мира могут находиться в «своем» пространстве (колдуны, иностранцы, коновалы, кузнецы и др.). Как отмечали Ю. М. Лотман и Б. М. Успенский, свойства «чужого» переносились на монахов⁵². В этом же ряду стоят народные представления о том, что *чудь белоглазая* – это *полуслепые монахи Соезерской пустыни* или же *каторжники, ссыльные*, которых в прошлом было много на территории Верхнетоемского уезда Архангельской губернии⁵³.

В современном фольклоре произошла мифологизация образа чуди. Во время фольклорной экспедиции на Кенозеро (Плесецкий район Архангельской области) в 2005 г. местным жителям мы задавали один и тот же вопрос: *Кто такая чудь и помните ли Вы рассказы о чуди, существовавшие в этой местности?* Было опрошено 70 исполнителей. Всего один из них знал, что чудь – это народ, живший здесь до прихода русских (М. А. Потапова, 1950 г. р.). Остальные считали, что чудь – это разбойники (А. И. Тишнева, 1923 г. р.) или же относили ее к области мифологических персонажей и объединяли с русалками и водяными (А. Н. Губина, 1926 г. р.). Несмотря на то что обследованный нами регион имеет богатый пласт топонимов, свидетельствующий о финно-угорском субстрате, память о чуди практически растворилась. Лишь некоторые из исполнителей могли как-то идентифицировать чудь. Отметим, что еще в 1920-е гг. чудью здесь пугали непослушных детей⁵⁴.

Опираясь на материалы, находящиеся в Лаборатории фольклора Поморского университета, назовем некоторые из наиболее распространенных русских мотивов о чуди. К ним относятся следующие: о борьбе чуди с русскими за свои земли, о самопогребении чуди и ее кладах, о происхождении географических названий от имен чудских первопоселенцев, о внешности чуди, о ее ассимиляции с русским населением, о памятниках материальной культуры, оставленных ею, о ее верованиях (чудских богах и нежелании принимать христианство).

В архиве Поморского государственного университета наиболее интересными, на наш взгляд, являются рассказы 1) о том, как чудская деревня неподалеку от с. Бестужева ушла на дно оз. Светик и до тех пор, пока озеро не освятили, из-под воды раздавались стоны, а из озера появлялась корова, гнавшаяся за жителями близлежащих деревень; 2) как чужь похитила у своих соседей каменного идола, но оказалась не в состоянии его перетаскать, в результате идол остался на новом месте у дер. Березницкой и таинственно исчез после Октябрьской революции. Последний рассказ представляет собой контаминацию сразу четырех мотивов. Его второй мотив содержит информацию о чудском кладе, зарытом чужью перед самопогребением. Третий – о самопогребении чуди, которое она совершила из-за нежелания принимать православную веру. Четвертый – о предметах, которые иногда находили местные жители в местах ее проживания. Оба текста были записаны в Устьянском районе Архангельской области, на границе с Вологодской областью⁵⁵. Данный рассказ сочетает в себе жанровые признаки предания и легенды с мотивом наказания за непочитание. Первый же из описанных мотивов (похищение идола) относится к числу редких. Рассказ распадается на две части. Первая часть – отдельное самостоятельное повествование, вторая включает три мотива, которые вытекают друг из друга, связь между ними подчинительная.

В Кенозерской экспедиции нами были записаны следующие «чудские» предания: о том, как чужь предсказывает пожар; о том, как чужь крадет коров; о том, как местные жители находили глиняные игрушки, принадлежавшие, по их мнению, чуди; и о том, что в деревне жила женщина по прозвищу Цобойда, которую считали потомком чуди, так как она сильно цокала⁵⁶. «Воспоминания» относятся к двум деревням Кенозерского сельсовета – Самково и Глазово. Описание чуди в этих повествованиях напоминает «портреты» нечистой силы: *из леса выскочила, вся такая в черном, лицо черное, волосы по ветру летят, глаза дикие...* (А. Н. Губина). Все исполнители отмечали длинные волосы чуди. В кенозерских рассказах чужь выполняет функции, свойственные в народной прозе мифологическим персонажам: предсказывает пожар, чудесным образом бросает через реку головни, от которых ровно через год в другой деревне начинается пожар, крадет коров и т. п.

Записанные предания имеют сюжетные мотивы, отсутствующие в указателе Ю. И. Смирнова. Это объясняется тем, что в народном сознании чужь утратила исторические черты и приняла мифологический характер, что и сказалось на характере повествования. Кенозерские предания оказались близки к мифологическим рассказам. К числу редких среди них можно отнести рассказ о том, что особенности произношения отдельного человека (цоканье) позволяют идентифицировать «чудское» происхождение.

Предания содержат «ссылки на предков», подтверждающие их истинность: *старые люди говорили...; вот бабки сидят, разговаривают, старые были; у меня мать неграмотная была с 12-го года...* и т. п.

Подведем некоторые итоги. Этноним «чудь» имеет собирательное значение в русском и норвежском фольклоре. В норвежской культуре он означает разбойников различной этнической принадлежности, которые приходили с востока (реже с запада) грабить население Северной Норвегии. Как показало проведенное исследование, это наименование могло относиться к русским, финнам, карелам, квенам и народам, говорящим на скандинавских языках (шведам), а в период Второй мировой войны – к немцам. В русской культурной традиции название «чудь» относилось к различным финно-угорским народам, жившим на территории Европейского Севера до прихода русских и позднее ассимилировавшихся с ними. Кольские саамы называли чудью шведов и норвежцев, которые приходили к ним с запада с целью разбоя. Не исключается возможность существования в глубокой древности народа с таким же названием. Исследования топонимистов свидетельствуют о том, что этот народ мог относиться к прибалтийско-финской группе⁵⁷.

Слово «чудь» имеет исторический и мифологический контексты. В преданиях о чуди «сохранилась» память об историческом прошлом северного региона. Предания о чуди распространены на территории Европейского Севера, сюжеты о воинственной и разбойничающей чуди локализуются в саамских регионах России и Норвегии. В преданиях и сагах русские и саамы принадлежат «своему» миру, чудь связана с представлениями о «чужом» мире. Название получило значение «чужак», «разбойник».

¹ Hansen L. I. Grensefasettingen på Nordkalotten fra Middelalderen til 1751 // Det farefulle nord / Fredrik Fagertun m. fl.: Universitetet i Tromsø; Solheim, Svale 1973. Underjordsfolk // Norge (16): 148–333; Stromsted, Finn 1970: Nakkul og Lainit. Samiske eventyr; Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 34; Бубрих Д. В. Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947. С. 25–26; Пименов В. В. Вепсы: Очерк этнической истории и генезиса культуры. М., 1965. С. 82–83; Попов А. И. Названия народов СССР. Л., 1973. С. 79; Агеева Р. А. Страны и народы: происхождение названий. М., 1990. С. 102; Рябинин Е. А. К этнической истории Русского Севера (чудь заволочская и славяне) // Русский Север. СПб, 1995. С. 13–42; Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. I. Екатеринбург, 2001. С. 169, 176.

² Максимов С. В. Год на Севере. Архангельск, 1984 (далее – Максимов); Qvigstad, Just, Pollan, Brita 1997: Samiske beretinger / innlending, kommentarer og språklig bearbeidelse ved Brita Pollan; [illustrasjonene er hentet fra Ernst Manker: Samefolkets kunst]. I utvalg fra J. K. Qvigstads Samiske [i. e. Lappiske] eventyr og sagn I–IV, 1927–1929 (далее – Квигстад).

³ Булатов В. Н. Русский Север. Кн. 1: Заволочье (IX–XVI вв.). Архангельск, 1997. С. 59.

⁴ Агеева Р. А. Страны и народы... С. 86–117.

⁵ Агеева Р. А. Об этнониме чудь (чухна, чухарь) // Этнонимы. М., 1970. С. 199.

⁶ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1973. Т. 4. С. 388.

- ⁷ Попов А. И. Названия народов СССР. Л., 1973. С. 79.
- ⁸ Повесть временных лет // Полное собрание русских летописей. М., 1962. Т. 1. СПб, 4.
- ⁹ Смирнов Ю. И., Смолицкий В. Г. Новгород и русская эпическая традиция // Новгородские былины. М., 1975. С. 315–316.
- ¹⁰ Hansen L. I. *Op. cit.* 27.
- ¹¹ Зеленин Д. К. Указ. соч. С. 34; Бубрих Д. В. Указ. соч. С. 25–26; Пименов В. В. Указ. соч. С. 82–83; Попов А. И. Указ. соч. С. 79; Агеева Р. А. Страны и народы... С. 102; Рябинин Е. А. Указ. соч. С. 13–42.
- ¹² Первухин Н. Эскизы преданий и быта инородцев Глазовского уезда. Эскиз I. Вятка, 1888.
- ¹³ Фасмер М. Указ. соч. С. 388.
- ¹⁴ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2002. Т. 4. С. 594.
- ¹⁵ Смирнов Ю. И., Смолицкий В. Г. Указ. соч. С. 316.
- ¹⁶ Solberg Olav 1999: Landslaget for norskundervisning: Cappelen akademisk forlag (127). Norsk folkediktning: litteraturhistoriske linjer og tematiske perspektiv. LNU. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo: 39.
- ¹⁷ Qvigstad Just, Pollan Brita 1997. *Op. cit.*; Solheim, Svale 1973. Underjordsfolk // Norveg (16): 148–333; Thorbjørn, Storbjord 1991: Lulesamiske eventyr og sagn. Bodø Lærerhøgskoles Skriftserie (2): 61; Stærk L. 1994: Eventyr og sagn fra Sør-Varanger. Karasjohka: Davvi Girji; Solberg O. *Op. cit.*
- ¹⁸ Larsen A. S. og Larsen R. (red.) 2002: Hodelose menn og ihjelfrosne haikere: levende sagntradisjon fra Nord-Norge. Eureka forlag (8).
- ¹⁹ Максимов С. В. Год на Севере.; Путешествие Александра Кастрена по Лапландии, северной России и Сибири // Магазин земледения и путешествий. Географический сборник Н. Фролова. Т. 6, ч. 2. М., 1860 (далее – Кастрен); Ефименко П. С. Заволочья чудь. Архангельск, 1869; Островский Д. Н. Лопари и их предания // Изв. Русского географического общества. Т. 25, вып. 4. СПб, 1889; Харузин Н. Н. Русские лопари // Изв. ОЛЕАЭ при Московском университете. Т. 66. Тр. этнографического отдела. Кн. 10. М., 1890 (далее – Харузин); Шустиков А. Троищина Кадниковского уезда. Бытовой очерк // Живая старина. 1982. Вып. 3; Itkonen T. I. Koltan- ja kuolanlappalaisia satuja. Helsinki, 1931 (далее – Итконен).
- ²⁰ Смирнов Ю. И. Предания Европейского Севера о чуди // Литература Сибири. Памяти Александра Бадмаевича Соктоева. Новосибирск, 2001. С. 55–67; Криничная Н. А. Предания Русского Севера. СПб, 1991.
- ²¹ Hansen L. I. *Op. cit.*
- ²² Вø О. 1997: Segner. Det norske Samlaget: 297.
- ²³ До 1970-х гг. название употреблялось по отношению к саамам, переехавшим в район Нур-Салтен в XVIII в. после истощения луле-саамских пастбищ в Швеции. В Норвегии они стали заниматься сельским хозяйством, рыболовством и охотой. На норвежской территории луле-саамы проживают на территории от горы Салтфеллет на юге до Уфутена на севере, но большинство из них находятся на шведской территории.
- ²⁴ Визе В. Лопарские сейды // Изв. Архангельского общества изучения Русского Севера. Архангельск, 1912. № 9. С. 395–401; № 10. С. 453–495; Смирнов Ю. И. Предания Европейского Севера о чуди.
- ²⁵ Древнескандинавское название *kven* связано с древнескандинавским словом, передававшимся на древнорвежском словом *«hvein»*, обозначающим «лежащее в низине, болотистое место» и отчасти «тонкая трава» / «местность с тонкой травой», то есть оно восходило к названию прибрежного ландшафта. Русские и финские исследования локализуют *kven* в Ботническом заливе. См.: Gallén J. og Lind J. 1991: Noteborgsfreden och Finlands Medeltida Ostgrans. Andre delen, tredje delen (kartbilaga). (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i finland (427). Helsingfors: 2.
- ²⁶ Hansen L. I. *Op. cit.*: 19.
- ²⁷ Hansen L. I. *Op. cit.*: 18.

²⁸ Факты разбойных набегов норвежцев на побережье Белого моря не в полной мере освещаются в норвежской истории, однако такие походы имели место еще до 1326 г., а также в период с 1419 по 1445 г. Подобный набег упоминается в Новгородской хронике 1419 г. См.: Hansen L. I. Op. cit.: 25–26.

²⁹ Hansen L. I. Op. cit.: 18.

³⁰ Larsen A. S. og Larsen R. Op. cit.: 30, 31, 53–57.

³¹ Qvigstad Just, Pollan Brita. Op. cit.: 242–267: 96, 97, 100, 107, 111, 114.

³² Stromsted F. Op. cit.: 9.

³³ Козьмин К. Варангерское море и его история (Из жизни Архангельского Севера) // Изв. Архангельского общества изучения Русского Севера. Архангельск, 1914. № 19. С. 639–644; № 20. С. 663–669.

³⁴ Уже к 1326 г. налогообложение русскими саамов, проживавших в провинции Тромс, имело устойчивый характер и было принято норвежскими властями. Оно продолжалось вплоть до 1600 г. Лишь в 1826 г. последние участки совместной русско-норвежской территории в Северном Варангере были поделены. См.: Dahl Bratrein, Navard 2004: Russisk okkupasjon av Finnmark på 1400-tallet // *Nakoungminne*. Harstad (2): 373–383.

³⁵ Thorbjørn S. Op. cit.: 61.

³⁶ Hansen L. I. Op. cit.: 27, 28–30.

³⁷ Storjord T. Op. cit.: 61.

³⁸ Qvigstad Just, Pollan Brita. Op. cit.: 242–267.

³⁹ В книге Ю. К. Квигода (Указ. соч. С. 242–267) помещены истории «Чудь на Нотозере» (№ 94) и «Проводник через Эйनावидду» (№ 95), в которых рассказывается, как чудь пыталась захватить Кольскую крепость в битве с саамами-сколтами. Сколты – православные саамы.

⁴⁰ Larsen A. S. og Larsen R. Op. cit.: 30, 47.

⁴¹ Информация предоставлена Ю. И. Смирновым (г. Москва).

⁴² Островский Д. Н. Указ. соч.; Харузин Н. Н. Указ. соч.; Itkonen T. I. Op. cit.

⁴³ Larsen A. S. og Larsen R. Op. cit.: 135.

⁴⁴ Вø O., Grambo R., Hodne B. og Hodne Ø.: Op. cit.: 297.

⁴⁵ Larsen A. S. og Larsen R. Op. cit.: 127

⁴⁶ Larsen A. S. og Larsen R. Op. cit.: 30, 53.

⁴⁷ Stærk L. Op. cit.

⁴⁸ Solberg O. Op. cit.: 164–165.

⁴⁹ Новиков А. В. Лешуконье: История заселения Средней Мезени в XV–XIX веках. Архангельск, 1999. С. 61.

⁵⁰ Зеленин Д. К. Великорусские народные присловья как материал для этнографии // Зеленин Д. К. Избр. тр.: Статьи по духовной культуре 1901–1913. М., 1994. С. 49.

⁵¹ Там же.

⁵² Лотман Ю. М., Успенский Б. М. «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского времени («свое» и «чужое» в истории русской культуры) // Тр. по знаковым системам. 15. Типология культуры. Взаимодействие культур. Тарту, 1982. С. 110–112.

⁵³ Дранникова Н. В. Указ. соч. С. 76.

⁵⁴ Агеева Р. Страны и народы... С. 86.

⁵⁵ Фольклорный архив Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск). Папка 324. Зап. в 2001 г. от М. Г. Порошиной, 1927 г. р., в. дер. Бестужево, Устьянский район.

⁵⁶ Там же. Папка 501. Зап. в 2005 г. от А. Н. Губиной, 1926 г. р.; М. А. Потаповой, 1950 г. р. в дер. Вершинино, Плесецкий район.

⁵⁷ Матвеев А. К. Указ. соч. С. 169. 176.

Карельская и ижорская эпическая традиция: к истории генетического родства

Исследователи разных дисциплин (языковеды, этнографы и фольклористы) уже долгое время занимаются проблемой изучения ижорского этноса, его культуры и языка, а также сравнения ижорских локальных традиций с общей финно-угорской. Интересна сама история возникновения народности ижора. Исследователи выдвигают различные гипотезы. Финский ученый Х. Киркинен в своих работах замечает, что ижорцы и карелы отделились от общего народа-предка в эпоху викингов и крестовых походов¹. В отечественной науке появление ижорцев на территории Ингерманландии относят к XI–XII вв. Как указывает историк В. В. Седов, к этому времени «корела, племя, образовавшееся в течение I тысячелетия н. э. севернее 60 северной широты, в районе северного и западного Приладожья, стала активно расселяться. Одна часть корелы продвинулась к северному побережью Ботнического залива, другая – к побережью Белого моря, а третья перешла р. Неву, заняв бассейн р. Ижоры, стала известна под именем ижора (ингры)»². Это предположение находит подтверждение и у исследователей-языковедов. А. Лаанест, разрабатывая проблему формирования ижорского языка, предполагает, что до начала II тысячелетия до н. э. существовал единый древнекарельский язык. Первые века II тысячелетия, когда одна ветвь карельских племен продвинулась на юго-запад, можно считать периодом древнеижорского языка³. Д. В. Бубрих, изучая происхождение карельского народа, отмечает, что на грани XI–XII вв., согласно различным данным, корела стала перемещаться к Неве. Одна группа вышла к устью Невы и стала известна под именем Инкери, ижоры, получившей свое название от реки, впадавшей в Неву с юга⁴. В дальнейшем развитие ижорского языка шло по линии обособления его диалектов. В процессе исторического развития единый ижорский язык не сложился, но особенности его диалектов позволяют выделить ижорский язык в качестве самостоятельного. Этой точки зрения придерживаются отечественные и эстонские исследователи, а также ряд зарубежных специалистов, в том числе П. Хайду⁵. Археологи, основываясь на выявленных материалах на территории Ингерманландии, говорят как о тождестве культур карел и ижорцев, так и о влиянии «Финской Карелии» на Ижорскую⁶. Таким образом, можно предположить, что карелы и ижорцы произошли от единого народа – перво-предка, а языки возникли от существовавшего когда-то единого пракарельского языка.

Рассмотрим, находят ли эти гипотезы подтверждение в фольклоре, насколько близки наши культурные и поэтические традиции. Остановимся подробнее на более древнем пласте народной поэзии – на эпической традиции. Собираание песенного фольклора на территории Карелии началось значительно раньше и велось более последовательно и тщательно, чем в Ингерманландии. В то время, когда уже был создан первый вариант «Калевалы» и сборник лирических песен «Кантелетар», не было сделано ни одной записи от ижорцев. Еще в 1833 г. А. М. Шегрен вел обширное исследование народного быта и этнографии ижорцев, но не придал значения тому, что среди местного ижорского и финского населения бытовали древние народные песни. В 1844 г. Э. Лённрот, возвращаясь из Тарту через Петербург в Хельсинки, сделал остановку в с. Котлы, где записал от одной только местной жительницы Анны Ивановой 30 свадебных песен (в общей сложности около 2300 стихов). Обращаясь в письме к петербургскому пастору К. В. Сирену, Э. Лённрот писал: «В этой местности, должно быть, можно было бы собрать и узнать много полезного». Однако Э. Лённрот так и не побывал в Ингерманландии. Только в 1847 г. его активный помощник Д. Европеус записал в приграничных деревнях Ингерманландии древние народные песни, многие из которых не были известны ранее. Это послужило началом для широкого и всестороннего обследования Ингерманландии финскими фольклористами, которые на протяжении многих лет выезжали в эти края в поиске новых песен. Значительная часть собранных эпических, лирических, свадебных и других обрядовых песен опубликована в сборнике «Древние руны финского народа». Всего 85 000 вариантов песен, около 400 000 поэтических строк. В советское время фольклорный материал от ижорских исполнителей записывали как эстонские, так и карельские исследователи. В Научном архиве Карельского научного центра РАН хранятся 13 рукописных коллекций ингерманландского фольклора, содержащих 3000 записей произведений различных жанров. Поскольку фольклорные записи от ижорского населения стали производить позже, чем в Карелии, песни на некоторые сюжеты уже не были зафиксированы, так как они могли прекратить свое бытование или претерпели существенные трансформации.

Сравнивая сюжетно-тематический состав ижорского и карельского эпосов, М. Кууси заметил, что если в Карелии бытовали в основном мифологические руны и героические песни, то в Ингерманландии и на Карельском перешейке – преимущественно баллады и лиро-эпические песни⁷. Рассматривая общую эпическую традицию Каре-

лии, уже не раз отмечали, что сюжетно-тематический состав песен беломорских и южных карел неоднороден. Локальная эпическая традиция карел-ливвиков, в какой-то степени, ближе к ижорской. В Олонецкой Карелии также преобладают песни лирического содержания и баллады. Сходство между южнокарельской и ижорской традициями объясняется тем, что исполнителями эпических песен в данных местностях на протяжении всего периода собирания являлись в основном женщины. Это обстоятельство оказало влияние на содержание эпоса, содействовало чисто «женской» интерпретации изображаемых событий.

В известных карельских и ижорских эпических песнях мы встречаемся с одними и теми же героями – это Вяйнямейнен (в южнокарельской традиции Вяйнямейне), Илмаринен (в южнокарельских песнях Илмойлине, у ижорцев Исмаройнен, Инкеройнен) и Йоукахайнен, Йоугамойнен. В ижорских рунах, так же как в южнокарельских, чаще всего на первый план выходит кузнец (в ижорской версии Исмаройнен). Он творец мироздания, а в некоторых вариантах и первым высекает пламя, делает лодку и кантеле. Образ ижорского кузнеца близок к общему для карел и ижорцев образу кузнеца-первопредка, хотя в ижорских песнях – это уже не культурный герой, а «свой человек», кузнец «Виро».

Ижорская традиция сохранила песни на архаичные мифологические сюжеты и героические песни. Тематика таких песен практически тождественна севернокарельской традиции. К этой группе можно отнести песни на такие сюжеты, как «Сотворение небесных светил», «Сотворение мира», «Большой дуб». Особую группу составляют мифы о создании культурных благ, о рождении и высекании первой искры, о создании кантеле и игре на нем, об изготовлении лодки. Рассматривая эпические песни, основанные на мифологических мотивах, мы замечаем, что и карелы, и ижорцы используют одни и те же мифы, но отношение к мифу у ижорцев и карел совершенно разное.

Возьмем для примера руну о создании кантеле. Примечательно, что кантеле карелы и ижорцы создавали по-разному. Как повествуется в карельской песне, музыкальный инструмент был сделан из головы большой щуки, в ижорской – из рогов барана или из дерева. Ижорская версия восходит к древнегреческому мифу об изготовлении арфы или гитириса Гермесом, карельский миф основан на внешнем сходстве музыкального инструмента со щучьей головой. В карельской традиции подробно описывается путешествие Вяйнямейне на ладье, лодка героя застряла на спине огромной щуки, герой ло-

вит рыбу и делает из нее кантеле. В ижорской песне все проще: герой, чаще всего кузнец, как и в южнокарельской традиции, отправляется по дороге, находит дерево и делает из нее кантеле.

Mie käin tietä pikkaraise, Matkoaani vähäise. Löysin niityltä niverän, Puun koveran koivikosta. Siit veistin veräjän alla, Kannon pääs kalkuttelin, Sai kantele valmeheks.	Пошагал я по дороге, Одолел пути отрезок, На лугу нашел кривую, Искривленный ствол среди рощи. Построгал я ствол в воротах, Потесал я на пенечке Вот и кантеле готово ⁸ .
--	--

В ижорских эпических песнях, как и в карельских, встречаются упоминания различных древних божеств и рассказ о далеких мифических странах. Интересен появляющийся в ижорских песнях образ Сампсы Пеллервойнена. По всей видимости, этот персонаж восходит к Сампсе, языческому божеству леса и деревьев, о котором писал К. Канандер в «Финской мифологии» еще в 1789 г. В Приладожской Карелии зафиксированы руны о Сампсе-сеятеле, но этот персонаж полностью отсутствует в северно- и южнокарельской традициях. Этот сюжет сохранился в Ингерманландии, и песня является обрядовой. Она исполнялась на летних праздниках Петрова или Ильина дня.

Образ верховного бога Укко встречается в эпических песнях всех групп карел. Громовик Укко был верховным богом у финно-угорских народов, к нему обращались с призывом поймать дождевые тучи. Святилищем Укко были рощи и камни, которым молились об излечении болезней и о хорошем урожае. В южнокарельских песнях Илмойллине обращается к богу Укко, выполняя трудные задания хозяйки Похьелы. Герой просит верховного бога нагнать тучи. Образ Укко – всевышнего божества, мы находим и в дошедших до нас ижорских песнях:

Pyhä Ukko armolliin Tuu meilen vierahisse, Saa meilen käymäksi, Anna mailles makkua, Pellolles pehmitystä.	Укко, боже милосердный, Приходи скорей к нам в гости, Побывай у нас, желанный, Дай ты силу нашим нивам, Мягкости придай полям! ⁹
--	---

В ижорских песнях о сватовстве не раз упоминается мифическая страна Хито, в южнокарельской традиции – Хийтола или Туони, Манала, как в северокарельской традиции. Древний дух Хийси – языческое божество, хозяин Хийтолы, был известен всем прибалтийским финнам. Упоминание Хийтолы как обиталища мертвых и их душ встречается в Приладожье, Ингерманландии и Южной Карелии.

Единым для всей карельской, а также для ижорской эпической традиции является сюжет о сватовстве. Основным действующим лицом становится кузнец, иногда сын солнца, Божий сын или другой герой. В карельской песне сватаются всегда основные персонажи эпоса – Вяйнямейнен и Илмаринен. Добывание жены в ингерманландских песнях уже не является героическим подвигом, как в северокарельских. Ижорский герой отправляется за невестой потому, что ему «плохо без жены живется, без стирающей рубашку». Так же как и в общекарельской традиции, герой подвергается различным трудным испытаниям, характер трудных заданий в некоторой степени отличается от карельской традиции, он ближе к сказочным: связать яйцо узлом, искупаться в ведре, попариться в огненной бане. Отличается и концовка песни: в южнокарельской традиции убежавшую жену обернули чайкой сидеть на берегу. В ижорских песнях жена выходит замуж против своей воли или убегает, или возвращается в отцовский дом.

Едиными для карельской и ижорской эпической традиции являются образы Калерво и Унтамо, но исследователи уже не раз замечали, что большее развитие сюжет о вражде между братьями получил только в ингерманландской традиции. Данный сюжет отражает внутренние противоречия родового общества, а не противоречия между обществом и природой или иноплеменным окружением. История края такова, что на протяжении многих столетий ижорская земля являлась ареной непрекращающихся войн. Это развивало в народе чувство самосохранения и сопротивления врагу. В какой-то степени это могло отразиться на развитии и сохранении данной эпической песни в Ингерманландии.

Женские образы пронизывают большую часть песен ижорцев. Подобное явление отмечается и в южнокарельской эпической традиции, где на первый план также выходит семейно-бытовая тематика. Баллады рассказывают нам о нелегкой женской доле, о положении молодой жены в доме мужа, о несправии девушки в доме родителей. Схожие с ижорскими сюжеты зафиксированы среди записей северных и южных карел. Это такие песни, как «Морские женихи», «Утраченные украшения», «Выкуп девушки», «Задержавшаяся у источника» и другие.

В заключение отметим, что многие сюжеты, мотивы и образы являются общими, это дает нам возможность говорить о генетическом родстве

карел и ижорцев. Конечно, особенности исторического развития Карелии и Ингерманландского края, взаимодействие с соседствующими культурами оказали влияние на формирование самобытных эпических карельских и ижорских традиции.

¹ Kirkinen H. Karjala Idän ja Lännen välissä. I. Venäjään Karjala Renessansiajalla (1478–1617). Helsinki, 1970. S. 15–16.

² Седов В. В. Этнический состав населения северо-западных земель Великого Новгорода (XI–XIV) // СА. 1953. № 18. С. 211.

³ Лаанест А. Ижорские диалекты: Лингвгеографические исследования. Таллин, 1966. С. 11–12.

⁴ Бубрих Д. В. Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947. С. 32.

⁵ Хайду П. Уральские языки и народы. М., 1985. С. 95.

⁶ Рябинин Е. А. Финно-угорские племена в составе древней Руси. СПб, 1997. С. 71.

⁷ Kuusi M. Introduction // Finnish folk poetry / Epic / An Antology in Finnish and English. Helsinki, 1977. P. 42.

⁸ Киуру Э. С. Ингерманландская эпическая поэзия. Петрозаводск, 1990. С. 48.

⁹ Там же. С. 38.

© А. С. Степанова
Петрозаводск

Изучение карельских причитаний в XX и начале XXI в.

Причитания, как известно, долгое время являлись наименее изученным жанром устной поэзии. Как замечает У. С. Конкка, «научный интерес к карельским и другим прибалтийско-финским причитаниям, как к особому жанру народно-поэтического творчества, возник лишь в XX веке»¹.

В XIX в. исследование причитаний ограничивалось отдельными статьями описательного характера². Первой и тем особенно ценной была статья Э. Лённрота «О карельских причитаниях в России»³ (1836) с двумя образцами плачей, записанных им в 1834 г. в с. Ругозеро (ныне Муезерского района). Несмотря на непонятность языка и трудность записи, собирание причитаний тем не менее производилось (о собирании причитаний см. статью А. С. Степановой⁴).

В первые десятилетия XX в., как и в XIX в., карельскими причитаниями занимались финские ученые. С. Паулахарью, оставивший самый заметный след в собирании причитаний, благодаря случайной встрече с талантливой сказительницей и причитальщицей Анни Лехтонен из северокарельской дер. Войница, в 1916 г. публикует небольшую статью «О причитаниях Беломорской Карелии»⁵ с общей характеристикой жанра.

В ней впервые в литературе причитания получают восторженную оценку: «Самыми красочными, глубокими и эмоциональными из всей устной народной поэзии являются причитания...» Его не шокирует и процесс исполнения, как в свое время Э. Лённрота.

В 1924 г. выходит первое издание книги С. Паулахарью «Рождение, детство и смерть» (второе в 1995)⁶. Книга подготовлена на материале, записанном от Анни Лехтонен. В связи с описанием обряда похорон приводится полный цикл похоронных причитаний (36). Таким образом, это **первая** наиболее полная публикация севернокарельских текстов.

В 1924 г. В. Мансикка опубликовал небольшую статью «Туонела в плачах»⁷, где на материале карельских и ижорских причитаний попытался выявить представления о загробном мире Туонелы. Конкретной картины загробного мира не наблюдается, чаще всего в плачах имеются мотивы, описывающие путь в Туонелу – это нисхождение в подземный мир, где усопшего встречают ранее умершие родственники.

К проблемам карельских причитаний неоднократно обращался известный финский фольклорист М. Хаавио. В его популярной книге «Мир древней финской поэзии»⁸ имеется довольно большой раздел, посвященный причитаниям. Автор подводит итог того, что уже было написано и сказано о причитаниях предшественниками. Он, как и некоторые исследователи до него, не исключая русского влияния, подчеркивает самобытность и высокий уровень поэтичности прибалтийско-финских плачей, подтверждает предположения об их древности. Работа отличается серьезностью подхода к этому малоизученному жанру.

Проходит более 30 лет, прежде чем ученые вновь обращаются к причитаниям. В Финляндии поводом для этого становится создание 8-томной истории финской литературы, первый том которой полностью посвящен фольклору. Главу о причитаниях – «Поэзия причети»⁹ – поручают молодому фольклористу Л. Хонко. Позднее, в 1974 г., Л. Хонко писал о своих ощущениях: «Когда в 1962 г. я готовил общее описание плачевой поэзии, чувствовал, что нахожусь в пустыне. ...сегодня... положение существенно изменилось»¹⁰. Его работа отличается глубиной проникновения в природу причитаний, автор касается в ней почти всех **кардинальных вопросов**, связанных с исследованием жанра, – содержания и структуры, тематики и поэтики, распространенности их, особенностей у различных прибалтийско-финских народов. Особое внимание Л. Хонко уделяет обрядовой функции плачей, что не совсем четко учитывалось до него. Причитания, прежде всего, **обрядовая лирика**, а похоронные плачи – это «язык сакрального общения» с усопшими.

Эта работа стала отправной точкой для возобновления интереса к жанру, явилась своеобразной программой для последующего исследования плачей.

В те же годы предметом изучения в Финляндии становятся ижорские причитания. А. Ненола-Каллио публикует несколько статей, посвященных различным проблемам жанра, в 1982 г. выходит ее монография «Изучение ижорских причитаний»¹¹. Она же готовит публикацию ижорских и водских плачей, которая в силу определенных обстоятельств увидела свет только в 2002 г.

В 1950–60-е гг. начинается серьезное исследование причитаний и у нас, в Карелии. Заметим, что работа началась независимо от финских фольклористов. Статья Л. Хонко до нас еще не «дошла», связи с иностранными учеными были слабыми.

Запланированная кандидатская диссертация по причитаниям по объективным причинам не была завершена. Начался более интенсивный сбор материала, оказалось, что причитания еще встречаются в быту. Энтузиастом, ратовавшим за активизацию собирания, была У. С. Конкка, которая в тот период занималась сказкой. В Калевальском районе она встретила нескольких талантливых плакальщиц, к которым и направила меня, пришедшую в сектор фольклора в 1962 г.

Моя работа над причитаниями началась примерно в 1965–1966 гг. с изучения метафорического, то есть иносказательного языка севернокарельских причитаний (объем статьи 3 а. л.). Но так как не было серьезных публикаций плачей, мне предложили заняться подготовкой научного издания текстов. Сборник «Карельские причитания»¹² общим объемом 33 а. л. был подготовлен к 1972 г. Это было первое относительно полное издание карельских плачей в истории карельской и финской фольклористики (сюда не вошли плачи тверских карел). Он включал 233 текста с переводами на русский язык, расположенные по локальному, или территориальному, принципу, вступительную статью и многие другие атрибуты, необходимые в научном издании, а также нотное Приложение, содержащее 44 расшифровки, выполненные Т. А. Коски. Статью о музыкальных особенностях написала А. Г. Гомон, преподаватель консерватории.

Публикация открыла этот жанр карельского фольклора широкому кругу фольклористов. Книга получила неплохие отзывы. Если говорить о трудностях в работе, то самым сложным был перевод причитаний на русский язык. К тому времени причитаниями занялась У. С. Конкка, и все возникающие вопросы мы решали вместе, а также обращались за помощью к чл.-корр. АН СССР К. В. Чистову, который никогда нам не отказывал.

У. С. Конкка исследовала причитания с точки зрения их содержания и структуры, функций и связи с обрядами похорон и свадьбы. Ее монография «Поэзия печали»¹³ является единственным обстоятельным исследованием в этой области. Шаг за шагом автор рассматривает ход ритуалов похорон и свадьбы и неотрывную связь того или иного его элемента с причетью. Особенно важной была их роль в обрядах «отчуждения» – как в обряде похорон, так и свадьбы причитальщица психологически подготавливала родственников к разлуке с усопшим, невесту к отрыву от семьи, от своего рода. В обоих случаях разлука предполагалась вечной. В заключении автор подтверждает и развивает мысль Л. Хонко о том, что первоначальная функция метафоры и метонимов – именно иносказание, связанное с явлением табу, а не художественный, поэтический прием. Монографию смело можно назвать своего рода энциклопедией карельских причитаний.

Еще в рукописи (1975) работа получила высокую оценку ученых и была рекомендована к защите в качестве докторской диссертации, но по известным причинам на русском языке она вышла только в 1992 г., а до этого в 1985 г. была опубликована в Финляндии¹⁴.

Для меня следующим шагом стало изучение метафорического языка, а именно, **метафорических замен терминов родства**, в результате чего появилась монография «Метафорический мир карельских причитаний»¹⁵. В ней рассматривается система метафорических замен названных терминов, способы их образования, дана классификация и определены основные их особенности. В те годы у У. С. Конкка и у меня выходили статьи по различным вопросам, публиковавшиеся в отечественных и зарубежных изданиях, были доклады и выступления на семинарах. В 1980-е гг. интерес к причитаниям возрос, о них говорили на различных конференциях и симпозиумах. Остановлюсь здесь на двух симпозиумах, где причитаниям было уделено особое внимание. Симпозиум-73 проходил в Таллинне. На фольклорной секции из 13 докладов пять были посвящены причитаниям, в их числе и наши с У. С. Конкка.

Заметной вехой в истории изучения причитаний стал Симпозиум-79¹⁶, проведенный в Петрозаводске. Участвовали ученые из Москвы, Ленинграда, Эстонии и Финляндии. Все доклады фольклорной секции (16, из них 4 музыковедческих) были посвящены причитаниям: карельским, ижорским, вепским, води, сету и русским.

Симпозиум стал для фольклористов важным этапом, на нем был обобщен опыт изучения жанра, намечены дальнейшие пути исследования и определены основные задачи. Обобщая то, что было высказано собирателями и исследователями ранее, Л. Хонко и на симпозиумах, и в статьях отмечал:

- необходимость **инвентаризации всех архивных и аудиозаписей**;
- выработку **условий для совместной работы и обмена** материалами (что и произошло вскоре между Архивом Карельского филиала АН СССР и Фольклорным архивом Общества финской литературы);
- **активизацию собирания** причитаний;
- **анализ репертуара** отдельных причитальщиц;
- **исследование процесса создания** плача, соотношение в нем импровизации и репродукции, степень стабильности и вариативности текста;
- **сравнительный анализ причитаний** в различных аспектах и др.¹⁷

В дополнение приведу еще некоторые, наиболее важные проблемы и задачи, высказанные исследователями в разное время. На первое место всегда ставилось **изучение языка причитаний, создание словаря этого уникального жанра**. Как образно писала У. С. Конкка еще в 1968 г., создается впечатление, что мы, «фольклористы, как бы не осмеливаемся переступить тот высокий порог, каковым представляется образный язык карельских плачей»¹⁸. Этот пробел в какой-то степени устранен.

На втором месте, пожалуй, стоит **вопрос сравнительного изучения как прибалтийско-финских причитаний между собой, так и сравнение их с русской плачевой традицией**, выявление общности и отличий, степени взаимовлияния и т. д., который пока остается открытым.

Выявление содержания и функций похоронных и свадебных причитаний в обрядах, а также соотношение двух обрядов – похоронного и свадебного. (Первая часть вопроса рассмотрена в монографии У. С. Конкка «Поэзия печали».)

Особый интерес представляет проблема **генезиса жанра**, решение которой остается открытым.

Исследование мелодического строя плачей находится еще в зачаточном состоянии. Имеются лишь отдельные замечания и выступления на конференциях Т. Коски, Т. Краснопольской, И. Семаковой, А. Гомон и некоторых финских музыковедов.

Проблем много, и перечень их можно продолжить. Как когда-то метко заметил Л. Хонко, проблемы легче ставить, чем их решать, и в то же время сослался на слова своего учителя М. Хаавио: «Правильная постановка вопросов в науке является не менее важной, чем правильные ответы на них»¹⁹.

Постепенно изучение причитаний к концу XX в. сокращается. Здесь уместно отметить наиболее важные публикации, посвященные либо полностью, либо частично причитаниям, где дается и характеристика публикуемых текстов. Так, в комплексном исследовании У. С. Конкка и А. П. Конкка «Духовная культура сегозерских карел...»²⁰ среди других устно-поэтических жанров публикуются и причитания, которые были записаны во время экспедиций

1972–1976 гг. в карельские деревни Медвежьегорского района. В книге Н. Лавонен «Песенный фольклор кестеньгских карел»²¹ опубликовано 28 причитаний, записанных от талантливой исполнительницы Федосьи Никоновой. Ижорские причитания были опубликованы в сборнике Э. С. Киуру, Т. А. Коски и Э. П. Кюльмясу²².

Это также работы финского акад. П. Виртаранта²³, посвященные карельскому фольклору как на территории Карелии, так и Тверской области²⁴, книга Ю. Пентикяйнена о сказительнице Марине Такало²⁵ и некоторые др.

Начало XXI в. ознаменовалось выходом из печати книги А. Ненюла «Ижорские причитания»²⁶ (сборник текстов). Публикация заслуживает внимания и как серьезное исследование в области прибалтийско-финской плачевой традиции в целом со сравнительным анализом ижорских, водских и карельских причитаний. Уже внешне она выглядит внушительно (906 страниц, включая 645 причитаний с переводами на английский язык). Большая часть опубликованных текстов – это рукописные записи XIX–XX вв., но имеются и аудиозаписи, в частности, записи Э. С. Киуру (1966–1968 гг.), предоставленные Институтом ЯЛИ для публикации. В книге обширная вступительная статья с достаточно подробной, всесторонней характеристикой жанра, особенностей быта и традиций народов, проживающих в регионе. Имеется нотное приложение со статьей Я. Ниэми «О мелодическом строении ижорских причитаний». Наряду с основательным комментарием к текстам в книге множество различных таблиц и указателей, помогающих читателю ориентироваться в сложной структуре издания. Приводится краткий словарь трудных слов и выражений. Резюмируя, можно сказать, что книга является своеобразной энциклопедией по плачам ижор и води.

В 2003 г. вышел монографический сборник моих статей²⁷. В него вошли статьи, опубликованные в разные годы в различных изданиях, а также не публиковавшиеся ранее. С конца прошлого века моей основной работой являлось составление толкового словаря карельских причитаний, который и был опубликован в 2004 г.²⁸ Словарь включает 1350 слов и словарных статей, в которых дается пояснение их значений и функций в причитаниях, по возможности, – этимология отдельных слов. Самостоятельным разделом представлен полный перечень, или **Свод метафорических замен (МЗ)**, всех терминов, выявленных в причитаниях, поясняются принципы образования МЗ, дается их классификация и т. д. Разумеется, в одной работе невозможно охватить весь материал, подлежащий или нуждающийся в толкова-

нии, уже сейчас по ходу работы над новой темой я нахожу дополнения к словарю. В данном случае можно только сказать: трудно «объять необъятное», а язык причитаний – это действительно явление необъятное.

Таков краткий обзор изучения причитаний, а также задач и проблем, ждущих своего исследователя. Не хотелось бы заканчивать на пессимистической ноте, но кажется, что изучение причитаний приостановилось, желающих продолжать начатое – единицы. Заметим, что в университете Хельсинки обучаются две аспирантки, темой диссертации которых являются причитания: Э. Степанова занимается карельскими причитаниями, Г. Мишарина – причитаниями коми. Будем надеяться на новый всплеск интереса к этому уникальному жанру народной поэзии и верить, что это чуть приоткрытое «окно в прошлое» будет полностью открыто.

¹ Конкка У. С. Поэзия печали. Карельские обрядовые плачи. Петрозаводск, 1992. С. 11.

² Genetz A. Kuvaelmia kansan elämästä Salmin kihlakunnassa // Koitar. Helsinki, 1870. 1. osa; Porkka V. Inkerin itkuvirsistä // Valvoja. Helsinki, 1883; Forsström O. A. Kuvia Raja-Karjalasta. Helsinki, 1894; Neovius A. Suomalaisia itkuvirsisiä // Itä-Rajalta. Käkisalmi, 1894; в России в журнале «Живая старина» за 1894 г. выходят статьи учителя Святозерской школы Н. Ф. Лескова «Корельская свадьба» и «Погребальные обряды кореляков» с образцами плачей карел-людиков.

³ Lönnrot E. Itkuvirsit Venäjän Karjalassa // Mehiläinen, syys-lokakuu, 1836.

⁴ Степанова А. С. Собрание и современное состояние карельских причитаний // Карельские плачи. Специфика жанра. Петрозаводск, 2003. С. 4–23.

⁵ Paulaharju S. Vienan Karjalan itkuvirsistä // Otava; Helsinki, 1916. S. 535–540.

⁶ Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema. Porvoo; Helsinki, 1924, 1995.

⁷ Mansikka V. J. Itkujen Tuonela // Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia. Helsinki, 1924. S. 52.

⁸ Naavio M. Suomalaisen muinaisrunouden maailma. Helsinki, 1935. S. 210–240.

⁹ Honko L. Itkuvirsirunous // Suomen kirjallisuus. Kirjoittamaton kirjallisuus. I. Helsinki, 1963. S. 81–128.

¹⁰ Honko L. Itämerensuomalaisen itkuvirsirunouden tutkimus // Kalevala-seuran vuosikirja. 1974. № 54.

¹¹ Nenola-Kallio A. Studies in Ingrian Laments. Helsinki, 1982.

¹² Карельские причитания / А. С. Степанова, Т. А. Коски. Петрозаводск, 1976.

¹³ Конкка У. С. Указ. соч.

¹⁴ Konkka U. Ikuinen ikävä. Karjalaiset riitti-itkut. Helsinki, 1985.

¹⁵ Степанова А. С. Метафорический мир карельских причитаний. Л., 1985.

¹⁶ Симпозиум-79 по прибалтийско-финской филологии. 22–24 мая 1979: Тез. докл. Петрозаводск, 1979.

¹⁷ Honko L. Itkuvirsien vertailevasta tutkimuksesta // Симпозиум-79. С. 11–12.

¹⁸ Konkka U. Karjalaisen itkuvirsirunouden tutkimuksen ongelmia // Virittäjä. 1968. № 2. S. 175–181.

¹⁹ Honko L. Itämerensuomalaisen itkuvirsirunouden tutkimus.

²⁰ Духовная культура сегозерских карел конца XIX – начала XX в. / Изд. подгот. У. С. Конкка, А. П. Конкка. Л., 1980.

²¹ Песенный фольклор кестеньгских карел / Изд. подгот. Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 1989.

²² Народные песни Ингерманландии / Изд. подгот. Э. С. Киуру, Т. А. Коски, Э. П. Кюльмясу, Л., 1974.

²³ Virtaranta P. Vianan kansa muistele. Porvoo; Helsinki, 1958; Anna Vasiljevna Tsesnakovan kerrontaa ja itkuvirsiä. Helsinki, 1994; Virtaranta Pertti ja Helmi: Ahavatuulien armoilla. Itkuvirsiä Aunuksesta. Toimittaneet R. Koponen ja M. Torikka. Helsinki, 1999.

²⁴ Virtaranta P. Suruvirret suuhun tuopi. Helsinki, 1989; Virtaranta Pertti ja Helmi. Kauas läksit karjalainen. Helsinki, 1986.

²⁵ Pentikäinen J. Marina Takalon uskonto. Helsinki, 1971.

²⁶ Nenola A. Inkerin itkuvirret. Ingrian Laments. Helsinki, 2002.

²⁷ Степанова А. С. Карельские плачи. Специфика жанра. Петрозаводск, 2003.

²⁸ Степанова А. С. Толковый словарь языка карельских причитаний. Петрозаводск, 2004.

© Э. П. Степанова
Хельсинки (Финляндия)

Скрытый мир плачей П. С. Савельевой

Причитания, или плачи, – древнейший жанр устной ритуальной поэзии – были известны по всему миру и у всех народов¹. Сейчас плачи встречаются очень редко, но в российской Карелии их еще можно услышать. В карельских причитаниях, помимо ритуальных моментов и выражения чувств утраты, печали, тоски, одиночества, присутствуют множество скрытых значений, проявляющихся в языковых формулах. Рассмотрим, что могут рассказать причитания талантливой карельской плакальщицы Прасковьи Степановны Савельевой² о понимании мироустройства карел Сегозерья.

При подготовке исследования³ в нашем распоряжении находились около 100 причитаний П. Савельевой. С 1970-х гг. и по 2001 г. исследователи Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН систематически записывали от П. Савельевой частушки, песни, загадки, пословицы и причитания. Хотелось бы выразить глубокую признательность и сердечную благодарность сотрудникам института, которые за эти годы собрали и сохранили уникальный материал, а также за предоставленные копии причитаний.

Выбранные в качестве объекта исследования похоронные и бытовые причитания П. Савельевой были рассмотрены, в частности, в свете формульной теории устной народной поэзии Oral Formulaic Theory. Основоположниками ее были Альберт Лорд⁴ и Милман Перри⁵, создавшие первые положения теории еще в 1930-е гг. Несмотря на жесткую критику, предложенная А. Лордом и М. Перри теория

продолжала развиваться, и одним из значимых и известных последователей теории стал американский ученый Джон Майлс Фолей⁶.

Согласно теории Лорда-Перри, устная поэзия характеризуется сплошной формульностью, при этом народный поэт не повторяет заученные традиционные произведения, а создает каждый раз новые в процессе своего исполнения, используя традиционные формулы и тематическую основу. Этим объясняется наличие множества различных вариантов одного и того же произведения. При создании устного произведения какого-либо определенного жанра поэт использует различные формулы, клише, которые складываются в более крупные единицы произведения – идеи и темы. При этом получившаяся тема не является постоянной языковой единицей, а лишь группой идей, которые могут варьироваться у разных исполнителей, в разных репертуарах, в различных регионах.

Причитания П. Савельевой также являются своеобразной импровизацией, а не заученными готовыми текстами и создаются именно в процессе исполнения. Примером этому может служить анализ похоронного плача Савельевой «О прибытии дочери на похороны матери»⁷, где явно выделяются четыре основные темы: 1. Окружающая среда изменилась до неузнаваемости. Матери не видно нигде; 2. Покойница уже обряжена для похорон, больше никогда не сможет беседовать; 3. Рассказ дочери о своей нелегкой жизни, о несчастной доле; 4. Просьба о прощении. Первая, вторая и четвертая темы являются обязательными, традиционными для данного момента похоронного обряда. Они в свою очередь состоят из определенных идей, которые выражаются одной или несколькими формулами. Интересно, что третья тема не обязательна для этого типа причитаний, а представляет собой внеобрядовый автобиографический плач, включенный талантливой женщиной в плач похоронный. Это лишний раз доказывает, что плач создается в каждой конкретной ситуации заново, но традиционным языком и темами.

Сама плакальщица не смогла точно ответить на вопрос, как создаются плачи. В 1999 г. мы с А. С. Степановой побывали у П. Савельевой и пытались узнать, каким образом она причитывает, как рождается плач. На все наши попытки выяснить этот вопрос, Прасковья Степановна отвечала, что плач нужно только начать, а остальные «слова» придут сами собой. Мы спрашивали, обдумывает ли она плач про себя, мысленно, на что она отвечала: «Нет, нет, нельзя так делать».

Д. М. Фолей, отталкиваясь от формульной теории, расширил ее, учитывая роль не только исполнителя, но и слушателя устного народного произведения,

а также место исполнения. Его «Immanent Art»⁸ позволяет по-новому «прочитать» традиционное устное произведение, распознать за словесными формулами и структурой более широкие значения, вкладываемые в традиционную поэзию не только исполнителем, но и слушателем, то есть народом. Во время исполнения достигается взаимная «коммуникативная экономия» (communicative economy)⁹ – поэту необязательно тратить лишние слова на вступления или какие-либо предварительные объяснения, слушатели практически сразу понимают, о чем пойдет речь, произведение какого жанра народной поэзии будет сейчас перед ними исполнено, поэтому сказитель может использовать максимальные сжатые смысловые единицы.

Между исполнителем и слушателем не возникнет полного понимания, если они будут говорить на разных поэтических языках. Поэтому Д. М. Фолеи выделяет особый, специфический для каждого жанра устной народной поэзии **регистр**, который включает кроме слов и выражений грамматическую, синтаксическую структуру, а также любые особенности и отличительные черты данного жанра. Регистр может быть идиолектным – присущим только данному исполнителю, диалектным, то есть присущим представителям данного региона, и национальным поэтическим языком, присущим целому этносу¹⁰.

Как мы знаем, главной особенностью карельских плачей является их особый поэтический язык, полный закодированных выражений или метафорических замен, которые остаются непонятными непосвященному слушателю. При этом как язык причитаний, так и исполнение плачей подчиняются определенным правилам – это аллитерация, параллелизм, обилие множественного числа и уменьшительно-ласкательных форм¹¹ и другие. Все это образует регистр карельских причитаний. Как известно, Карелию можно разделить на три региональные традиции плачей: севернокарельскую, среднекарельскую и южнокарельскую, различные по языку, некоторым поэтическим и стилистическим приемам. Между ними нет четких границ и переход от одной традиции причитывания к другой происходит постепенно и плавно¹². Поэтому мы можем с полной уверенностью говорить и о национальном, и о диалектном регистре причитаний, так как нам известны как общекарельские, так и локальные особенности плачей и их исполнения.

Сложнее вычленивать идиолектный регистр, для этого требуется провести сравнительные исследования причитаний разных плакальщиц одного и того же региона. На основании анализа причитаний П. Савельевой можно с большей долей уверенности предположить, что каждая талантливая женщина-плакальщица накапливает за свою жизнь определенный регистр, которым и пользуется при исполнении плачей. Выбор слов плача является идиолектным, но сами языковые формулы входят в диалектный регистр.

Многие исследователи, как русские, так и финские, считают, что поэтический и непонятный язык карельских плачей указывает на их древность и высокий уровень развития¹³. В связи с этим можно предположить, что в причитаниях помимо древнего языка сохранились и представления, например, о строении окружающего мира карел. На примере причитаний П. Савельевой мы попытались выяснить, что скрывается за ее плачами, за используемыми ею словесными формулами.

Проанализировав регистр похоронных и бытовых причитаний П. Савельевой и вычленив все подчиняющиеся общим правилам формулы, идеи и темы, мы пришли к выводу, что язык причитаний плакальщицы можно разделить на две основные группы. Первая группа представляет собой **универсальный язык или регистр**, то есть формулы, которые используются ею во всех причитаниях независимо от контекста, места или повода для исполнения. В первую группу входят все термины родства, «эго» женщины-исполнительницы и термины строения мира.

Другая, более обширная группа регистра, зависит от контекста исполняемого плача. В этой группе находятся все остальные формулы языка плачей. Женщина, исполняющая плач, может свободно выбирать из этой группы любые языковые формулы, которые ей нужны для выражения определенных тем с заданным контекстом. Здесь также встречаются несколько подгрупп. Есть группа формул, которые относятся только к похоронным и к поминальным плачам, есть «слова» для выражения различных чувств – печали, радости, утраты, есть метафорические замены, обозначающие оружие и машины, друзей и врагов, особые просьбы о прощении или благословении, выражение благодарности.

Остановимся подробнее на первой группе регистра (универсальном). Метафорические замены терминов родства почти всегда имеют положительный оттенок, например, *kallis naine kandajazeni* – дорогая женщина, меня выносившая – мать или *armas huväzeni* – дорогой мой хороший – отец. Нужно заметить, что в последние годы закон иносказания стал нарушаться и поэтому в современных плачах мы можем встретить прямые названия родственников. В плачах П. Савельевой встречаются иногда и замены с отрицательной направленностью, например, про мужа, который пьет водку и обижает жену, она говорит *karu da karu ottamien omena* – жестокий да жестокий плод / яблоко [чужих] принятых¹⁴.

«Эго» женщины-исполнительницы, самая обширная подгруппа, всегда несет в себе негативный оттенок. Это отрицательный, или негативный, эпитет «несчастливая», «бедная», «уставшая» и так далее, к которому исполнительница может добавить «женщина» или «стан» – тело, например, *vaibunut vardut* – уставший стан.

В плачах П. Савельевой мир делится на три части – это Боги или некие высшие существа – **Spuassuzet** (от рус. Спас-Христос), загробный мир и его обитатели, а в свадебных плачах и иконы – **syndyzet** и, наконец, реальный мир, в котором живут люди – **muailma**. Все они имеют положительную окраску, плакальщица говорит, например, прекрасные, чудесные Спасушки. Можно предположить, что Спуассузет обитают где-то в верхнем мире, хотя в плачах П. Савельевой нет четкого на это указания. Предположение основывается на том, что Сюндюзет относятся прежде всего к загробному миру, хотя могут обозначать и каких-то божественных существ, тогда как Спуассузет в ее плачах никогда к загробному миру отношения не имели. В похоронных причитаниях есть также упоминание о том, что в загробный мир нужно спускаться **вниз** по ступеням. На приведенной схеме Сюндюзет условно расположены внизу, а Спуассузет – вверху. У карел, особенно северных и сегозерских, нет конкретного представления о загробном мире¹⁵. Они не отличают местонахождения присущих христианству ада или рая, откуда и вытекает неопределенное местонахождение Спуассузет и Сюндюзет, у южных карел представление о загробном мире уже более конкретизировано в связи с большим влиянием христианства.

Итак, в универсальный язык, или регистр, входят обязательные для каждого плача «слова». Это основа языка причитаний, без них плач уже не будет плачем. Они встречаются в любом причитании, независимо от того, по какому поводу исполняются – на похоронах, при проходах в армию или вне обряда. Эта часть регистра плачей более законсервирована и менее подвержена влияниям извне, или изменениям. Если обобщить и проанализировать понятия, входящие в первую группу, то перед нами предстает устройство мира в понимании П. Савельевой, а также место самой плакальщицы и окружающих ее людей в этом мире. Кроме того, проследив все контексты, где упоминаются Спуассузет или Сюндюзет, можно отчасти узнать, какими видит их именно Прасковья Степановна – кто такие Спуассузет, за что они отвечают, какова их функция в мироустройстве. Учитывая, что регистр ее причитаний, одновременно и идиолектный, и диалектный, является частью целостного поэтического национального регистра данного жанра устной народной поэзии, можно с уверенностью говорить и о том, что представление плакальщицы об устройстве мира – общее для карел Сегозерья. В свою очередь, пока еще рано говорить об общекарельском представлении о строении мира без анализа причитаний всех локальных плачевых традиций Карелии.

Присутствие в каждом плаче самой женщины-плакальщицы очень символично. Естественно, она выражает в своих плачах именно свои чувства, свои мысли, рассказывает о своей жизни, но при этом она пропускает через себя и чувства других людей, рассказывает о чужой жизни через призму своего «я» и своего мироощущения. Особенно это относится к внеобрядовой причети.

В обрядовых плачах, например, в похоронных, у П. Савельевой очевидна роль женщины как моста или звена, соединяющего мир живых с миром мертвых, что подмечает и исследователь ижорских причитаний А. Ненола. Именно женщина-плакальщица должна провести душу умершего в мир мертвых, обезопасив оставшихся в живых. Таким образом, плакальщица выполняет важную общественную функцию «проводника» между мирами, связывая всех в реальном мире, она выражает как личную, так и коллективную скорбь по умершему¹⁶. Кроме того, и после похорон женщина берет на себя обязанность хранить память о покойном, в этом случае на могиле исполняются поминальные плачи.

SPUASSUZET

БОГИ

+



За словесными выражениями в причитаниях П. Савельевой мы видим и строение мира, и место в этом мире женщины-исполнительницы и окружающих ее людей, в основном родственников. При этом Спущасузет-боги определяют судьбу и участь людей, они также боги-создатели, например, природных явлений и объектов. А Сюдюзет – это мир мертвых, куда уходят покойные и где живут предки-прародители. Прасковья Степановна была православной и, как выяснилось в интервью, знала основы православия, но говорила о них несколько заученно с долей определенной неуверенности, зато в ее плачах картина мира представляла всегда неизменной. Это лишний раз показывает, что ввиду своеобразия жанра соседние культуры, языки или верования оказали на сегозерские причитания намного меньшее влияние, чем на другие жанры фольклора.

Это лишь некоторые выводы, сделанные на материале причитаний П. Савельевой. Можно еще говорить о взаимосвязи карельской обрядовой и внеобрядовой причети с устным народным творчеством соседних народов, например, русских или вепсов, о структуре причитаний, о тематической структуре автобиографических плачей.

Многие вопросы изучения карельских причитаний уже в какой-то степени решены и в этом большая заслуга сотрудников Института языка, литературы и истории. Все же многие вопросы остаются еще без ответа и задача молодого поколения исследователей не оставить без внимания этот сложный, но очень интересный жанр карельского фольклора.

¹ См. например: Honko L. Itkuvirsirunous // Suomen kirjallisuus. Kirjoittamaton kirjallisuus. I. Helsinki, 1963. S. 81–128; Конка У. С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992; Степанова А. С. Метафорический мир карельских причитаний. Л., 1985.

² Подробнее о П. С. Савельевой см.: Степанова А. С. Карельские плачи: Специфика жанра. Петрозаводск, 2003. С. 183–189.

³ Stepanova E. Itku, itkukieli ja itkijä. Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos, 2004. Käsikirjoitus.

⁴ Lord A. B. The Singer of Tales. New York, 1960.

⁵ Parry M. Whole formulaic verses in Greek and southslavic heroic song. 1933 // The making of Homeric verse. Reprinted; New York, 1980.

⁶ Foley J. M. How to Read an Oral Poem. University of Illinois Press, 2002; <http://www.oraltradition.org/>

⁷ Карельские причитания / А. С. Степанова, Т. А. Коски. Петрозаводск, 1976. Текст № 85.

⁸ Указ. соч. С. 109–125; Foley J. M. Immanent Art: From Structure to Meaning in Traditional Oral Epic. Bloomington, 1991.

⁹ Указ. соч. С. 117.

¹⁰ Harvilahti Lauri in collaboration with Zoja S. Kazagačeva. The Holy Mountain. Studies on Upper Altay Oral Poetry. Helsinki, 2003. S. 95–96.

¹¹ Степанова А. С. Метафорический мир..; Она же. Толковый словарь языка карельских причитаний. Петрозаводск, 2004.

¹² Степанова А. С. Метафорический мир... С. 16–17.

¹³ Lönnrot E. Itkuvirsiä Venäjän Karjalassa // Mehiläinen, syys-lokakuu, 1836; Haavio M. Suomalaisen muinaisrunouden maailma. Helsinki, 1935. S. 213; Конкка У. С. Указ. соч. С. 8.

¹⁴ Подробнее о метафорических заменах см.: Степанова А. С. Метафорический мир...; Она же. Толковый словарь...

¹⁵ Конкка У. С. Указ. соч. С. 49.

¹⁶ Nenola A. Inkerin itkuvirret. Ingrian Laments. Helsinki, 2002. S. 29.

© Н. Ф. Онегина
Петрозаводск

Русско-вепско-карельские фольклорные связи на материале волшебной сказки

Рассмотрим некоторые русско-вепско-карельские сказочные связи на уровне сюжетов путем сравнения однотипных сказок разных народов.

Исследуем смысловую сюжетную композицию, тематическое наполнение сюжетной схемы, функции действующих лиц (персонажей сказки).

Основываясь на открытии В. Я. Проппа о парности большинства функций в сказке, Е. М. Мелетинский выдвигает проблему изучения волшебной сказки по бинарным блокам, то есть большим синтагматическим единствам, представляющим собой различные виды испытаний, завершающихся получением сказочных ценностей.

В основу сравнительного анализа русско-вепско-карельского сказочного эпоса мы взяли алломорфы (отличия по форме) каждого вида испытаний, символику записи даем по работе В. Я. Проппа «Морфология сказки»¹. Для понимания общности знаковых систем прилагаем сводную таблицу обозначений со схемой сюжета «Чудесные дети» (СУС² 707).

Тип по СУС	Вредительство (или недостача)	Предварительное испытание ДГZ = Eл	Основное испытание З-Р или Б-П; Л = EL	Дополнительное испытание ТУОНС* = E'L'
707 I версия	I ход A ^{12/10} II ход A ¹ III ход a ³	Z ³ (Z)	Л ¹⁰ Л ⁴ Л ⁴	T ² УОН с ²
707 II версия	I ход A ^{12/10, 15} II ход a ³ A ¹¹	Д ⁷ Г ⁷ Z ⁷	Л ¹⁰ Л ^{4/IX}	(T ²) УОН

Всякий сказочный сюжет начинается с какого-либо вредительства (A) либо с недостачи чего-либо (a).

Предварительное испытание – это встреча героя с дарителем – реакция героя на его требования – получение волшебного средства, то есть ДГZ = Еλ.

Основное испытание – это задача-решение или борьба-победа; любая иная ликвидация беды: З–Р, Б–П; Л=ЕL.

Дополнительное испытание на идентификацию героя: трансфигурация; узнавание; обличение; наказание; свадьба: Т; У; ОН; С=Е' L'.

При структурно-синтагматическом анализе каждый вид испытаний изучается как конкретный сказочный эпизод, выбор которого с учетом причинно-следственных связей и составляет определенный вариант сказки. Общая композиционная схема не исключает варьирования в количестве и выборе этих эпизодов. Полный набор их не обязателен в каждом конкретном случае. Сюжетный тип отличается выбором вида испытаний для решения ведущего конфликта, системой и способами исполнения функций. Различные способы осуществления последних являются признаками национальных и региональных версий. При структурно-синтагматическом анализе с применением большого количества примеров сравниваемых сказок разных народов исключается сравнение единиц разных уровней и становится отчетливой грань между интернациональным и национальным в фольклорных традициях народов.

Из анализируемых сказок возьмем схемы выше обозначенного сюжета, отраженного в текстах общерусских (их 80 по СУС), в опубликованных и архивных русских сказках Карелии – 30 текстов; в карельских – 57; вепсских – 15.

Дадим структурно-типологическое описание двух версий:

1. Русская версия сюжета (СУС 707)

1 ход. Чудесных (золотых) сыновей царицы подменяют (вредительство – А¹²); ее закупаживают в бочку и бросают в море (вредительство – А¹⁰). Сын, спрятанный царицей, вырастает в бочке и разламывает ее, плененные освобождаются, попадают на необитаемый остров (ликвидация беды – Л¹⁰). Сын, применяя свои магические способности или волшебное средство, строит дворец, дом и т. п. (трансфигурация – Т²).

2 ход. Герой узнает об исчезнувших братьях (похищены антагонистом – вредительство – А¹), решает идти на поиски (отправка – С↑); мать печет колобки на своем грудном молоке (волшебное средство изготавливается – Z³); с их помощью найдены братья (ликвидация беды – Л⁴).

3 ход. Для привлечения внимания царя недостает разных диковинок (недостача – а³). Герой вновь применяет свои магические умения и приобретает их (ликвидация недостачи – Л⁴); весть о них привлекает царя, и

он приезжает, узнает жену и детей (узнавание – У), наказывает виновников бедствия (наказание – Н) и возобновляет брак (с²).

II. Западноевропейская версия сюжета (СУС 707)

1 ход. Детей царицы подменивают (вредительство – А¹²) и бросают в воду (вредительство – А¹⁰). Оклеветанную царицу заточают (вредительство – А¹⁵). Детей спасают (ликвидация беды – Л). Живя у спасителя, они взрослеют, строят дом, выращивают сад (условно трансфигурация – Т²).

2 ход. Недостает разных диковинок (а³). Братья отправляются добывать их и не возвращаются (отправка – С↑).

3 ход. Не дождавшись братьев (они околдованы антагонистом – вредительство – А¹¹), сестра отправляется на поиски (С↑). Героиня встречает дарителя, выдерживает испытание и получает волшебное средство (Д⁷Г⁷З⁷), в результате чего добывает диковинки (ликвидация недостачи – Л⁴) и оживляет братьев (ликвидация первоначальной беды – Л^{IX}). Истина выясняется – Л^{4/IX}, виновные наказаны (обличение – О, наказание – Н).

При сопоставлении обнаруживаются различия в одноуровневых элементах сказок. В этих версиях отличаются переменные величины – способы исполнения функций. Например, вредительство А¹⁰ (бросание в море) в первом случае, во втором А¹⁵ (заточение оклеветанной царицы). Вредительство, учиненное над братьями героя (героини), тоже разное: А¹ (братья похищены и спрятаны); А¹¹ (околдованы, превращены в камни).

Различия в формах вредительства предопределяют своеобразие последующих звеньев. В западной версии героиня, пройдя предварительное испытание, добывает живую воду и возвращает братьев к жизни (ДГЗ–Л^{4/IX}). Ср.: Аф.³ № 288, карельск. текст КНС Г⁴, № 49. В версии русской – братья узнают друг друга с помощью иного волшебного средства – коlobка, испеченного на грудном молоке матери (З³–Л⁴). Испытание на идентификацию героя тоже осуществляется иным способом, чем в русской версии. Посредником является птица-говорунья, раскрывающая царю истину, в то время как в русских, вепских и карельских вариантах первой версии узнавание детей царем происходит по их внешним атрибутам (золотым рукам, ногам, волосам). Следовательно, перед нами две версии, своеобразно разработанные, но имеющие общую сюжетную композицию с семейным конфликтом в основе. Объектами борьбы являются невинно гонимые.

Посмотрим, как это выглядит в синтагматических рядах сопоставлений (карельские и вепские тексты везде даны в нашем переводе. – Н. О.).

Русско-вепско-карельские параллели

Сюжет 707 «Чудесные дети» (русская версия)

Аф. № 284
(Рус. – сер. XIX в.)

ККН⁵ II, с. 4–8
(Карельск. – конец XIX в.)

НÄКМ. ⁶ № 196
(Вепс. – конец XIX в.)

Подмена чудесных детей (вредительство – А¹²)

Яга-баба пришла, отобрала у Марфы Прекрасной трех сыновей, а на замен оставила трех поганых щенят.

Бабка Сювяттар унесла детей в открытое поле на зеленую ниву, а взамен принесла щенят.

Яги-баба детей вымыла и спрягала, трех щенят притащила: «Смотри, что жена родила».

Бросание в море (новое вредительство – А¹⁰)

Посадили царевну вместе с сыном в бочку, заколотили, засмолили и бросили в океан-море широкое.

Царевич сделал дубовую бочку, набил железные обручи, жену с ребенком сажает туда и бросает в море.

Иван-царевич сделал бочку, железные обручи набил, в бочку жену посадил, с собой топор дал и в море опустил.

Плененные освобождаются (ликвидация начальной беды – Л¹⁰)

Долго носило бочку по морю, наконец, прибило к берегу; стала бочка на мель. А сын Марфы-царевны рос не по дням, вырос большой и говорит: «Матушка! Я потянусь...»

Бочка плавает в море семь лет, мальчик вырос там, стал большим. Говорит матери: «Я потянусь?» Мать говорит: «Потянись (букв. – пни) сейчас, сынок». Он как пнул, бочка развалилась, и они попали на берег.

Поди знай, сколько лет шатались по морю, вырос парень тут <...> Тесно стало в бочке, просит мать: «Благослови меня, я щель пробью». Он стукнул по желобу в бочке, и бочка надвое раскололась, и они пошли по песку за море.

Дети найдены (ликвидация беды – Л⁴)

Пришел к старому дубу, отвалил камень, глянул и увидел своих братьев: сидят вокруг стола в подземелье. Он спустил им по одному хлебцу; братья съели и заплакали: «Эти хлебцы кабыть на молоке нашей матушки!»

Мальчики спят, а мать кладет им в изголовье каждому колобок. Мальчики просыпаются, нюхают: что за чудо, как будто бы пахнет молоком нашей матери. Мать вышла к ним, и отправились все вместе домой.

Мать из своих грудей надоила молока, испекла колобы. Мальчик пошел, колобок сунул в амбар через дырку, и братья разломали колобок на кусочки попробовать: «Как будто из молока нашей матушки испечены».

В статье «Вепские сказки о невинно гонимых»⁷ нами дан структурно-синтагматический анализ ряда сюжетов, в том числе более подробно иллюстрируются тексты с сюжетами «чудесные дети».

Итак, в Карелии среди русских, карел и вепсов широко бытует русская версия названного сюжета. Интересно замечание собирателя XIX в. Варонена о том, что эту сказку знают почти все сказители карельских деревень, где ему довелось записывать: Вокнаволок, Ухта, Юшкозеро, Ругозеро (SKS II, с. 141)⁸. Кстати, все перечисленные населенные пункты относятся к Северной Карелии. Но, как считает У. С. Конкка, эта версия сказки распространена по всей Карелии (КНС I, № 42, примечание). Западноевропейская трактовка в известных нам вепских записях отсутствует и почти не встречается у южных карел.

Глубокие культурные и исторические связи русских, вепсов и карел подтверждает и то, что исследователи подобную «русскую» версию назвали самобытной сказкой восточных славян.

Появление русской версии сюжета в среде карел и вепсов можно объяснить разными причинами, отчасти этногенезом карельского народа, новгородской колонизацией, миссионерством, позднее – отходничеством, ассимиляцией, билингвизмом (двуязычием) вепсов и карел и т. п.

У восточных угров и северных народностей русская версия сюжета «Чудесные дети» имеет иную разработку в основных звеньях структурного ряда. Чудеснорожденное дитя, брошенное в море с камнем на шее, остается жить на морском дне. Обитатели водной стихии заботятся о нем и считают своим. Но мальчик иногда выходит на берег, где его ловят. Видоизменение основного вредительства ведет за собой и иные формы ликвидации беды, поиска пропавших братьев и т. д. Иначе говоря, это новая версия, отличная от изучаемых нами⁹.

Особенно своеобразно у вепсов, карел и у других финно-угорских народов выглядят главные персонажи сказок: герой и антагонист, в них больше, чем в русских классических сказках, реминисценций мифологического воззрения на мир. Но это уже тема другого исследования.

Западноевропейскую версию (о поющем дереве, птице-говорунье и живой воде), как уже говорилось, мы не обнаружили у вепсов в нашем материале, а у карел нашли только шесть вариантов, все они из Северной Карелии. Появление ее в западной Европе исследователи относят к книжной традиции. Первая в мире запись сюжета относится к середине XVI в. – это итальянский сборник Страпаролы (Straparola, *Le piacetti notti*, I–II, 1550–1553 гг.).

Трудно установить родину этой всемирно распространенной сказки, однако известно, что в Индии от хинди была записана эта версия сказки; в книжном источнике она есть в арабском сборнике «Тысяча и одна ночь» (в основе свода – индийские волшебные сказки, французский перевод Г. Галлана, 1704–1717 гг.)¹⁰. Есть основания рассматривать эту сказку как пришедшую в Европу с Востока. В Европе эта версия очень широко распространена.

Изучая тексты севернокарельской сказительницы М. И. Михеевой, нами были обнаружены в коллекции примечания собирательницы, где отмечено, что сказочница читала финскую книгу «Suomalainen lukukirja»¹¹. Исследовательница карельского фольклора У. С. Конкка в книге «Карельские народные сказки» утверждает, что карельские варианты этой версии сюжета близки к финским (КНС I, примечание). Вероятнее всего, это и есть путь проникновения западноевропейской версии в Карелию.

Наличие разных версий одних и тех же сказочных типов доказывает, что сюжет очень изменчив. При изучении его можно найти опору в твердом структурном подходе к материалу, основываясь на постоянных элементах (функциях). Они образуют четкую систему иерархически расположенных бинарных блоков. Деление сказок на большие синтагматические единства имеет свои преимущества, ибо дает возможность рассмотреть изучаемое явление без лишнего детализирования, что важно при синтезе.

В изучаемых сюжетах обнаруживаются две основные композиционные группы. Они отличаются выбором испытаний:

1) сюжеты с тремя испытаниями (предварительным, основным и дополнительным);

2) сюжеты с двумя испытаниями (предварительным, эквивалентом основного, и дополнительным).

Ведущими признаками следует считать предварительное и основное испытание, выбор и оформление которых отличает сюжетные типы один от другого. Более развитая форма волшебной сказки имеет все три испытания. Но внутри этой композиционной группы есть разновидности:

а) разрешение конфликта через З–Р (задачу–решение);

б) разрешение конфликта через Б–П (борьбу–победу).

Дальнейшая дифференциация типов основывается на различиях в способах исполнения функций. При морфологическом анализе следует учитывать перемещение форм материала, нарастание конфликта и усложнение фабулы, ведущие к изменению идейного содержания произведения.

Проводя параллели к сказкам других народов, устанавливаем, что целый ряд западноевропейских сказок (финских, немецких, норвежских и т. д.) укладывается в составленную для русско-вепско-карельских параллелей типовую схему. Это дает возможность прийти к более широким обобщениям и выводам. Думается, что определенный слой сказочного эпоса следует рассматривать не только в рамках национальных, но и шире – в границах культурных ареалов. Структурная типология во многом помогает изучению жанров в сравнительно-историческом плане. Сюжетный репертуар карельских и вепских сказок в основном совпадает с восточнославянским, примыкая к севернорусской традиции.

¹ Пропп В. Я. Морфология сказки. Изд. 2. М., 1969. С. 127–132. Здесь же: Мелетинский Е. М. Структурно-типологическое изучение сказки. С. 134–162.

² Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 1979 (далее – СУС).

³ Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. М., 1957–1958 (далее – Аф.).

⁴ Карельские народные сказки. М.; Л., 1963 (далее – КНС I).

⁵ Karjalan kielen näytteitä, 2. osa. Helsinki, 1934 (далее – KKN II).

⁶ Näytteitä äänis- ja keskivepsän murteista. Helsinki, 1951 (далее – NÄKM).

⁷ Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1983. С. 135–157.

⁸ Suomalaisia kansansatuja. 2. osa. Kuninkaallisia satuja. 1: vihko. Toim. K. Krohn. Helsinki, 1893 (далее – SKS II).

⁹ Мордовские народные сказки. Саранск, 1954. С. 3.

¹⁰ Зуева Т. В. Образование одной из версий сказки «Чудесные дети» в восточном фольклоре // Проблемы изучения русского устного творчества. Вып. 6. М., 1979. С. 3–16.

¹¹ Архив Карельского научного центра РАН. Оп. 2. Кол. 22, 13.

© А. С. Лызлова
Петрозаводск

Зооморфные персонажи – похитители женщин в русских и прибалтийско-финских волшебных сказках

Известная исследовательница карельского фольклора У. С. Конкка справедливо заметила, что «сказка – самый интернациональный из всех жанров фольклора»¹. Волшебная сказка как жанровая разновидность не является исключением. Безусловно, в волшебных сказках разных народов встречаются одинаковые сюжеты и мотивы, в них действуют похожие персонажи, что отражается в указателях Аарне-Андреева, Аарне-Томпсона, в СУС² и др. Особенно это обстоятельство характерно для фольклорных текстов народов, живущих рядом. Взаимосвязи русской и прибалтийско-финской фольклорных традиций постоянно привлекали и привле-

кают внимание таких сотрудников Института ЯЛИ КарНЦ РАН, как В. Я. Евсеев, У. С. Конкка, Т. И. Сенькина, Э. С. Киуру, Н. Ф. Онегина.

Объектом нашего исследования являются сказочные варианты, объединенные темой похищения женщины и представленные в соседствующих этнокультурных традициях. Материалом для него послужили русские волшебные сказки из сборников XIX–XX столетий, карельские, финские, саамские сказки, опубликованные на русском языке³ или с русским переводом⁴, неизданные сборники фольклора прибалтийско-финских народов, хранящиеся в Научном архиве КарНЦ РАН⁵, некоторые фольклорные коллекции того же архива⁶.

В роли похитителя женщин в сказочных текстах могут выступать различные персонажи с зоо-, антропо-, зооантропоморфными признаками, а также аморфные, «природные» и «гибридные» существа.

К самому древнему типу относятся зооморфные похитители, восходящие, по-видимому, к тотемным животным, ведь они имеют сходство с персонажами сказок о животных, тотемистический характер которых уже определен исследователями⁷.

Самым распространенным похитителем в образе животного в рассмотренных русских, карельских, а также вепсских и ингерманландских сказках является *медведь*. Этот персонаж представлен в фольклорных текстах тремя основными сюжетами, обозначенными в СУС под номерами: 311 *Медведь и три сестры*, 552А *Животные-зятья* и 650А *Иван медвежье ушко*.

О внешнем облике медведя-похитителя сказочные тексты дают немного сведений. В нескольких русских вариантах подчеркивается наличие у него шерсти (Ончуков, № 78; Поморье, № 1), в одном из рассмотренных текстов сообщается, что он «мохнатый» (Соколовы, № 105). Кроме того, в отдельных сказках (русских и вепсских) указывается, что у медведя есть следующие части тела: передние лапы, которыми он хватает свою жертву (АКНЦ 115, 40) (в связи с этим следует сказать, что в одном из текстов он получает характеристику «косолапый», Саратовская обл., с. 124–138), плечо, на которое он ее взваливает (Поморье, № 18), голова (Зеленин Вят., № 16) или же морда с ноздрями (Башкирия, № 28). По своим внешним признакам этот персонаж, по-видимому, ничем не отличается от обычного животного.

Во многих сказках он наделяется «лесной» атрибутикой. В некоторых русских вариантах медведь прямо характеризуется как «зверь лесовой» (Соколовы, № 105), «лесной зверь» (Заонежье, № 48), «лютый зверь» (Ончуков, № 78). В то же время стоит отметить, что в нескольких текстах, зафиксированных на территории России, рассматриваемый похититель наделяется именами, свойственными человеку: Миша (Поморье, № 18), Мишка (Башкирия, № 28; Саратовская обл., с. 124–138), а

также Михаил Михайлович (Башкирия, № 28), «Медведь Медведёвич» (Зеленин Перм., № 6), которые сочетают в себе имя и отчество (что, впрочем, характерно для многих зооморфных персонажей-похитителей в русских волшебных сказках). В саамской сказке он именуется Колдальш (Саамы, № 74).

Кроме всего прочего, в некоторых русских сказках упоминается, что медведь часто ходит в лес (Соколовы, № 105; Терский берег, № 76), на охоту (Зеленин Вят., № 16), на добычу (Саратовская обл., с. 124–138), на пчельник (Афанасьев, № 152), просто гулять (Худяков, № 18) или же уходит далеко, не имея определенной цели (Терский берег, № 55). В вепсской сказке рассматриваемый персонаж занимается тем, что ест малину в лесном малиннике (АКНЦ 115, 40). В одном из карельских вариантов он «на день уходит в лес еду для себя искать» (КНС II, № 7).

В большинстве сказок сообщается, что медведь живет в берлоге (АКНЦ 115, 40; ИФ, № 8; Саамы, № 74; Афанасьев, № 152; Терский берег, № 55; Смирнов, № 247; Саратовская обл., с. 124–138; Садовников, № 34) или же в избушке (КНС II, № 7; Зеленин Вят., № 16; Худяков, № 18), в доме (Поморье, № 18), в «домушке» (Ярославская обл., № 4). Именно туда он приводит (приносит) свою жертву, иногда она сама приходит к нему.

Оказавшись во власти рассматриваемого персонажа, героиня становится женой медведя, хозяйкой в его жилище. В ряде русских (Поморье, № 18; Башкирия, № 28) и карельских (КНС II, № 7) вариантов сообщается, что она готовит ему; в ингерманландской сказке он заставляет похищенную «медвежат нянчить, качать» (ИФ, № 8); в саамском тексте героиня вынуждена ходить за водой (Саамы, № 74). В некоторых сказках, записанных на территории России, сообщается, что медведь, по-видимому, в благодарность за эту помощь обеспечивает женщину всем необходимым: кормит ее медом (Саратовская обл., с. 124–138; Садовников, № 34) и ягодами (Сказки Сибири, № 18; Саратовская обл., с. 124–138), приносит дрова (Башкирия, № 28). В прибалтийско-финских же вариантах нами обнаружено лишь одно свидетельство такой бытовизации: животное только «все сырое мясо приносит есть» (Саамы, № 74).

Стоит отметить, что результатом сожительства медведя с похищенной им женщиной в русских, а также в вепсской сказках нередко оказывается общий сын, который обычно имеет медвежьи уши (Терский берег, № 55; Сказки Сибири, № 18; Коргуев, № 14; АКНЦ 115, 40). Иногда он описывается следующим образом: «до пояса человек, а от пояса медведь» (Афанасьев, № 152) или обросший до половины шерстью мальчик (Садовников, № 34). Такие сказочные тексты объединяются в сюжет 650А *Иван*

медвежье ушко, который, согласно указателям, широко распространен в русской, карельской и вепской традициях. Интересно, что в прочитанных нами карельских вариантах также функционирует Иван Медведев, который, однако, рождается у медведицы и похищенного ею мужчины (КНС I, № 13; АКНЦ 95, 293; 95, 349). В этом случае в карельской сказочной традиции, по-видимому, отражены более архаические представления о браке с тотемным животным, связанные с образом медведицы-пра-родительницы.

Стоит отметить, что в конечном итоге пленение героини медведем имеет временный характер. Похищенная освобождается либо благодаря своей смекалке, хитрости, либо с посторонней помощью. Медведь же в большинстве случаев остается в одиночестве, иногда он подвергается уничтожению.

Итак, рассмотренный ранее зооморфный похититель наделяется в сказках некоторыми отрицательными чертами. Совсем иной медведь предстает в русских волшебных сказках на сюжет 552А *Животные-зятья*, где он оказывается шурином героя и впоследствии его помощником. Что касается разрешения самой ситуации, то здесь медведь остается мужем сестры до конца повествования. К сожалению, нами не было обнаружено ни одной прибалтийско-финской сказки, где бы медведь выступал в такой роли.

Стоит отметить, что в некоторых русских (Садовников, № 29) и карельских (Богданов, л. 22–24 = Пажлаков, с. 94–96) вариантах сказок похитителем может выступать волк. В этих текстах он функционально заменяет рассмотренного ранее медведя. Живет волк в норе (Садовников, № 29) или в избушке (Богданов, л. 22–24 = Пажлаков, с. 94–96), где удерживаются в заточении похищенные им поочередно три сестры. В русской сказке даются минимальные сведения о внешности волка, который именуется так: «серый волчок». В карельском же тексте сообщается о том, что рассматриваемый персонаж умеет печь калитки, что подчеркивает национальную специфику сказки.

Стоит отметить, что в саамских сказках в роли похитителей женщины выступают другие животные: тюлень и олень (Саамы, № 134). (Характерно, что в нескольких саамских вариантах героини становятся женами указанных персонажей по своей воле.) Появление таких похитителей в рассматриваемой сказочной традиции не является случайным: оно связано с фауной того региона, где бытует сказка. Как правило, похищению подвергаются три сестры и третьим персонажем оказывается ворон, об образе которого речь пойдет чуть дальше.

Итак, женщин в русских, карельских, вепсских и саамских сказках похищают не только животные, но и различные птицы. Например, похищение трех сестер в одном из карельских вариантов, зафиксированных в Калевальском районе Карелии, совершают соответственно три сороки (Конкка, с. 27–35 = КНС II, № 40), которые становятся мужьями девушек. В русской традиции нет ни одного текста, где эта птица выступала бы в роли похитителя. Однако стоит отметить, что данный образ используется в детских потешках.

Согласно комментарию, представленному У. С. Конккой к указанному карельскому варианту, в одном из сказочных текстов сестер уносят орлы (АКНЦ 26, 48). В русских сказках эта птица совершает похищение женщины гораздо чаще (Афанасьев, № 159; Магай, № 5) и именуется иногда «Орел Орлович» (Карнаухова, № 169; 12 ставешков, с. 62–73).

В вепсской сказке, записанной от Ф. С. Смирнова в 1936 г., похитителями оказываются: ворон, голубь и сокол (АКНЦ 115, № 50). По мнению исследователя мифолого-религиозной традиции и животного мира у вепсов И. Ю. Винокуровой, два последних образа изначально не характерны для вепсской волшебной сказки и, по-видимому, являются заимствованными из русского фольклора. Эти три орнитоморфных персонажа-похитителя достаточно распространены в русских вариантах. Среди птиц, похищающих женщин, в текстах, записанных на территории России, преобладает ворон (Афанасьев, № 92, 130; Карнаухова, № 124; Магай, № 5; Пудожье, № 27; Смирнов, № 279; Терский берег, № 7; Худяков, Приложение 1, № 1; 12 ставешков, с. 62–73). Этот персонаж нередко именуется «Ворон Воронович» (Афанасьев, № 92, 130; Карнаухова, № 124; Магай, № 5; Пудожье, № 27; Смирнов, № 279; Терский берег, № 7; Худяков, Приложение 1, № 1; 12 ставешков, с. 62–73) или «Ворон Вороневич» (Зеленин Перм., № 6, 27; Смирнов, № 323). Характерно, что ворон-похититель в русских волшебных сказках (так же, как и медведь) имеет две разновидности. В большинстве текстов он является помощником героя, одаривающим его различными чудесными предметами. Однако в некоторых вариантах ворон противостоит освободителю. Эта ситуация отражается в русских текстах сказок на сюжет 312D *Катигорошек*, который нам не встретился в найденных прибалтийско-финских вариантах. Стоит отметить, что образ ворона в вепсском фольклоре изначально негативно окрашен⁸, но в сказке, записанной от Ф. С. Смирнова, он выступает как положительный персонаж. Что касается внешности этой птицы, то как в рассматриваемом вепсском варианте, так и в некоторых русских сказках подчеркивается, что ворон имеет черный цвет (Ончуков, № 78; Худяков, № 48). В отдельных сказках этот персонаж гиперболизируется посредством описания крыльев: «Ворон слетел на грядку, взял свою жену, одно крыло

послал, а другим закрыл (только и всево – тут и постеля и одеяло)» (Зеленин Вят., № 19); «вдруг ворон прилетел. На дворе сел, одним крылом махнул – полдвора закрыл, другим крылом махнул – совсем закрыл» (Худяков, Приложение 1, № 1). И в рассматриваемом вепсском варианте сообщается о сильном взмахе крыльев ворона.

Сокол (Афанасьев, № 159; Верхнеленские сказки, № 30; Зеленин Вят., № 86; Сказки XVI–XVIII века, № 30; Терский берег, № 65; Худяков, № 22, 48) или «Сокол Соколович» (Магай, № 5; 12 ставешков, с. 62–73) является еще одним распространенным орнитоморфным похитителем в русских волшебных сказках. В текстах он характеризуется как «ясен сокол» (Афанасьев, № 159), и «от его пера такая светлота, будто каждое место горит» (12 ставешков, с. 62–73). В указанной вепсской сказке сокол также наделен эпитетом «ясный». Вообще же, по словам И. Ю. Винокуровой, в вепсском языке не зафиксировано собственного названия для обозначения этой птицы, оно было заимствовано из русского языка (см. вепс. *sokol*). Сам же образ характерен для такого жанра, как причитания, где он имеет определенную семантику.

Что касается голубя, то лишь в единичных русских вариантах он совершает похищение женщины (Коргуев, № 8). В рассматриваемом вепсском сказочном тексте подчеркивается цвет этой птицы – сизый. Появление указанного орнитоморфного похитителя и в русской, и в вепсской сказке обусловлено, по всей видимости, влиянием общехристианской традиции, где образ голубя имеет важное значение: символизирует светлое начало.

Стоит отметить, что в многочисленных русских и прибалтийско-финских сказках зооморфные похитители представлены в достаточно трансформированном виде. По своему происхождению многие из них восходят к тотемным животным, но с течением времени все более антропоморфизируются. Помимо того, что все они наделяются человеческой речью, некоторые из таких персонажей в русских текстах наделены именами, свойственными только человеку (по типу имя-отчество)⁹.

В результате антропоморфизации в сказках появляются перевоплощающиеся персонажи, которые могут свободно менять свой животный образ на человеческий. Это отражается в русских, карельских и вепсских сказках.

Помимо этого в сказочных текстах появляются различные зооантропоморфные похитители. Примером такого персонажа может служить змея из одной русской волшебной сказки, он объединяет в себе черты человека и гада (змеи): «с виду Змей – богатырь, а голова – змеиная» (Бронницын, № 1).

Интересно, что в большинстве русских сказок змей в роли похитителя является отрицательным персонажем, функционирующим в основном в сюжете 301А, В *Три подземных царства* и 312D *Катигорошек*, где он непременно подвергается уничтожению. Однако в нескольких сказочных текстах, сохраняющих архаичные черты образа, рассматриваемый персонаж выступает в положительной роли (сюжет 552А). Что касается прибалтийско-финского фольклора, то в двух карельских вариантах (АКНЦ 95, 322; 95, 348) мужьями трех сестер оказываются соответственно 3-, 6- и 9-головые черти, которые являются помощниками героя. Эти персонажи, по всей видимости, появились под влиянием христианства.

Зооантропоморфные похитители встречаются и в прибалтийско-финских сказочных текстах. Так, в одном варианте из сборника Э. Салмелайнена похищение героини совершает горный тролль – старик, «у которого на голове торчит большой рог, а во лбу – один-единственный глаз» (Салмелайнен, с. 117–128). Тролли¹⁰ в германо-скандинавской мифологии – это великаны, обитающие внутри гор. Они уродливы, обладают огромной силой, но глупы, занимаются тем, что похищают девушек, младенцев и скот. По поводу внешности троллей даются следующие сведения: у них рыжие волосы, ходят они в темных штанах и красных шапках. В этом описании отражается, вероятно, то, что в позднейшей традиции тролли ассоциировались с различными демоническими существами, в том числе с гномами. И в указанной сказке тролль является зооантропоморфным существом, сочетающим в себе черты человека и животного.

Итак, зооморфные персонажи-похитители женщин более широко распространены в русских волшебных сказках, в прибалтийско-финской сказочной традиции они представлены меньшим разнообразием. Наиболее часто в сопоставленных вариантах в качестве зооморфного похитителя выступает медведь. Этот персонаж разработан в сказках более подробно. Что касается остальных персонажей, то они в процессе длительного бытования фольклорных традиций подвергаются различным трансформациям.

В заключение необходимо сказать, что данная работа посвящена постановке проблемы. В будущем привлечение новых материалов позволит провести более глубокое и детальное исследование, а также конкретизировать и обобщить выводы.

¹ Конкка У. С. В мире сказки // Сказки Эро Салмелайнена. М., 1991. С. 10.

² Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка. Л., 1979.

³ Карельские народные сказки. Петрозаводск, 1947 (далее – Пажлаков); Карельские народные сказки. Петрозаводск, 1959 (далее – Конкка); Саамские сказки. Мурманск, 1980 (далее – Саамы); Сказки Эро Салмелайнена. М., 1991 (далее – Салмелайнен).

⁴ Карельские народные сказки. М.; Л., 1963 (далее – КНС I); Карельские народные сказки (Южная Карелия). Л., 1967 (далее – КНС II).

⁵ Чудесные сказки. 1938–1939. АКНЦ. Ф. 1. Оп. 39. Ед. хр. 65 (далее – Богданов); Ингерманландский фольклор (прозаические жанры). 1975; АКНЦ, Ф. 1. Оп. 50. Ед. хр. 914 (далее – ИФ).

⁶ Так, кол. 95 представляет собой переводы 132, 133, 136 коллекций карельского фольклора, а кол. 115 содержит 54 сказки, записанные в 1935–1936 гг. на русском языке от вепса Ф. С. Смирнова, 40 из этих текстов вошли в сборник «Вепские сказки», который был подготовлен Г. Власевым и опубликован в 1941 г. в Петрозаводске, однако по непонятной причине в библиотеках нашего города он не обнаружен.

⁷ Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса. М., 1987.

⁸ Устное сообщение И. Ю. Винокуровой.

⁹ Разумова И. А. Стилистическая обрядность русской волшебной сказки. Петрозаводск, 1991. С. 63.

¹⁰ См. об этом: М. Ю. Тролли // Мифы народов мира. М., 1994. Т. 2. С. 528; Энциклопедия сверхъестественных существ. М., 1997. С. 427.

© Ю. И. Дюжеев
Петрозаводск

На грани литературы и фольклора (о прозе В. И. Пулькина)

Основным содержанием «Кижских рассказов» (М., 1973) и других книг В. И. Пулькина (Вепские напевы, 1973; Происхождение красоты, 1979; Перун-трава, 1985; Это наша с тобою земля, 1987; Медный вершник, 1988; Чаша мастера, 1990; Царские персты, 2002) были предания, записанные им совместно с фольклористкой Н. Криничной в экспедициях 1969–1985 гг., а также материалы иных собирателей. Н. Криничная (впоследствии доктор филологических наук) стала не только супругой В. Пулькина и матерью его сыновей, но и фольклорным «опекуном» писателя и во многом определила многолетнюю увлеченность прозаика русской народной исторической прозой. В своих трудах Н. Криничная выявила генезис и структуру преданий, их историко-этнографические истоки и эволюцию в зависимости от социально-экономических и исторических условий. Естественно, что в союзе с таким выдающимся знатоком народного творчества В. Пулькиным (р. 1941) смело дополнял подлинными фольклорными текстами деталями и эпизодами, взятыми из других преданий и народных рассказов на ту же тему, и в своем «литературном пересказе»¹ фольклорных текстов высвечивал наиболее колоритные в художественном отношении особенности севернорусской речи, воспроизводил живые разговорные интонации собеседников, встреченных в Вытегре и Заонежье, на берегах Онеги-реки и Белоозера.

Избранная В. Пулькиным форма литературного сказа получила распространение в России в связи с переходом фольклористики в 1930–50-е гг. к «фронтальному» изучению всех форм народного творчества в условиях, когда стало очевидным, что поэтическое творчество народа все более тяготеет к литературным нормам. Вокруг вопроса о взаимоотношении литературы и фольклора возникла оживленная дискуссия, в ходе которой Л. Емельяновым было высказано суждение, что литература, аккумулируя, организуя в самой себе художественные силы нации и в этом смысле обращаясь к фольклору как к одному из возможных источников, заимствуя из фольклора те или иные изобразительные средства, «не только тут же переводила их в план индивидуального художественного творчества, но и создавала этим самым более или менее стойкую собственно литературную традицию. А это значит, что необходимость непосредственного обращения к фольклору для последующих литературных поколений в значительной мере ослаблялась, становилась менее настоятельной, поскольку эти поколения могли относиться к изобразительным средствам, выработанным когда-то литературой в творческом взаимодействии с фольклором, как и к традиции собственно литературной». Такой собственно литературный опыт в русской прозе Европейского Севера XX в. уже сложился на основе творчества Б. Шергина и С. Писахова, так что обращение В. Пулькина к фольклору было результатом отмеченной Л. Емельяновым «внутрилитературной преемственности», примером существования «внутрилитературных путей передачи уже ассимилированного фольклорного художественного опыта»².

В «Кижских рассказах» есть место и особенностям севернорусского крестьянского быта, и примечательным судьбам людей, и обыденной простоте деревенских событий. Все это объединено в своеобразную хронику народной жизни и дает повод к серьезным размышлениям о природе таких морально-этических понятий, как совесть, гражданский и патриотический долг.

Творчество В. Пулькина развивалось в пограничной области между литературой и фольклором, и в этом заключалась особая сложность писательской работы в те годы. Литературовед А. Чудаков под сказом понимал особый тип повествования, ориентированный на живую разговорную речь с широким использованием просторечия и диалектизмов. Классиками в этом жанре называл Н. Гоголя, В. Даля, Н. Лескова, а из советских авторов – М. Зощенко и В. Белова с его «Вологодскими бухтинами». Фольклорист К. Чистов термином «сказ» обозначал жанры устной прозы, повествующие о современности или недавнем прошлом.

При этом он различал сказы, ведущиеся от лица участника описываемого события (мемуарный сказ), и сказы, отделившиеся от участника-повествователя, которые с течением времени могут превращаться в легенду, предание, былин³.

В. Пулькин не мог не испытать огромное воздействие сложившейся в XIX в. в русской литературе (в том числе в «Народных рассказах» Л. Толстого) традиции изложения от первого лица, когда вышедший из национальной, народной среды герой получал возможность наиболее полного самовыражения, а роль автора ограничивалась краткими авторскими комментариями, а также предисловием или послесловием.

К такой форме литературного сказа относятся произведения В. Пулькина, написанные от имени вполне определенного рассказчика: «Кузьмичевы рассказы», «Добрая поветерь», «Белая дверь», «Жизнь пилотава Василия Поспелова», где автор прямо указывает: «Несколько вечеров слушал я и записал так, как запомнил, повесть жизни старого рабочего»⁴.

Что же касается выполненных В. Пулькиным литературных пересказов произведений исторического и легендарного характера, то здесь он в большей степени использует традиционные образно-стилевые свойства фольклора. Например, «Сказ об Иване, русского жителя человеке, и Кижской земле» по своему родовому признаку приближается к фольклорному сказанию – понятию, в которое В. Аникин включал повествовательные произведения исторического и легендарного характера, сочетающие ретроспективность изложения с поэтической трансформацией прошлого⁵. «Сказанием» назвал В. Пулькин включенное в книгу «Вепские напевы» «Слово о Барде и Айре».

И совсем нельзя отнести ни к сказу, ни к сказанию такие произведения В. Пулькина, как «Повесть о малой родине», «Граненая игла» и очерки «Время платить долги», представляющие публицистические размышления «о времени и о себе».

В своих книгах В. Пулькин предстает один в трех лицах: он и мастер литературного сказа; и талантливый знаток реконструкции фольклорных преданий и легенд; а также остросовременный очеркист, чье сыновнее чувство ответственности перед «малой родиной» побуждает обращаться к читателю с размышлениями о главном: о счастье жить, беречь Родину, крепить ее трудом и любовью).

«Кижские рассказы» вышли в те годы, когда антизападные настроения в силу «холодной войны» стали явлением обычным в российском обществе. Традиционный спор между западниками и славянофилами вновь, как и до революции, стал одним из движущих моментов русского самосознания. Западному эгоизму противопоставлялась братская лю-

бовь и солидарность православного мироустройства Древней Руси. И если говорить о позиции В. Пулькина в этом споре, то такие посвященные далекому прошлому России циклы литературных сказов, как «Досюльщина старобытная», «Тястенники», «Святая Салма», «Колодец с Егорием», «Древодельцы», «При нас было», «Иван Лобанов», по духу своему близки идеологии евразийства, идеалом которой была однородность древнерусского общества, равно как и идеи возрождения национального величия Святой Руси.

Н. Криничная в сборнике «Северные предания» предложила ввести в научный оборот циклы: о заселении и освоении края; об аборигенах определенной местности; о «панах»; о великанах-богатырях, силачах; о раскольниках; об исторических лицах, в том числе о Петре Первом. И если присмотреться к композиции «Кижских рассказов», то систематизация материала произведена В. Пулькиным по предложенной Н. Криничной системе, которая помогает отразить различные аспекты дореволюционной истории России.

По примеру таких русских мастеров, как Н. Лесков, П. Бажов, Б. Шергин, в прозе которых присутствовал интерес к самобытности «малых» народов, В. Пулькин доброжелательно писал сказы и очерки о вепсах, карелах, манси – соседях русских по Северу.

Другой стороной его многообразной деятельности был большой цикл путевых очерков, отразивших впечатления странствий по Европейскому Северу и публиковавшихся в журналах «Вокруг света», «Нева», «Север», «Карелия», «Слово». Эти материалы были одушевлены давним восхищением автора жизнью и творчеством М. Пришвина.

К концу 1980-х гг. В. Пулькин в глазах читающей публики оставался в первую очередь продолжателем традиций русского северного сказа, путешественником и собирателем легенд⁶. Он продолжал работу над циклами сказов по мотивам русского, карельского, вепсского фольклора, но принятая к публикации в Москве рукопись прозы была возвращена автору в связи с финансовым крахом издательства. Если в 1970–80-е гг. вышло восемь книг В. Пулькина, то в 1990-е гг. – одна: «Чаша мастера. Сказы о древодельцах» (Петрозаводск, 1990), куда в основном вошли ранее опубликованные тексты. В условиях рыночной экономики оказались востребованы лишь сказы об основателе Петрозаводска Петре Первом (Царские персты, 2002).

Для В. Пулькина наступило время непростых мировоззренческих размышлений. Он находит опору в нетленной силе живого и цельного христианского мироощущения и по примеру Б. Шергина видит

бессмертие России в движении общества по пути восстановления христианской нравственности, семьи, культуры – всего того, что создало и возвеличило Россию. По просьбе церкви В. Пулькин пишет и публикует в журнале «Север» (1993, № 10) под общим заголовком «Северная Фиваида» сказания о святом чудотворце Александре Свирском и его учениках. В живописном мире «Северной Фиваиды» (под таким именем в церковной литературе утвердилось название обширного края Северной России) царили добро, правда, справедливость, жил Дух Святой, а чудотворцы соловецкие, олонецкие и ладожские молили Бога о благе России. Под пером писателя древнерусский агиограф обрел современное звучание и стал частью духовной жизни современников.

Позднее посвященный «школе» святого Александра Свирского цикл новелл был продолжен за счет произведений, написанных по мотивам житий и народных легенд о святых олонецкого и соловецкого изводов. Эти два десятка новелл печатались в журналах «Нева», «Карелия», «Народное творчество», «Свет».

В авторских комментариях к книге «Царские персты» В. Пулькин с восхищением говорит о красоте северных преданий и вместе с тем с глубокой горечью отмечает, что «извечные говоры Русского Севера, сохранившие краски древней молвы, смолкают. Крестьянский русский язык погибает, как еще совсем недавно погибли традиции древних вышивок, ткачества»⁷.

Оглядываясь на пережитое, В. Пулькин называет себя «реставратором памяти», который доносит до современников заповедную красоту рожденных в северных деревеньках преданий, делает все возможное, чтобы не истаяли традиции дедов и прадедов. Писателю посчастливилось по крупицам собирать народные памяти в те считанные годы, когда они еще были живы в крестьянской среде, поучаствовать в процессе восстановления связи времен, сохранения традиций прошлого во имя настоящего. По убеждению В. Пулькина, «поколения родных людей навечно сплочены прежде всего общей памятью, ответственностью перед ней... Нет ничего прочнее памяти. ... Память народов – величественная ноосфера, питающая художественное сознание»⁸.

Для В. Пулькина традиция – это воспроизведение старого в новых условиях, в новой ситуации. Для него важен аристотелевский принцип непрерывности, когда давняя традиция претерпевает те или иные трансформации, однако не прерывается и доживает до наших дней. Даже революция не означает для В. Пулькина обрыва традиций, поскольку тра-

диционная земледельческая практика продолжает бытовать на Русском Севере и в условиях всевозможных трансформаций и радикальных переворотов в политике и культуре. Поэтому в своем творчестве он не может и не хочет расставаться с национальной культурной традицией, вопреки расхожему мнению о ее исчерпанности в конце XX в. Не скрывая, даже открыто демонстрируя свою приверженность взгляду на фольклор как на такой же источник знания народной жизни, как история, этнография и литература, В. Пулькин, благодаря развитой эстетической памяти в своих литературных сказах вслед за С. Писаховым, Б. Шергиным, П. Бажовым сумел раскрыть первозданную красоту фольклорных образов и заставил поверить, что приверженность принципам русской национальной культуры составляет неотъемлемую, необходимую черту процессов, происходящих в обществе. И это обстоятельство объясняет значение составляющих «поэтическую этнографию Севера»⁹ лучших произведений В. Пулькина, которые отвечают современной жажде традиционного знания.

¹ Криничная Н., Пулькин В. Медный вершник: Сказы о Петре Первом. Петрозаводск, 1988. С. 7.

² Емельянов Л. И. Методологические вопросы фольклористики. Л., 1978. С. 184–185.

³ Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 382.

⁴ Пулькин В. Это наша с тобою земля: Повесть, очерк, сказы. Петрозаводск, 1987. С. 122.

⁵ Литературный энциклопедический словарь. С. 383.

⁶ Неёлов Е. М. Сказка, фантастика, современность. Петрозаводск, 1987. С. 13–20.

⁷ Пулькин В. Царские персты: Сказы о Петре Великом. Петрозаводск, 2002. С. 51.

⁸ Там же. С. 166.

⁹ Михайлов А. И. Поэтическая этнография Севера // Север. 1987. № 2. С. 113–117.

© *Е. И. Маркова*
Петрозаводск

Проблемы идентификации писателей Карелии в постсоветский период

Несмотря на несинхронность развития литературы Карелии на русском, финском, новописьменных – карельском и вепском – языках, писатели в поисках своей идентичности возвращаются «к началу своему» – осмыслению своей родовой (семейной и национальной) принадлежности в изменившемся мире.

Известно, что русский писатель отождествлял себя с образами пророка, трибуна, судии и правдоискателя. Однако превращение России в постсоветскую эпоху из великой державы в третьеразрядную страну отразилось на мироощущении литераторов. Изменилось само положение писа-

теля в обществе. Вследствие переориентировки читателей (под влиянием СМИ) на произведения массовой культуры, в лучшем случае – на сочинения прозападных литераторов, творения писателей, работающих в русле национальной традиции, оказались невостребованными. Русский автор терял связь с читательской аудиторией еще и потому, что журнал «Север» из-за финансовых затруднений выходил с полугодовым опозданием, тираж его сокращался. Все эти обстоятельства не могли не сказаться на идентификации русского писателя, его творческой репутации и судьбе. Поэтому в новом самоопределении творца, точно сформулированном Александром Васильевым (1953 г. р.): «Я подкидыш, изгой и бастард, вечный житель убогих окраин...»¹, – дважды подчеркивается его выпадение из великого прежде рода: «подкидыш», «бастард».

Эта позиция близка Анатолию Суржко (1942–2000). Герой его повести «Последняя игра» (1995) – прозаик. Он оставил в конце 1980-х гг. работу в газете, чтобы завершить начатую книгу, но грянули реформы, лишившие его сбережений. Однако больше, чем отсутствие средств, героя поразила реакция окружающих, откровенно радующихся тому, что положение писателей ухудшилось. Мало того, герой ощущает равнодушие своей семьи к его делу.

Забвение как возможный финал судьбы видится в двойниках героя: в образе его друга Павла и декабриста Б., о котором прозаик пишет книгу. В отличие от героя эти литераторы не женаты, бездетны, не имеют ни одного опубликованного произведения. Все их упования – на потомков. Казалось, Б. в конце жизни обрел преданных друзей. Однако его почитательница, не желая расставаться с рукописями кумира, завещала положить их в свой гроб, что и было исполнено наследниками, продемонстрировавшими тем самым полное равнодушие к литературному наследию своего соотечественника.

Если эта женщина поступила так, любя Б., то Ульяна, сестра Павла, считая его виновником своей неудавшейся судьбы, отомстила ему, использовав его рукописи как растопку для печи.

Герой чувствует себя чужим и в городе своего детства, и в родительском доме. Его душевные терзания усугубляет полученное наследство, которое может стоить ему жизни. Родной дядя, олицетворявший для героя в детстве мужчину-победителя (фронтовик, футболист, гитарист и игрок!), проиграл большую сумму денег в карты, однако решил не отдавать квартиру за долги, за что и был убит кредиторами. Расправа грозит и его наследнику.

Повесть завершается ощущением безысходности. Над героем нависает неразрешимый вопрос: как быть в ситуации, когда «...и сохранить

квартиру невозможно – не просить же телохранителей, а друзья-сверстники не помогут, немногих я накопил и сохранил, и те далеко, раскиданы по свету. И отдавать нельзя, потому что тогда становится бессмысленной дынина смерти и мне самому ненужной моя жизнь...»²

Герой не чувствует в себе сил для борьбы, но и не ищет защиты в лице государства и семьи. Выходит – нужно принять смерть и утвердиться тем самым как глава рода? Выходит, если не обретешь свой подлинный семейный статус, то не обретешь и свое место в литературе?

Неразрешимый вопрос поставил перед читателями А. Суржко, уйдя из жизни в рабочем кабинете редакции журнала «Север»...

Но в русской литературе Карелии намечается некий сдвиг. В отличие от героя А. Суржко герой последнего сборника стихов Владимира Судакова (1952 г. р.) «Твердь» (2003) в мятущемся мире обрел прежде всего родную почву, семью, она у него в центре России, в центре Космоса – «Здесь Отечество мне, и сестринство, и давнее братство, потому что на камне любви мой полночный костер» («Я вернулся»).

Логично, что свое место в родовой цепочке пытаются определить писатели – карелы и вепсы. В отличие от русских собратьев, они получили хорошую финансовую и моральную поддержку, ибо дерзнули творить на языках, проходящих начальную стадию становления как литературных. Их произведения издаются, ранее никому не известных писателей приглашают на престижные российские и западные форумы, у них берут многочисленные интервью, что не могло не отразиться на их идентификации. Некоторые считают себя живыми классиками.

Но это не лишает их понимания драматизма и даже трагизма судьбы собственного народа и своей, ибо карельские и вепские деревни пустуют, что влечет за собой угасание языка и культуры. Поэтому писатель-финно-угр – прежде всего собиратель. Собиратель своего языка, культуры да и самого народа. Собиратель и просветитель, поведавший миру о своем народе и обозначивший место этого народа в мире.

К числу собирателей и просветителей относится и Мийкул Пахомов (1968 г. р.) – первый и единственный поэт, пишущий на людиковском диалекте карельского языка. Лингвист по образованию, он изучает диалект как исследователь, является составителем букваря людиковского языка. Его поэма носит характерное название – «Земля людиков», его лирика («Tuonuz ikkunus», 1993) пронизана мотивами «неразрывной связи с родной землей, народом, традиционными ценностями»³, попытками ответить на вопрос: кто я?

Кто я? Что я? Вопрошаю,
Где живу? Хочу постигнуть.
И ответ, как из колодца,

из веков ко мне летит:
Ты лишь Космоса пылинка,
только малая частица,
лишь крупинка на планете,
что свершает жизни круг.
Ты дитя суровой Похьи,
рода древнего потомок,
из Курви Ййву Павши,
Обрахамы Феди внук.

(«Кто я?», перевод О. Мишина)

Отмечу, что в его лирике значимыми являются родовые характеристики: «сын», «внук». В поэзии М. Пахомова, казалось, поиски творческой идентичности замыкаются на родовом самоопределении. Но название его перевода на людиковский язык христианских легенд и молитв – «D'umalan Poig» («Сын Божий», 1999) – заставляет задуматься: не Иисус Христос (как чаще называет Спасителя молодежь), а Сын Божий». Не является ли книга переводов подступом к сакрализации образа поэта в творчестве М. Пахомова?

Намек на сакрализацию образа своего «я» содержится и в книге Николая Абрамова, названной им «Koumekümme koume» («Тридцать три»). Появление сакрального числа на обложке поэтического сборника он объяснил простым совпадением: в год (1994) издания книги ему исполнилось 33 года.

Но то, что он явился своему народу как первый поэт, пишущий на вепском языке, в возрасте Сына Божия, символично. И сам поэт, буквально, осознает знаковый характер своей миссии, ибо силы малого народа ослабли, так как «жизнь человеческая утратила Божественный смысл»⁴:

Слепой человек не знает, куда идти,
И на вершину горы каждому не взобраться,
Придет время – весенние реки обмелеют,
А многих журавлей убьет злой охотник,
Слепой – напьется вина и умрет в снегу.
И на вершине горы будет стоять деревянный крест».

(«Мои дни», перевод Н. Зайцевой)

Но по силам ли поэту такая ноша? Ведь прежде всего он – потомок крестьянина-вепса («Крестьянский сын»). Типологически поиски идентичности совпадают у Н. Абрамова с поиском своего «я» в лирике С. Есенина. Будучи в числе первых, кто сумел осмыслить мир деревни изнутри, великий поэт понимал, что пришел в эпоху кончины крестьянского рода, и потому его миссия предтечи чревата гибелью: первый станет последним («Я последний поэт деревни»). Это противоборство «первого–последнего» осязательно в творчестве Н. Абрамова. Не случайно его герой, подобно герою С. Есенина

(«Мир таинственный, мир мой древний»), хочет уйти из мира людей в мир зверей, слиться с образом волка – своего предка-тотема («По волчьему следу»).

В отличие от собратьев по перу, мечтающих припасть к порогу родного дома, финну-ингерманландцу Армасу Хийри (1935 г. р.) некуда вернуться. Его сородичи и он сам были интернированы во время Второй мировой войны, их родина Ингерманландия исчезла с карты России. В эпоху перестройки этот больной вопрос подняли писатели-ингерманландцы, превратившись на миг из литераторов-этнографов в правдоискателей. Но, видимо, роль оказалась не по плечу: они уехали на «историческую родину» в Финляндию, надеясь там продолжить творческие поиски, но, за редким исключением, они там не состоялись как писатели.

Для тех, кто, подобно А. Хийри, остался в Карелии, встал вопрос о поисках своей новой идентичности. Поэт вначале писал стихи на русском языке и под русским именем Олега Мишина стал известен. Но в отличие от поэтов русских по национальности он не создал в своей лирике образ дома. Если последний и появляется, то не как место обитания, а как временное пристанище героя-путешественника, спешащего пережить, запечатлеть в стихах драгоценные мгновения жизни⁵. Бездомность героя объясняется (хотя об этом в тексте прямо не говорится) его судьбой ингерманландца, у которого отняли родину.

В 2000 г. поэт впервые посвящает образу дома поэму «Karjalainen talo» («Карельский дом»). Он описывает родовой дом жены-карелки, поэтому текст насыщен карельскими фольклорными мотивами, финский («мужской») язык переплетается с карельским («женским»), и даже содержание произведения является своеобразным зеркалом повести «Настя», написанной его женой Ольгой Мишиной на ливвиновском диалекте карельского языка.

Дом для героя – живое существо со своим характером, со своей очень непростой историей⁶. Хотя герой держится несколько отстраненно и лик его не отражен в старинном зеркале наряду с родственниками жены, он готов стать жильцом этого дома, разделить его судьбу. В этой поэме намечается переход от образа героя – вечного путника к образу супруга. Новая ролевая установка является родовой, семейной, лишенной романтического пафоса. Но в ее бытовой приземленности осознаются мужские обязательства героя по отношению к своей семье и стране. Следует также подчеркнуть, что образ супруга предполагает постоянную ориентацию в тексте (или в подтексте) на другой полюс – образ супруги, предполагает постоянный диалог.

В заключение хочется напомнить, что, по убеждению известного мыслителя Г. П. Федорова, характерной особенностью России является определенная дисгармония «отцовского» и «материнского» сознания⁷. Ученый доказывает отсутствие отца на фольклорно-мифологическом материале. И с ним, безусловно, можно спорить⁸.

Но то, что в литературе Нового времени высший статус писателя далеко не всегда проецируется на его семейный статус, безусловно. В этом смысле русская и, шире, российская литература была безотцовской (квазиотцовской, если видеть в функции отца, например, Сталина), поэтому семейно-родовая идентичность современных писателей Карелии является положительным фактом, работающим на идею создания образа страны-семьи⁹.

¹ Васильев А. Не моление. Плач о себе // Волны трав. Петрозаводск, 1998. С. 96.

² Суржко А. Последняя игра. Петрозаводск, 2000. С. 82.

³ Гендер в творчестве современных писателей коренных народов Европейского Севера России / Сост. Е. И. Маркова. Петрозаводск, 2005. С. 97.

⁴ Спиридонова И. А. Вепская литература, проблемы становления // История литературы Карелии. Т. 3. Петрозаводск, 2000. С. 415.

⁵ Маркова Е. И. Олег Мишин (Армас Хийри) // История литературы Карелии. Т. 3. С. 327.

⁶ Гендер в творчестве современных писателей... С. 95–96.

⁷ Fedorov G. P. The Russian Religion Mind. Vol. 2. The Middle ages, the Thirteenth to the Fifteenth centuries. Cambridge, 1966. P. 19. Цит. по: Рябов О. В. Русская философия женственности (XI–XX). Иваново, 1999. С. 32.

⁸ Гендер в творчестве современных писателей... С. 54–55.

⁹ Рамки данной статьи не позволяют остановиться на поисках идентичности у писателей-женщин. См.: Гендер в творчестве современных писателей... С. 7–11, 82–87, 165–166.

© Е. Г. Сойни
Петрозаводск

Образ Финляндии и проблема самоидентификации в поэзии Вадима Гарднера

Финская природа стала фактом русской поэзии начала XX в. Обращение к финскому пейзажу, а через него к образам финской мифологии означало для русских поэтов проникновение в глубину древней праславянской памяти. История трактовалась через пейзаж, объяснялась через географические и пространственные образы. Поэты придавали образу Финляндии «особенное значение». В сознании О. Мандельштама, К. Фофанова, Е. Гуро Финляндия порой ассоциируется с родиной, а финская природа называется родной. Финляндия осталась для литераторов России во многом сказкой, страной вдохно-

вения, «приютом поэтических скитаний». Лирические герои русской поэзии искренне растеряны перед природой Финляндии, убеждены, что код сказочной северной земли разгадать невозможно: «Я не знаю, как долго, не знаю, кому я молился...» (О. Мандельштам), «И я мечусь, душой изнемогая...» (К. Фофанов), «Лес – ли – озеро – ли?» (Е. Гуро), «Я ничего не понимаю, горы...» (Н. Гумилев), «Иль тайна тайн во мне опять» (А. Ахматова).

Для русских поэтов, живших в Финляндии после 1917 г. постоянно, она, напротив, была не сказкой, а реальностью, порой страшной. Русские поэты, для кого Финляндия была действительно Родиной, осознавали ее родной, но нелюбимой страной, а себя нелюбимыми детьми, пасынками.

Одним из них был Вадим Данилович Гарднер (1880–1956), уроженец г. Выборга, сын американского инженера Даниэля Томаса Гарднера и писательницы Екатерины Ивановны Дыховой.

Вадим Гарднер жил в имении матери в Метсякюля на Карельском перешейке, откуда был вынужден переехать в Хельсинки из-за начавшейся Советско-Финляндской войны 1939 г.

В. Д. Гарднер был мало известен в литературных кругах России. В Петербурге и Москве вышли его первые поэтические сборники «Стихотворения» (1908) и «От жизни к жизни» (1912), в 1913 г. он вступил в «Цех поэтов», созданный акмеистами. Творчество В. Д. Гарднера было замечено. О нем писали А. Блок, Н. Гумилев, М. Лозинский, С. Городецкий, но достаточно сдержанно. Все-таки он не был своим до конца.

Да, я странен, дик, своенравен, правда;
Не похож на всех. Но беды не вижу
В своеобразьи¹.

(«Сафические строфы»)

Американский гражданин, потомок очень знатной фамилии де Пайва-Перера Гарднер, к которой принадлежали основатель Бразильского университета Даниэль Гарднер де Пайва-Перера и придворный врач бразильского императора, Вадим Гарднер выделялся среди петербуржцев своим южным обликом. Латиноамериканское происхождение сказывалось на его на темпераменте, поэтической страстности и особой любви к России. В 1916 г. он решил поменять американское гражданство на русское, после чего был призван на военную службу и отправлен в Лондон в Комитет по помощи союзникам. Вернулся он оттуда на военном корабле через Мурманск вместе с Н. Гумилевым в 1918 г. и поселился в фамильном имении под Выборгом, которое вскоре оказалось на финской территории.

Третий сборник поэта «Под далекими звездами» был издан уже в Париже в 1929 г. в издательстве «Concorde». В первых двух заметны уроки символистов с их любовью к античности, интересом к мистическому, за-

предельному идеалу. Но передано и многоцветие земного, реального мира, виден подлинный, а не вымышленный свет солнца, чувствуется «кровь красная ликующих южан» (с. 36).

В третьем сборнике «Под далекими звездами» – стихи зрелого поэта о трагедии одиночества, о реалиях XX в., о перипетиях собственной судьбы. Но как бы трагично ни складывалась жизнь поэта, рядом с ним находилась Она – любимая, юная, боготворившая его жена Мария Францевна Гарднер (урожденная Череп-Спиридович).

Верить ты в мое предназначенье
Мир потоком Света озарить.
Только ты достойна в царстве тленья
Чашу ярких чар со мною пить².
(«Знаешь только ты мои мученья...»)

Мария Францевна была уроженкой Карельского перешейка. Польша по отцу, католичка по вероисповеданию, она до конца своих дней сохранила преданную любовь к России, куда ей уже не суждено было вернуться. Поэту было с кем разделить свое одиночество: «И спасала только вера в вечную любовь» (с. 139). «Мусе на вечность» – с такой надписью хранился в архиве Марии Францевны экземпляр книги «Под далекими звездами».

Образ Финляндии – один из центральных в творчестве В. Д. Гарднера. Это многозначный и даже противоречивый образ. Видоизменяясь, он появляется во всех трех сборниках поэта и как самостоятельный, и в соотношении с образом России.

И хотя поэт в первом сборнике постоянно сетует, что он, южанин, живет на севере

... полярной пеленою
Снегов и вечных льдов бесстрастия покрытый (с. 36),

что он «по ярости судьбы – сын студеных стран» (с. 36), северная студеная страна ему мила, и это – его родная страна:

Ты мне мила, суровая природа
Финляндии, страны моей родной –
Сосна, гранит, на море непогода.
(«Финский сонет», с. 25)

Создавая образ природы в «Финском сонете», В. Д. Гарднер подчеркивает ее шум, «ветра дикий вой», «грома треск»: «Люблю твой гул, животный прибор» (с. 25).

В гарднеровском образе финской природы соединены прохлада и кипение, а свою юношескую фантазию он сравнивает с «кипящей

змею» под «венцами льда» (с. 36). В «Лунной газэле» (1914) из сборника «Под далекими звездами» он называет Финляндию «каменной», а свои стихи «не северными»:

В Суоми каменной, рунической
Слагал не северные руны я.

Мне были ближе струны страстные,
Когда на водах блески лунные. (с. 78)

В традиции русской поэзии В. Д. Гарднер восхищается «каменной» Финляндией – финскими скалами. Но для поэта, живущего среди них, скалы – каждый раз разные:

Здесь живем меж камней разноцветных и скал,
то нагих, то во мхи облаченных³.

(«Здесь живем меж камней...»)

По мнению поэта, «сокровенное скал размышленье», «мудрость большой глубины» истолковать невозможно, но в камнях и скалах он видит

Яви прошлого вещицы сны.

<...>

Мир забытых, но чудных сказаний...⁴.

Калевальской метрикой – четырехстопным хореем – написано одно из ранних пейзажных стихотворений Гарднера «Волны мелки, лысы камни...» (из сборника 1908 г.), где есть строки об обнаженности камней: «даже мхом они не крыты», о суровой и безмолвной зелени можжевельника, о рокоте моря, похожем на волю северян:

Тех, чьи мысли так прозрачны,
Чьи воленья так покойны,
Чье здоровье утешает
И бодрит и сладко манит⁵.

А в стихотворении «Начало осени в Финляндии», опубликованном в 1916 г. в «Русской мысли», осенний пейзаж передан через знаки крестьянского труда –

Из риги синий дым; снопы... еще снопы,
Иные сложены, как ружья, в пирамидки,
Иные сгорбились, а по краям тропы,
К воде сбегавшей, звездятся маргаритки⁶.

Живя в Метсякюля, на плодородной земле, поэт становится очевидцем и сенокоса, и сбора урожая, и сева озимых. Создавая осенний пейзаж

Финляндии, он говорит обо всем с естественной, подкупающей интонацией, соединяя земное (крестьянское) с небесным:

В лесах набросаны унылые рассказы;
И вновь засеяны озимые поля,
И падающих звезд уж катятся алмазы.

И как истинный северянин, он жаждет начала весны, новых теплых дней, первых гроз:

Довольно шуб! Довольно снов медвежьих! –
По скатам крыш воркуют про любовь.
Художница, с палитрой красок свежих,
Весна спешит, как трепетная кровь.

(«Весна», с. 41)

Поэту близки образы финской народной поэзии, в его стихах звучит кантеле, а сосны и болота слагают свои «руны»:

Но я ищу другие метры;
Любезны мне лесные ветры,
И руны сосен и болот,
И звуки кантеле старинной,
Густая темень ночи длинной
И звездный хоровод.

(«Из дневника поэта», с. 124)

Пользуясь калевальским стихом, он пишет в 1932 г. руну об Илмаринене, одном из главных героев «Калевалы». В. Гарднер останавливает свой выбор на ковatele Сампо и потому, что с этим героем связан образ огня, света столь любимый поэтом, и потому, что Илмаринен – кузнец, кователь, человек труда:

Там у самой дороги
В старой кузнице краснеет
В очаге огонь ретивый,
И пылает и искрится.
Алым блеском озаренный,
Показался Ильмаринен.

(«Купол церкви православной...», с. 130)

Илмаринен необходим Финляндии, чтобы рассеять «тучи серые <...> над Суоми», разогнать «чернокрылых ворон». «Огонь ретивый» в кузнице Илмаринена перекликается в стихотворении с блеском от купола православной церкви:

Купол церкви православной
Бледным золотом блистает

Над туманным финским лесом.
Тучи серые проходят.
Бродят тучи над Суоми.
Чернокрылые вороны пролетают над полями (с. 130)

«Алый блеск» Илмаринена и блеск «купола православной церкви» в стихотворении соединены, это два источника света, поддерживающие друг друга. А через пять лет в «Сонете (обратном, нестрогом)» 1937 г. только одна звезда будет светить над черным лесом – это звезда православной веры:

Теперь окрест чернеет лес высокий,
Одна звезда венчает мрак глубокий.

Один лишь светоч теплится среди туч,
Как меж могил заброшенных лампада.
Во мгле скорбей, среди утрат – отрада
Вдруг засиявший теплый веры луч⁷.

Но настоящие скорби и утраты ждали В. Д. Гарднера впереди. С началом Советско-Финляндской войны всем жителям Карельского перешейка пришлось срочно покинуть родовые имения и уезжать в разные уголки Финляндии. Многие хотели остаться. В разговоре с автором этих строк Мария Францевна Гарднер рассказывала, что русские жители Карельского перешейка собирались с приходом советских войск остаться жить в своих домах, но уже на территории Советского Союза. Они не были наивными, знали о ГПУ, о ссылках в Сибирь.

Родины предатели пируют
Г.П.У. справляет шабаш свой, –

писал Гарднер еще в 1928 г. («Наводнение 1924 г.», с. 100). Они были готовы ко всему в России, но не к переезду в Хельсинки! Правительства не договорились. Оставаться в своих домах было запрещено⁸.

Мчит нас, мчит автобус. Все родное
Все, что близко нам было, – вдали⁹.
(«Едем мы. Позади нас пожары»)

Поэт познает всю тягость «лямки беженца», предчувствуя, что жизнь в Хельсинки будет «не его жизнью» («Вся эта жизнь не моя», с. 126), что ему будет «трудно жить в этой пропасти мрачной / Меж жестоких и гордых людей» (с. 102). Подлинная жизнь эмигранта начинается у Гарднера именно в 1939 г. после переезда в Хельсинки. Трагизм в гарднеровскую поэзию привнес не столько факт закрытия границы между Россией и Финляндией, сколько потеря родового гнезда на Карельском перешейке.

В 1942 г. поэт создает «Нюландский сонет» (впервые опубликованный лишь в 1987 г. в «Русской мысли» в Париже), где признается, что в душе все оборвалось, что не вызывают больше сочувствия ни «безмолвие камней», ни «закрытые сердца»:

О, Гельсингфорс, излюбленный ветрами,
Ты мало, горделивец, мне знаком.
По стогам я твоим бродил пешком.
Но ты с двумя своими языками
Не близок мне; стеной они меж нами.<...>
С тех пор, как сердце холод злой познало
Враждебного нам племени людей,
Суровое безмолвие камней
Сочувствия в душе не вызывает,
Сердец закрытых символ отвергает. (с. 111)

В поэзии позднего В. Д. Гарднера образ Финляндии – родины, созданный в сборнике 1908 г., превращается в образ Финляндии – чужбины:

Твои неохватные дали,
Россия, закрыты для нас.
Мы маемся тут на чужбине
И катятся следы из глаз.

(«Твои неохватные дали...», с. 143)

Образ Финляндии эволюционирует от образа родной земли к образу чужой «белозвездной вселенной» с «чуждыми душами», а родиной становится уже недосыгаемая Россия:

В груди мы храним твою душу,
Родимая наша страна¹⁰

(«России»).

В «Алкеевых строках» 1943 г. поэт будет уже не Илмаринена, а славянского бога Сварожича молить «рассеять мрак финский», вместо калевальского стиха, используется античная метрика:

Сварожич мощный, щит и оплот славян,
Рассей мрак финский, дай нам тепла опять
Над всей округой властвуй, Светлый,
Славою нас осени победной. (с. 161)

В стихотворении «Здесь и там» В. Д. Гарднер сравнивает зимнюю Россию и Финляндию, казалось бы, один и тот же ландшафт, один и тот же снег, так же дети катаются на лыжах и коньках, играют в снежки,

Но все эти шалости, игры –
Забавы не русских детей.

Не наши здесь деда морозы
Хрустят под ногами ветвей... (с. 93)

В чем разница между финской и русской зимой? Для поэта зима в России «как-то сказочней»:

И сказочней как-то в России
Снегов голубое серебро.
Мечтательней наши подростки,
В них больше огня и души,
Чем здесь в молчаливой Суоми,
В болотной карельской глуши. (с. 94)

Именно в Финляндии во времена «жестокотого тиранства и распятой красоты» (с. 160) возникает подлинная любовь поэта к России, он пишет цикл стихотворений: «Я в Руси», «Святой Руси», «Грядущей Руси». Как Алеша Карамазов у Ф. М. Достоевского, В. Д. Гарднер приемлет в России все:

Все приемлю и нежно люблю –
Вот зачем о Руси я скорблю. (с. 72)

И, очевидно, полемизируя с Владимиром Соловьевым, с его стихотворением «Панмонголизм» о наступающей угрозе с Востока, поэт обращается к России:

И что тебе китайский ураган?..
Се, Иисус над пеной желтой бури!
<...>
И длань Его Россию вознесла.
(«Грядущей Руси», с. 74)

Ну а Финляндия? Она осталась «белозвездной вселенной» с «чуждыми душами». В 1942 г. Гарднер пишет «Октавы», в которых признается:

Мне север люб. Мила его природа,
Но чужды часто души северян. (с. 158)

Несмотря на «чуждость» северян, В. Д. Гарднер любил «воздух севера», «мир таинственных сказаний», «полночную Красоту»:

Мне близок торф морошковых болот
И самый воздух северных широт.
<...>
Сияний северных седых и красных,
И торжество полночной Красоты.
(«Октавы», с. 158)

И если бы не война 1939 г., не потеря дома, не надорванные струны гарднеровской лиры, возможно, образ Финляндии, созданный поэтом,

был бы более светлым, а сам Гарднер остался бы в истории русской поэзии певцом «разноцветного» гранита, сосен и моря – всего того, что он так любил в молодости.

¹ Гарднер В. У Финского залива. Хельсинки, 1990. С. 90 (В дальнейшем при ссылках на это издание в тексте в скобках указываются страницы.)

² Гарднер В. Избранные стихотворения. СПб, 1995. С. 68.

³ Там же. С. 62.

⁴ Там же.

⁵ Там же. С. 12.

⁶ Там же. С. 58.

⁷ Там же. С. 46.

⁸ Запись беседы с М. Ф. Гарднер от 4 июня 1997 г. Хельсинки. Архив автора.

⁹ Гарднер В. Избранные стихотворения. С. 79.

¹⁰ Там же. С. 61.

© Н. В. Чикина
Петрозаводск

Современное состояние литературы на ливвиковском наречии карельского языка

На рубеже XXI в. новый, важный шаг в своем развитии сделала литература на карельском языке, хотя в Республике Карелия процесс создания единого литературного языка до сих пор является замедленным в силу ряда обстоятельств: ограниченной сферы его применения, явлений литературного «многоязычия», «борьбы наречий», когда у карел литература развивается на собственно карельском, ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка. Такого рода образование «языковых пар», а не единого национального языка доктор филологических наук Э. Г. Карху объясняет особенностями процессов этногенеза, в частности, тем, что «карелы, являясь этническим меньшинством, к тому же рассредоточены и не представляют компактной целостности. В таких условиях перспектива формирования единого общенационального языка становится проблематичной»¹.

В докладе заместителя председателя Государственного комитета по национальной политике Республики Карелия Т. С. Клееровой, прозвучавшем на IV республиканском съезде карел 23 июня 2001 г., особое внимание уделялось вопросу о существовании языка в диалектных формах. Она поддержала принятое в конце 1980-х гг. учеными и специалистами Карелии решение не торопить события, а вести работу на 2–3 диалектах, поскольку существование языка в диалектных формах не является признаком его бедности или недоразвитости. Докладчик напомнила, что для развития диалектной

формы до литературного уровня необходимы определенные условия, время и средства, что знание одного из диалектов не затрудняет понимание других диалектов карельского языка, теперь уже имеющих нормы словоупотребления и правописания. Более того, к людям приходит осознание равноправности диалектов, собственной значимости каждого из них; на стыке диалектов ученые могут предпринимать попытки по составлению единых текстов, в первую очередь научных, официальных. «В быту, в художественной литературе каждый из диалектов еще долго будет сохранять присущее ему своеобразие»², – подчеркнула Т. С. Клеерова.

Разница в уровне отдельных младописьменных литератур России (например, карелоязычной и молодых литератур Поволжья – мордовской, чувашской, марийской, удмуртской) очевидна. Однако в каждой из них наблюдаются общие тенденции в развитии художественного мышления: движение от всеобщего увлечения автобиографизмом к более широкому кругу собственно эпических жанров, от исторической тематики – к отображению современности, от категорий историко-описательного характера – к освоению современных изобразительных средств.

Все сказанное относится и к литературе на ливвиковском наречии карельского языка. Как известно, ливвиковское наречие распространено на северо-восток от Ладожского озера почти до 63 градуса северной широты. Это наречие впитало в себя черты собственно карельского наречия и ряд особенностей вепсского языка. Одним из первых, кто активно взялся за развитие литературы на ливвиковском наречии, был поэт В. Е. Брендоев (1931–1990). Его книги «Anusrandaine» («Край мой Олонецкий», 1980), «Niilan huoli» («Горячая забота», 1983), «Kadajikko» («Можжевательник», 1986) и другие были проникнуты чувством патриотизма, заботой о создании национальной среды, искренней любовью к своему языку.

Эстафету из рук безвременно ушедшего из жизни В. Е. Брендоева приняли современные авторы-ливвики (А. Волков, З. Дубинина, О. Мишина, П. Семенов и др.), которые обращаются к читателям, опираясь на свой жизненный опыт. Каждый из них от книги к книге обретал писательский опыт, расширял свои представления о возможностях и перспективах развития литературы на карельском языке.

В феврале 1998 г. при Союзе писателей Карелии было создано литературное объединение «Karjalaine Sana» («Карельское слово»), куда вошли прозаики и поэты, пишущие на карельском языке: Александр Волков, Зинаида Дубинина, Ольга Мишина, Николай Назаров, Иван Савин, Петр Семенов и др. На заседаниях обсуждаются вопросы писательского мастерства, критическому анализу подвергаются рукописи произведений прозы и поэзии.

Развитие литературы на ливвиковском наречии карельского языка началось с переводов Библии. Институт перевода Библии (Финляндия) в 1991 г. на ливвиковском наречии издал «Jiesuksen elaiгу» («Жизнь Иисуса»). Позднее были опубликованы и другие переводы: «Jevangelii Markan mugah» («Евангелие от Марка», 1993), «Jevangelii Matfein mugah» («Евангелие от Матфея», 1997), «Apostoloin гуавот» («Деяния святых Апостолов», 1999), «Jevangelii Lukan mugah» («Евангелие от Луки», 2000), «Uuzi Sana» («Новый Завет») и «Lühüt tieduoandai kniigaine Uvven Sanan lugjiioile» («Приложение к Новому Завету», 2003). В 2002 г. к 775-летию крещения карел, по Лаврентьевской летописи, в Петрозаводске был выпущен «Malittusana» («Молитвослов»). В разные годы переводчиками Библии были Л. Ф. Маркианова, З. Т. Дубинина, В. Д. Рягоев, Т. В. Щербакова.

Началась активная просветительская деятельность (переводы фильма «Иисус», учебники для детей). 8 июня 1990 г. в г. Петрозаводске вышел первый номер газеты «Oma Mua» («Родная земля») на карельском языке. На ее страницах стали печататься материалы на ливвиковском наречии карельского языка.

Писатели-ливвики оттачивали свое перо, переводя русскую классику. В 1998 г. А. Волков публикует книгу «Ven'an runot» («Русские стихи»), в которой представлены его переводы стихов Г. Державина, А. Пушкина, М. Лермонтова на карельский язык. Творческим успехом А. Волкова стала книга переводов «Vellen süväin» («Сердце брата», 2001), куда вошли переведенные на карельский язык произведения 68 авторов. П. Семенов публикует свой перевод рассказов М. Зощенко в книге «Ildaizen vuottajes» («В ожидании ужина», 2001). На страницах газеты «Oma Mua» был опубликован сделанный А. Волковым перевод повести А. С. Пушкина «Метель» и выполненный П. Семеновым перевод «Капитанской дочки». Тем самым художественные сокровища входили в читательский круг карел на родном языке.

Известный исследователь многонациональной литературы России К. Султанов называл просветительство «строительной площадкой» перехода к литературе нового типа, исторически необходимой ступенью эволюции национального художественного сознания – от фольклора к собственно литературным формам³.

На этой ступени литературного развития материалом для вдохновения писателей-ливвиков, как правило, служила сельская среда. Любовь и уважение к деревне как к колыбели национальной самобытности пронизывает их прозу и поэзию. Объектом художественного внимания писателей-ливвиков является жизнь простых людей, история народа.

Первая книга поэта А. Волкова на родном языке так и называлась – «Pieni Dessoilu» («Маленькая Дессойла», 1997) и воспевала «тихую родину» поэта. За ней последовали другие книги. Его лучшие стихи были представлены в сборнике «Järvet Karjalan» («Карелии озера», 2003). В стихах А. Волкова все слышнее становятся мотивы гражданственности, связанные с размышлениями о судьбе карельского народа, о конкретных заботах земляков. Лирика воспоминаний прожившего и много выдавшего человека приходит в тесное соприкосновение с актуальными проблемами жизни. Именно лирико-публицистическая сторона дарования А. Волкова выражается в его стихах с большой силой и целеустремленностью.

Ностальгическая тема, связанная с памятью о деревенском детстве, объединяет прозу и поэзию О. Мишиной. Ее книги «Kuldaine ildu» («Золотой вечер», 1993), «Ratoi» («Колесо», 1996), «Piäsköin korgevus» («Ласточкина высота», 2002), «Marin kukku» («Цветок Марии», 2003) подкупают знанием сельской жизни, обычаев и быта карельского народа. Писательница бережно относится к драгоценным крупинкам народного опыта, переживаниям простого человека.

К истокам и корням народного характера обращается П. Семенов в романе «Puhtasjärven Maša» («Маша из Пухтасъярви», 2004). Рисуя жизнь простой карельской женщины, прозаик насыщает текст деревенской речью, живыми диалогами и репликами.

Красота родного слова доступна только любящему сердцу. Видимо, поэтому так много стихотворений у поэтов-ливвиков посвящено своему родному языку. Это и «Kirjukieli» («Письменный язык») Клавдии Алексеевой, «Livvin kieli» («Язык ливвиков») Прасковьи Федоровой, «Livvin kieli – rahvahan mieli...» («Язык ливвиков – мысль народа...») Ирины Кудельниковой.

В поэзии авторы опираются на фольклор, который им знаком с детства. С лирическим чувством они пишут о красоте карельской земли и ее людей.

Многие книги прозаиков автобиографичны: авторы пишут о событиях недавнего прошлого, свидетелями которых довелось быть им (или их близким).

Среди молодых писателей-ливвиков следует выделить Сантту Карху (псевд.; наст. имя Александр Медведев), а также Наталью Антонову и Лену Корнякову.

Драматургия на ливвиковском наречии представлена пьесой О. Мишиной «Paginat čuassuloin ginnal» («Разговоры при часах»). Она была опубликована в книге «Marin kukku» и посвящена судьбе двух женщин в перестроечное время.

За полтора десятилетия писатели-ливвики добились определенных успехов. В Союз писателей были приняты А. Волков, П. Семенов, О. Мишина, В. Вейкки, З. Дубинина.

Стал традиционным фестиваль карельской поэзии, посвященный памяти В. Брендоева «Täs synnyngrannan minun algu...» («Здесь Родины моей начало...»).

В заключение отметим, что становление литературы на карельском языке предстает как сложный процесс. В отличие от рождения литературы других малочисленных народов России (где отправной точкой послужило создание национальной письменности), в Карелии до сих пор наблюдается существование языка в диалектной форме и дискусируются различные пути решения языкового вопроса. Если в других младописьменных литературных движениях к новому эстетическому качеству шло непрерывно, то в Карелии отмечается полоса разрыва почти в полвека, когда поступательное движение литературы замедлилось. К началу возрождения роли карельского языка в 1990-е гг. уже не осталось в живых писателей, создававших свои произведения в довоенное время на карельском языке. Начинающим поэтам и прозаикам необходимо было накопить опыт, чтобы на новом эстетическом уровне продолжить завоевания предшественников. Тем не менее авторы раздела «Карельский язык» в коллективном труде «Прибалтийско-финские народы России» В. Д. Рягов и Е. И. Клементьев отмечали, что в новой общественно-политической ситуации карельская интеллигенция осознала всю важность сохранения народом родного языка как одного из факторов этнической самоидентификации и сосредоточивает свое внимание на разрешении языковых проблем: воссоздании письменности уже не на кириллической, а на латинской графической основе, обучении детей родному языку, выпуске учебных пособий, издании газет и книг на карельском языке⁴.

Литература на ливвиковском наречии карельского языка продолжает развиваться, демонстрируя стремление национальной интеллигенции не допустить утрату этнокультурного наследия, сохранить важнейшую функцию культуры – поддержание культурно-языкового единства и преемственности поколений.

¹ Карху Э. Г. Малые народы в потоке истории: Исследования и воспоминания. Петрозаводск, 1999. С. 27.

² Клеерова Т. О перспективах карельского языка в Республике Карелия // Карелия. 2001. 28 авг. С. 7.

³ Султанов К. Национальное самосознание и ценностные ориентации литературы. М., 2001. С. 96.

⁴ Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С. 206.

**Преемственная связь романа Х. Тихля «Lehti kääntyy»
(«Страница переворачивается»)
с традициями финского критического реализма**

Из восьми изданных на финском языке книг Хильды Тихля¹ (1870–1944 гг.) шесть были опубликованы в Финляндии в период с 1907 по 1916 г., и две, представляющие собой отдельные части романа «Lehti kääntyy» (1934–1936), – в Советском Союзе в издательстве «Kirja».

Жизнь и творчество Хильды Тихля достаточно широко освещены как в Финляндии (в трудах Р. Палмгрена, Р. Виртаранта)², так и в Карелии, где с 1925 по 1944 г. Х. Тихля жила и творила, когда после участия в финской рабочей революции, ареста и тюрьмы на о. Сандвик, откуда бежала, в течение шести лет жила в Финляндии нелегально, перебравшись через границу в Швецию и затем – в Советский Союз.

Роман «Lehti kääntyy» стал предметом пристального внимания критиков и литературоведов сразу после его публикации³, а позднее был внимательно исследован видным ученым Э. Г. Карху, чьи книги широко известны как в Финляндии, так и в России. В своих трудах Э. Г. Карху подчеркивал, что уже в ранних, написанных в Финляндии работах Х. Тихля «при очень запутанных религиозно-этических исканиях питала стихийное сочувствие к борьбе угнетенных масс и в конечном итоге оказалась вместе с революцией»⁴, что в написанном в Советском Союзе романе «Lehti kääntyy» писательница «со своими новыми героями, русскими крестьянами, как бы заново проходила весь тот путь исканий, которыми шли герои ее более ранних книг»⁵.

В работах Э. Г. Карху намечен перспективный путь изучения преемственной связи финноязычной прозы Карелии 1930-х гг. с традициями финского критического реализма. Но сама по себе эта тема настолько сложна и многообразна, что открывает широкое поле деятельности для новых поколений литературоведов.

После необходимого в таких случаях историко-литературного обзора вернемся к обозначенной в докладе теме и отметим следующее. Действительно, как утверждает Э. Алто, финноязычная литература Карелии в 1930-е гг. «оказалась причастной к созданию массы ложных, трагифарсовых и парадоксальных мифов»⁶. И, тем не менее, даже в этих сложных условиях Х. Тихля и ряд других прибывших из Финляндии в Россию прозаиков оставались верны принципам гума-

низма и критического реализма, как они делали в своих ранних произведениях, опубликованных на родине.

Как известно, Х. Тихля начинала свой творческий путь будучи одним из представителей сложившегося в 1905–1907 гг. в финской литературе особого направления «рабочей литературы», что объяснялось социальным происхождением, симпатиями писательницы к трудящимся массам, жизнь которых была ей хорошо знакома. В то же время уже в молодости, в том числе благодаря религиозному воспитанию, она не была приверженцем превращения литературы в одну из форм политической агитации. Она всегда ощущала ответственность писателя перед историей и в своем романе «Lehti kääntyy» вполне сознательно противостояла социалистическому реализму, призывавшему в 1930-е гг. изображать действительность в идеализированном свете.

Персонажи романа Х. Тихля проходят сложный путь духовного саморазвития. Они не имеют ничего общего с распространенными в советской прозе 1930-х гг. героями-коммунистами, изначально не имевшими недостатков. Такого рода «романтические», устремленные в светлое будущее персонажи и не могли попасть на страницы романа писательницы, верной принципам критического реализма, точно так же, как на определенном этапе развития финского общества романтические ангелы-торпари и их ангелы-дочки не устраивали Ю. Ахо, М. Кант, А. Ярнефельта. Для Х. Тихля невозможно было оставаться романтиком в условиях советской действительности 1920–30-х гг., хотя партийные органы настаивали на воспевании героизма и трудового подвига.

Героев романа «Lehti kääntyy» нельзя разделить на положительных и отрицательных, правых и неправых, они постоянно спорят, высказывают различные точки зрения, в том числе противоположные, пытаются реально понять сложные проблемы действительности, в том числе: куда же придет победившая революция? Каковы ее результаты? Что последует за ней?

Писательница критически исследует суть общественной жизни предреволюционной и советской России, трагическое положение народных масс.

Финский реалист 1880–90-х гг. Ю. Ахо в своем идейно-эстетическом манифесте критического реализма⁷ писал, что в своих произведениях реалисты высказывают нелицеприятную правду о современном им обществе и эта правда обращается в Финляндии против верхних сословий общества – духовенства, чиновничества, богатого купечества. Что касается прибывшей в советскую Россию Х. Тихля, то очень скоро она убедилась в ложности лозунгов о всеобщем равенстве, в приоритете интересов партийной номенклатуры.

Один из героев романа старик Федосей на собрании выступает с резкой критикой применения насильственных методов в деревне: «Если

быть над крестьянином страшным и жестоким начальником, всегда относиться с подозрением к крестьянину, то как же можно ждать, что крестьянин будет честен с вами... Нужно быть человеком, нужно уметь понимать и доверять... Вот и хлеб на полях русских не растет, как начальник прикажет, и стрельбой из винтовок тут не поможешь... Вам, молодые люди, надо с крестьянином поскромнее обходиться, поменьше важничать да умничать. В избу к крестьянину входите как нормальные люди, соблюдайте крестьянские обычаи»⁸.

Если многие советские прозаики 1920–30-х гг. считали крестьянство исконно враждебным всему новому, то в романе Х. Тихля крестьяне изображены живыми людьми, которые думают, спорят, ищут истину.

Критический реализм характеризует человека универсально как конкретную исторически сложившуюся индивидуальность. Герои Х. Тихля изображаются не только в возвышенные минуты своей жизни, но и в трагических ситуациях. Ее персонажи – существа социальные, сформировавшиеся под воздействием определенных социально-исторических причин. Они не только характеризуются в сфере морального сознания, но и показаны в каждодневной практической деятельности. Роман привлекает пониманием основных тенденций исторического процесса, интересом к повседневному человеческому бытию.

Следуя принципам критического реализма, Х. Тихля правдиво отражает действительность как в положительных, так и в отрицательных проявлениях. Ее интересует только пережитое, познанное посредством опыта. «Идеалы не могут направлять историю, – писал Ю. Ахо, – в каком-то ином смысле, чем это делает история, которая, выявляя законы действительности, именно через них указывает, как нам надлежит действовать»⁹.

Критический реализм есть искусство как критикующее, так и утверждающее. Высокие социальные, гуманистические ценности оно находит в самой действительности, главным образом в демократически, революционно мыслящих кругах общества. Положительные герои в творчестве реалистов – правдоискатели, люди, связанные с национально-освободительным или революционным движением или активно сопротивляющиеся растлевающему влиянию индивидуалистической морали. Ю. Ахо писал о реалистической литературе: «Закончив книгу, читатель чувствует, что он немного поумнел. Он научился тому же, чему его мог научить опыт. Он имел возможность всмотреться в изнанку условий, увидел, что же там скрывается, и сделать свои выводы. Именно таким образом реалистическая литература стремится воздействовать своими картинами на читателя».

Роман Х. Тихля правдиво рисует Россию в тот судьбоносный момент, когда страница ее истории переворачивается. Читатель видит край листа, кото-

рый отделяет прошлое от будущего. Изображение острого края страницы истории, переломного момента в жизни государства со всеми его конфликтами и проблемами и есть один из важных моментов критического реализма.

¹ Leeni: Kertomus. Helsinki: Yrjö Weilin, 1907; Metsäkylyiltä: Kertomuksia. Porvoo: WSOY, 1909; Kuopus ja muita kertomuksia / Kirj. Riika Alho. Hämeenlinna: Kansa, 1910; Jumalan lapsia: Kolme kertomusta. Porvoo: WSOY, 1913; Hilma; Elämän satua: Kertoelmia. Porvoo: WSOY, 1913; Ihmisiä: Romaani. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto, 1916; Lehti kääntyy. I osa: Fedosei. Petroskoi, 1934; Lehti kääntyy. II osa: Tuholaisia. Petroskoi, 1936.

² Palmgren R. Joukkosydän: Vanhan työväenliikkeemme kaunokirjallisuus. Osa I. Porvoo; Helsinki, 1966; Virtaranta P. Kulttuurikuvia Karjalasta. Jyväskylä: Weilin+Groos, 1990.

³ Aalto V. Hilda Tihlä on esiintynyt: [Lehti kääntyy kirjan arv.] // Rintama. 1935; Ruhanen U. Kirjailija H. Tihlä // Punainen Karjala. 1937.

⁴ Карху Э. Г. История литературы Финляндии. XX век. Л., 1990. С. 181.

⁵ Очерк истории советской литературы Карелии. Петрозаводск, 1969. С. 129.

⁶ Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии. СПб, 1997 (История литературы Карелии. Т. 2). С. 79.

⁷ Карху Э. Г. История литературы Финляндии. XIX век. Л., 1979. С. 387.

⁸ Lehti kääntyy. II osa: Tuholaisia. Petroskoi, 1936. S. 137 (перевод П. Р. Койвисто).

⁹ Карху Э. Г. История литературы Финляндии. XIX век. С. 390.

© С. М. Лойтер
Петрозаводск

Особенности поэтики сказок Василия Фирсова

В современной литературе Карелии выделяются два писателя, специфическая сторона творчества которых определяется отражением народного опыта, воплощенного в фольклоре. Именно такому опыту, говоря словами А. Т. Твардовского, эти писатели «находят в своем творчестве свой ряд»¹, апеллируя к народно-поэтическому источнику, подчиняя его своей авторской воле. Речь идет о Викторе Пулькине и Василии Фирсове.

Если творчество В. Пулькина – фольклориста-собираателя, известного писателя, автора ряда книг сказов, основанных на «досюльщине стародавней» (первая появилась в 1973 г.), – не раз оказывалось в центре внимания критиков и литературоведов², то В. Фирсов долго оставался вне поля зрения. Он пришел в литературу в 1992 г. (тогда вышли в свет две книги сказок – «Чужой домово́й», «Сказки деда Северьяна»), позже появились публикации в журнале «Север» и республиканской прессе, затем сборники «Слово за щекой» (Вытегра, 1998) и «Озорные сказки» (Петрозаводск, 2003). Тем не менее до недавнего времени лишь несколько газетных откликов (даже не рецензий) и сказанное в обзоре литературы 1990-х гг., принадлежащем Ю. И. Дюжеву³, было единственным свидетельством признания писателя. Первая статья

«Сказки Василия Фирсова», написанная автором этих строк и студенткой Карельского педагогического университета Т. В. Рединой, была опубликована в журнале «Карелия» на финском языке⁴. В 2003 г. я была приглашена в Поморский университет на международную конференцию «Наследие Бориса Шергина в изменяющейся России», где был представлен доклад «Размышления о писателе-сказочнике Василии Фирсове». Теперь он опубликован в сборнике «Наследие Бориса Шергина»⁵. В развитие и продолжение этого доклада остановлюсь на некоторых особенностях поэтики писателя-сказочника В. Фирсова.

Как всякий писатель, создающий литературную сказку (эта традиция идет от В. А. Жуковского и А. С. Пушкина к литературным сказкам наших дней, к сказке Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца»), В. Фирсов следует главному, релевантному признаку сказки как жанра – сознательности вымысла, который В. Я. Пропп определил как «нарочитая поэтическая фикция»⁶. Однако это следование в сказках В. Фирсова приобретает самобытный и неповторимый характер. И об этом, используя термин П. Г. Богатырева, «сигнализирует» и фольклорный материал, который лежит в основе сказок, и способы его художественного преобразования.

Из русских писателей-сказочников В. Фирсову ближе всего Б. Шергин и С. Писахов. Быть может, это объясняется тем, что все они принадлежат Русскому Северу, возвращены и вскормлены одинаковыми климатическими и бытовыми условиями. Вместе с тем у них было разное фольклоропорождающее окружение: Б. Шергина и С. Писахова вскормила поэтически одаренная поморская среда, всячески «поощрявшая артистическое исполнение и безудержную импровизацию», В. Фирсова – в детстве и юности изустное слово вологодской деревни, где он позже записывал поговорки, присловья, народную речь, а затем сознательное погружение в стихию севернорусского фольклора.

Рассмотрение 159 сказок В. Фирсова и сопоставление их с главным инструментарием в изучении восточнославянской сказки – Сравнительным указателем сюжетов (СУС) позволяет сделать вывод о том, что их основным источником являются новеллистическая (бытовая) и «животная» сказки (история русской литературной сказки убеждает в преобладающем обращении их авторов к сюжетам и мотивам волшебной сказки).

Семь из восьми сказок о животных В. Фирсова имеют непосредственный фольклорно-сказочный источник, и вместе с тем каждая из них представляет собой оригинальную, индивидуально-профессиональную версию традиционного сюжета или мотива со своей аргументацией и смыслом. В «животных» сказках В. Фирсова в каждом отдельном случае свой, придуманный или пересозданный сюжет, свои, переосмысленные или обновленные персонажи и образы, своя художественная задача и своя философия. В сказке «Как дружили лиса да заяц», восходящей к широко распространенному типу – «Заяц и лисица»

(СУС 36), известный мотив – хождение в гости – трансформировался в совершенно новый, оригинальный сюжет, в котором традиционно трусливому и слабому зайцу отводится непривычная для него роль: он совершает поступки, несвойственные своему фольклорному прототипу. Заяц не только хлебосолен и щедр, но и полон достоинства и действенной справедливости. В сказке «Перышко» (отдельные ее мотивы перекликаются с сюжетом «Заяц-хвастун» – СУС 70) опять же зайцу, но еще и волку, и медведю, хваставшимся, но не сумевшим закинуть перышко на дерево, противопоставит маленький смешливый мышонок. Давая возможность самому маленькому ощутить свое превосходство, В. Фирсов становится на точку зрения ребенка, выражает самое непосредственное и простодушное сознание, утверждающее полноценность детства и силу маленького существа. Тем самым происходит обновление и обогащение народной традиции, наполнение ее новыми, волнующими современного писателя идеями и образами. Многомерен нравственный, даже социальный смысл, мудрость сказки «Шел однажды ежик», не имеющей аналога в сюжетном указателе. Простодушная и незатейливая сказка как будто предупреждает: тщетно надеяться на избирательность зла, оно не щадит никого, а добро не должно, не имеет права быть беспомощным.

Во многочисленных бытовых сказках своей частотностью выделяются тематические группы о ленивых и нерадивых людях, о неверных женах, о солдате, о вечных глупцах. Отдельный цикл про Степанушку-простачка заставляет вспомнить то Иванушку-дурачка из народных сказок, то неистребимых пошехонцев, то Шиша из поморских «скоморошьих старин»⁷ и «Поморских сказок» Б. Шергина. Вместе с тем Степанушка не адекватен ни одному из этих типов.

Изобретательна, неистошима выдумка В. Фирсова, когда он изображает лень. Она и качество, характеризующее того или иного сказочного персонажа, и антропоморфный, персонифицированный (персонифицированы в его сказках *глупость, совесть, смерть, нужда, стыд, грех, правда*) образ, который ведет себя совершенно самостоятельно. Десять Андронов из одноименной сказки символизируют доведенные до абсурда, гипертрофированные лень и безалаберность, актуализирующие многие явления нынешней жизни и утверждающие реальность фантастического. А очеловеченные и превращенные благодаря субстантивации служебных частей речи Авоська, Небоська и Как-нибудь в сказке-притче «Три товарища» выражают авторскую точку зрения на достаточно распространенный способ вечного и современного, в том числе жизненного поведения и жизнеустройства.

Одна из особенностей художественного мира в сказках В. Фирсова – интерес к созданию нарочито нелепой, небывалой, перевернутой или вывернутой наизнанку действительности. Такой «смеховой мир» (М. М. Бахтин) предстает

прежде всего в сказках о пошехонцах, в которых доведенная до абсурда, алогизма глупость преподает уроки мудрости («Про Киндасово», «Говорящий блин», «Как зипун на шубе женился», «Как старик кукиши продавал», «Кому шуба, кому рукава», «Как Андрон холод выносил»). Их оксюморонный юмор усиливается рифмованным, так называемым раешным, или говорным, стихом. В. Фирсов широко использует говорный, раешный, юмористический по своей природе стих («Сидор-добродел», «Нашел мужик пятак», «Небылица про небылицу», «Летела сорока»).

По словам Д. С. Лихачева, «рифма – один из способов балагурства. Рифма провоцирует сопоставление разных слов, „оглупляет“ и „обнажает“ слово. Рифма создает комический эффект»⁸. «Сказки деда Северьяна» предваряет написанный раешным стихом автоэпиграф, в котором манифестируется маска рассказчика деда Северьяна (антропоним подчеркивает связь с севером), жизнелюба, весельчака и балагура. Это сознательная реминисценция из ярмарочного райка, который в народном театре представляет репертуар балаганных дедов и карусельных зазывал⁹:

Я – дед Северьян,
Я не тих и не буян,
Я не трезв да и не пьян,
Не Федот и не Лукьян.
Не старик я – старичок:
Бороды один клочок.
На печи и на стогу,
За столом и на лугу,
На зеленом берегу
Сказки сказывать могу...

Превосходно владея этой формой народной речи, В. Фирсов обогащает ее, обновляя рифменный и лексический ряд. И это касается как названия сказки («Раскидай хлевец, наруби дровец», «Дядя Филат подарил десять утят»), так и ее сюжета. Сочетание того и другого содержит сказка «И понял Митроха, что – хорошо, а что – плохо», использующая прием обращений-отсылок народной кумулятивной сказки «Смерть петушка» (СУС АТ 2021 А; 241 1; 2032), ее ритмико-стилистический ход и логику. Безалаберный и ленивый Митроха, живущий по принципу «авось», оставшись зимой без дров, идет за помощью к соседу Ивану, который согласен их дать, если сосед Степан даст возок сенца; сосед Степан согласен дать возок сенца, если кум Наум даст мешок муки; кум Наум просит взамен шубу и отправляет к свату Ипату и т. д. Игровая в своей основе кумулятивная форма дала жизнь сказке-притче с очень определенной нравственной мыслью: «Думал Митроха, думал, да и думать перестал,

топор из-под лавки достал, лошадь запряг, в лес ударился. Весь день топором махал, хорошо отогрелся, дров привез – до весны хватит. Натопил Митроха избу, мороз выжил, иней по углам свел, на печи лежит, добрых людей благодарит: спасибо Петьке с коромыслом, свату Ипату да куму Науму, да Степану с Иваном – научили жить, за дровами в лес ходить, по соседям не искать, может сказку снова начать да еще рассказать...»

Тенденция к рифмованной скоморошьей речи соединяется в сказках В. Фирсова с использованием разнообразия пословично-поговорочных форм. Принцип, когда «сказка цитирует пословицу», известен народной традиции. Так, пословичные формы встречаются в сказках «Иван Королевич», «Старичок Осип и три попа», «Купечь Скоробогатой» из сборника Б. М. и Ю. М. Соколовых «Сказки и песни Белозерского края»¹⁰. «Речь идет о классе пословиц (в свое время он очень интересовал Г. Л. Пермякова), которые мотивированы сказками»¹¹. В. Фирсов этот прием фольклорной цитации использует наоборот: его сказки мотивированы пословицами, которые оказываются сюжетобразующим фактором. «На сюжеты наталкивает чтение русских пословиц. Я их читаю, возвращаясь не раз, выписываю», – признавался он в одном из интервью. Фантазия сказочника позволяет ему превратить лаконично выраженную пословичную мудрость в целое повествование с действиями, персонажами и всей сказочной атрибутикой. Так, присловье «Не будь приметливый, будь приветливый» материализовалось в сказку «Приметливый да приветливый», пословица «Не кнутом лошадь погоняй, а мешком» – дала жизнь сказке «Мужик Федул», пословица «Не дал Бог ума – может, даст тебе сума» – сказке «Горбатая бабка», пословица «Дурака валяю, ума добавляю» – сказке «Как мужики дурака валяли», пословица «И рад бы дать, да надо сено метать» – сказке «Как Федот стал не тот», пословица «В городе не пашут, а калачи едят» – сказке «Как Филофей избу продавал» и др.

Сказки Фирсова вобрали в себя не только русскую народно-сказочную традицию и не только поэтику сказки. Они являются результатом пересоздания, трансформации традиций и поэтики анекдота, «малых» фольклорных жанров (пословичных форм, загадки), частушки, народных мифологических рассказов. Но особенно сильно в них следование народной «смеховой культуре» в виде площадно-ярмарочного, скоморошьего искусства и травести народного театра. Такое невозможно ни в одной из жанровых разновидностей («животной», волшебной, бытовой) народной сказки, которая обладает своей «морфологией», своей устойчивой поэтикой и живет в строгом соответствии со своей «сказочной обрядностью». Сплавить воедино, синтезировать разные фольклорные (и литературные)

традиции, подчинив их авторской воле, авторскому замыслу и авторской фантазии может писательская сказка, дающая новую жизнь одному из самых древних жанров народного слова.

Сказки В. Фирсова свидетельствуют о том, что в литературу пришел самобытный писатель, писатель ярко выраженной индивидуальности. Они доказывают действенность и благотворность севернорусской традиции, они убеждают, насколько сильны ее импульсы, какие разные и совершенно непохожие в сфере индивидуального творчества явления она рождает.

¹ Твардовский А. Т. О литературе. М., 1973. С. 260.

² См.: Рогощенков И. К. В. И. Пулькин // История литературы Карелии. Петрозаводск, 2000. Т. 3. С. 245–255.

³ Дюжев Ю. И. Русская литература Карелии 1990-х годов // История литературы Карелии. Петрозаводск, 2000. Т. 3. С. 315.

⁴ Loïter S., Redina T. Vasili Firsovin sadut // Carelia. 2004. № 1. S. 105–109.

⁵ Лойтер С. М. Размышления о писателе-сказочнике Василии Фирсове // Наследие Бориса Шергина. Архангельск, 2004. С. 70–80.

⁶ Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 40.

⁷ Григорьев А. Д. Архангельские былины и исторические песни. М., 1904. Т. 1. С. XIX.

⁸ Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976. С. 27.

⁹ См.: Фольклорный театр. М., 1988. С. 379–430.

¹⁰ См.: Сказки Белозерского края / Зап. Б. М., Ю. М. Соколовы. Архангельск, 1981. № 40, 43, 47.

¹¹ Левинтон Г. «Интертекст» в фольклоре // Voces Amicorum Guilhelmo voigt Sexagenario. Budapest, 2000. P. 28.

ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ДЕРЕВЯННОМ ЗОДЧЕСТВЕ РУССКОГО СЕВЕРА

© В. П. Орфинский
Петрозаводск

К вопросу о сохранении и возрождении национальных культур (опыт междисциплинарных исследований)

Почти десять лет назад ученые, изучающие язык и культуру народов Карелии, объединились для совместных исследований. Это начинание вылилось в комплексные экспедиции, проводимые ежегодно с 1996 г., а результатом стали полидисциплинарные монографии, сложившиеся в своеобразную, узнаваемую серию. Она включает книги, посвященные с. Суйсарь, деревням Юккогуба и Панозеро¹, завершается подготовка к изданию монографии о Сязозерье².

Авторы, пользуясь преимуществами сотрудничества с коллегами-гуманитариями, в рамках своих разделов решали, в первую очередь, свои специальные задачи. Но была и общая проблема, которая не могла не тревожить каждого – это проблема ассимиляции карел. Лейтмотивом монографий стал поиск исторических прецедентов устойчивости и «обратимости» карельской культуры – чтобы ответить на актуальный вопрос, возможно ли в настоящее время предотвратить ее угасание?

Показательны в этом отношении метаморфозы в прошлом людиковского, а ныне обрусевшего с. Суйсарь.

На первый взгляд, мало что напоминает о карельском прошлом села, но при внимательном рассмотрении оказывается, что в планировочной организации входящих в его состав деревень в XX в. происходят любопытные преобразования, характерные для многих поселений карел. Судя по следам и остаткам старых построек, в прибрежной части суйсарской дер. Северной ранее существовала рядовая планировка с ориентацией домов на воду. В первой половине XX в. вновь строящиеся дома в береговом порядке обращались не на воду, как их предшественники, а на юго-

восток. Более того, возникшая по соседству в 1920-е гг. рядовая дер. Кулля, не учитывая близость водоема, полностью повторила планировочные принципы Северной. Вывод очевиден: в XX в. в Суйсари водоем потерял свою приоритетность в организации поселения. В то же время возрос приоритет южной ориентации. Налицо «архаизация» архитектурной формы: проявление в ней отголосков древней традиции поклонения южному солнцу³. «Архаизация» в данном случае – спутник «вторичной этнизации», порожденной реакцией самосохранения традиционной народной культуры на угрозу ее унификации⁴.

Культура Суйсари сопротивлялась наступающей с востока ассимиляции и пассивно: путем консервации форм, связанных с относительно устойчивыми хозяйственно-бытовыми процессами. Пример тому – состав подстилки для скота, используемый в хлевах и вместе с навозом вывозимый на поля в качестве удобрения. У обрусевших карел Прионежья так же, как и в глубине карельского этнического ареала, такие подстилки включали преимущественно хвою и мох с добавлением соломы и осоки, в русском Заонежье – солому, а хвою, мох и осоку – только в качестве добавок. Традиционные карельские предпочтения неукоснительно соблюдались суйсарянами, несмотря на то что качество получаемого удобрения находилось в обратной зависимости от количества хвои.

Пассивному сопротивлению способствовала и характерная для карел в целом заторможенность эволюции зодчества. Не случайно в Суйсари до последнего времени относительно хорошо сохранялся архитектурный декор, а в нем – «карельские» версии форм, возникшие в результате творческой переработки заимствованных русских деталей.

Сходные результаты получены на лингвистическом материале: при полной утрате людиковского диалекта карельского языка в Суйсари, лексика суйсарян конца XX в. также включала слова, отражающие давние контакты русского и прибалтийско-финского населения. Но в целом их современный говор отнесен Л. П. Михайловой к олонечкой группе говоров севернорусского наречия. По мнению исследователя, в начале XX в. в Суйсари произошла форсированная языковая ассимиляция.

Вопрос о соотношении языка и культуры не нов. Не повторяя ни известных аргументов в пользу культуuroобразующей роли языка, ни наиболее распространенных контраргументов – напоминаний о культурной самобытности народов, не имеющих собственного языка, ограничимся рассмотрением вопроса: правомерно ли отождествлять билингвизм (применительно к фольклорным жанрам – «бифольклоризм») с форсированной ассимиляцией этнических сообществ?

В монографии о Панозере описывается феномен бифольклоризма, который долгое время рассматривался финляндскими исследователями русской поэзии как досадное проявление ассимиляции карельской культуры в русской. По словам Санкт-Петербургской фольклористки Т. Г. Ивановой, бифольклоризм является переходной формой, используемой только для кратковременного отстаивания национального самосознания, и не мог существовать долго⁵. Однако означает ли бифольклоризм необратимую стадию в этнокультурной эволюции?

Факты, приведенные У. С. Конкка в монографии о Юккогубе, свидетельствуют, что «русизмы» в карельской причетной традиции появились еще в далекой древности и правомерно атрибутировать такие проявления бифольклоризма как устойчивые этнические символы. Их можно назвать бинарными этническими символами, так как они играли двойственную роль: с одной стороны, служили проводниками надвигающейся ассимиляции, с другой – «противоядием» от нее, способствующим этническому самовыражению. Так, заимствования русских слов помогали плакальщикам строить аллитерации – основу стихосложения плачей и в целом калевальского стиха, что способствовало наиболее полному проявлению собственной поэтической традиции.

Показательно, что бинарные символы зафиксированы также в разных сферах творчества панозерцев, в том числе в народном зодчестве – русско-карельские по своему характеру дома-комплексы, надстроенные над карельскими часовнями колокольни с высоким «русским» столпом и пологим покрытием в виде «карельского» колпака, печи с русским по происхождению «козоно» и пережитком открытого очага – камельком, заимствованным у саамов.

Равноправный этнокультурный диалог обогащал художественное творчество взаимодействующих народов. Похоже, что это универсальная закономерность развития любой фольклорной культуры. Дополнительное подтверждение тому – давнее исследование А. С. Степановой, посвященное ритуальной причете, связанной с «невестинной баней». Оказалось, что степень сохранности карельской причетной традиции находилась в прямой зависимости от интенсивности русских влияний, а образная выразительность одного из самых самобытных жанров устной лирической поэзии карел проявилась наиболее ярко в Южной Карелии, где двуязычие среди мужской части населения давно стало культурной нормой⁶. По этому поводу можно сказать, перефразировав А. И. Куприна, русские влияния для народного творчества карел то же, что ветер для огня: тлеющее этническое самосознание он тушит, а костер творческого самовыражения раздувает еще сильнее.

Принято считать, что к началу XX в. народная культура постепенно утрачивала свою самобытность. Пример Суйсари как будто подтверждает это. Но даже здесь в разных сферах культуры семантически значимые формы людиковского происхождения некоторое время продолжали оставаться смысловыми акцентами культурной среды. Правда, в Суйсари это происходило лишь по инерции.

Иное дело Сегозерье – большая округа Юоккогубы, которое в начале прошлого века готово было идти по пути обострения этнического своеобразия. Подтверждение тому – тенденция к этнизации часовен; «диалог» разных направлений в кистевой росписи; иконы-примитивы и «народное православие», в котором переплелись поминально-погребальная обрядность и древние культы с христианскими представлениями; творчество сказочника, исполнителя русских былин и их переводчика на карельский язык Т. Е. Туруева и знаменитый Сегозерский хор, созданный уроженцем Смоленской области Георгием Савицким и карелками из Падан Агафьей Лебедевой, Феклой Исаковой и Марией Громовой.

В этой связи интересен проанализированный финским этносоциологом К. Хейккинен опыт Финляндии, куда после «Зимней войны» 1939–1940 гг. переселилась значительная часть приладожских карел. Потомки мигрантов, родившиеся на чужбине уже после войны, выросли в условиях почти полной ассимиляции. Но в последней четверти XX в. благодаря обострению этнического самосознания многие из них, ориентируясь на сохранившиеся отголоски реальных этнических традиций и традиции литературные, стали рассматривать карельскую культуру на уровне обобщений, необходимых для формирования этнических символов. В результате возник парадокс: рост этнического самосознания на фоне угасания фактической этнической культуры⁷.

Возможно, нечто подобное на рубеже XIX–XX в. спонтанно наметилось в Сегозерье, где этническая активность населения была продиктована внутрикультурными побуждениями, в противоположность Финляндии, где в 1970-х гг. попытки реанимировать этнические традиции карел связаны с внешними импульсами – воздействием школы, краеведческой литературы и главным образом финской православной церкви.

А есть ли надежда изменить современную этническую ситуацию на исследованных нами территориях?

Информацией к размышлению по этому поводу могут послужить наблюдения, сделанные в 2001 г. в Северной Германии руководителем Первой российско-немецкой этнографической экспедиции А. С. Мыльниковым. Не опровергая аксиому о том, что жизнь любого этнического сообщества не бесконечна и помимо этногенеза включает обратный ему процесс распада, ученый утверждал, что распад, или, по введенному им термину, «этническая делабор-

ция», является, по существу, переходом в инобытие – сопровождается сменой на коллективном уровне этнической ориентации сообщества и обеспечивает культурную преемственность – перенесение в настоящее и будущее ключевых элементов наследия, которые входя в структуру современной народной культуры, способны придавать ей локальное своеобразие⁸.

Многообразие возможных сценариев этнического или постэтнического возрождения исторических территорий еще не является гарантией такого возрождения. Для успешной реализации того или другого сценария необходимо создать адекватный ему механизм, учитывающий экономический потенциал, историко-культурные и природные ресурсы возрождаемой территории.

В Карелии пока известна только одна попытка такого возрождения, осуществляемая в исторической дер. Панозеро благодаря совместным усилиям финляндского фонда «Юминкеко» и фонда им. Архиппы Перттунена из Костомукши. Попытка эта, описанная в последней из упомянутых монографий, актуальна и перспективна, поскольку, учитывая рекомендации ЮНЕСКО по сохранению Всемирного культурного и природного наследия, ориентируется на механизмы цивилизованного рынка и привлечение помощи международного сообщества. Опыт возрождения Панозера можно рассматривать как прецедент для других исторических поселений Русского Севера. Однако панозерский пример в силу его уникальности не может служить универсальным рецептом. Это лишь напоминание о необходимости искать нетривиальные способы практического осуществления теоретически бесспорных идей.

Историко-культурные ресурсы Панозера во многом уникальны, что и нашло отражение в книге об этой знаменитой северо-карельской деревне. В свою очередь книга вызвала новую волну интереса к наследию Панозера и активизацию деятельности по его сохранению. Надеемся, что готовящаяся к изданию монография о Сямозерье сможет сыграть такую же роль.

Сямозерье – территория, досконально изученная в археологическом отношении, ни разу не подвергалась комплексному историко-культурному описанию. Потому в глазах широкой общественности и специалистов по народной культуре она остается «terra incognita». А между тем исследования авторов монографии показали, что на этой ливвиковской территории сохранились уникальные следы собственно-карельской культуры, восходящие к древней Кореле.

По наблюдениям И. Б. Семаковой, только в Шотозерско-Сямозерском межозерье и к северо-западу от него в бассейне р. Шуя в XIX–XX вв. были зафиксированы большие диатонические кантеле, по ряду основополагающих характеристик аналогичные инструментам из Северного Приладожья.

Более того, как показала О. А. Набокова, в Сямозерье пропорциональный строй прялок больше соответствует североприладожским образцам, нежели прялкам, зафиксированным в пределах собственно-карельских этнических ареалов.

По данным И. Е. Гришиной, Сямозерье представляет собой средоточие домов особой планировки – разношироких домов-дворов с усложненной встройками коммуникационной зоной между жилой и хозяйственной частями. Ареал подобных домов в масштабах Карелии имеет меридиональную направленность и совпадает с территорией расселения собственно карел от Северного Приладожья до Беломорской Карелии. Однако и немногие сохранившиеся образцы, и опубликованные данные позволяют наметить этот ареал лишь пунктиром. И только в Сямозерье такие дома отмечены в большом количестве и более молоды, что говорит и о длительности и устойчивости традиции их возведения, и о значении Сямозерья как хранителя собственно-карельских традиций домостроения до первой трети XX в. включительно.

Наибольший интерес в силу неожиданности своих результатов представляет детальное исследование лодок-сямозерок, проведенное специалистами по традиционным деревянным судам Ю. М. Наумовым и А. П. Скворцовым. Они показали, что традиционные лодки Сямозерья отличаются от эталонных для Карелии «кижанок» в первую очередь устройством матицы – кияля: в «кижанках» киль выполнен в виде горизонтальной тесины прямоугольного сечения, в «сямозерках» – вытесан из массивной плахи и имеет Т-образное сечение, аналогичное киллю поморских карбасов.

Если «кижанки», судя по бытовавшим в прошлом на внутренних водоемах Заонежья легко переволакиваемым посуху долбленкам-«ушкаюм» (или «ошкучам»), скорее всего, генетически восходят к новгородским ушкаюм, то «сямозерки» – к морским судам, сформировавшимся, по-видимому, в Приладожье в XI в., когда племенное образование корелы вышло на просторы Балтики. В XII–XIII вв. расцвет культуры древних карел сопровождался распространением их влияний в западном направлении, что способствовало сохранению «морского статуса» раннесредневекового балтийского государства. Однако уже с конца XIII в. после включения корелы в состав Новгородской земли и последующей аннексии Швецией приграничных карельских территорий первоначальная направленность карельской экспансии на запад сменилась восточной⁹, что непосредственно отразилось в судостроительстве в виде постепенной атрофии высокого кияля.

Примечательно, что процесс подобной атрофии менее всего затронул лодки Сямозерья, несмотря на то что и Сямозеро, и близлежащие озера по своему характеру не самые «мористые» внутренние водоемы Карелии. При этом лодки прямых наследников древней корелы – северных собст-

венно карел сохранили лишь рудименты морских килей. Похоже, что бытующие до настоящего времени лодки-сямозерки являются единственным живым символом, напоминающим сегодня о золотом веке национальной карельской культуры.

Все отмеченные особенности культуры Сямозерья можно объяснить лишь тем, что именно территория современного расселения северных (сямозерских) ливвиков в XVII в. оказалась в эпицентре «карелизации» вепсского населения Онежско-Ладожского межозерья, а сямозерцы стали играть ведущую роль в этнокультурных процессах на юго-западе Карелии, особенно в период «вторичной этнизации» рубежа XIX–XX вв.

¹ Село Суйсарь: история, быт, культура. Петрозаводск, 1997; Деревня Юккогуба и ее оруга. Петрозаводск, 2001; Панозеро: сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2003.

² История и культура Сямозерья / Отв. ред. Орфинский В. П. (в печати).

³ Гришина И. Е. Планировочные приоритеты в развитии традиционных сельских поселений Карелии // Архитектурное наследство. Вып. 44. М., 2001. С. 60–61.

⁴ Орфинский В. П. Загадки «домиков мертвых» // Памятники культуры и мировоззрение. Петрозаводск, 1985. С. 129–143.

⁵ Иванова Т. Г. Заонежская былинная традиция и проблема географического распространения былин // Междунар. науч. конф. по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского Севера «Рябининские чтения – 95»: Сб. докладов. Петрозаводск, 1997. С. 88–90.

⁶ Степанова А. С. Карельские свадебные причитания и ритуальная свадебная баня // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1988. С. 106–129.

⁷ Heikkinen K. Karjalaisuus ja etninen itsetajunta. Salmin siirtokarjalaisia koskeva tutkimus. Joensuu yliopistonhum. Julk. № 9. Joensuu, 1988. S. 360–364.

⁸ Мыльников А. С. Об этнической делалорабии и постэтничности: в связи с некоторыми итогами полевых наблюдений в Северной Германии // Музей. Традиции. Этничность. XX–XXI вв.: Материалы междунар. науч. конф., посвященной 100-летию Рос. этнографического музея. СПб; Кишинев, 2002. С. 175–178.

⁹ Сакса А. И. История населения Приладожской Карелии и области Саво с древнейших времен и до XIV в. // Очерки исторической географии: Северо-Запад России: Славяне и финны. СПб, 2001. С. 267–270.

© А. Б. Бодэ
Москва

Древний Новгород и Москва.

О возможности взаимодействия традиций в деревянном зодчестве

Вопрос о возможности выявления в деревянном зодчестве Севера древних традиций, связанных с основными направлениями освоения и заселения региона, долгое время оставался вне сферы внимания исследователей. Ареальные исследования освоения Севера и распространения русской культуры проводились в рамках различных научных дисциплин. Во

взаимосвязи с переселенческими потоками из Новгорода рассматривалось, главным образом, распространение произведений эпической поэзии¹. В деревянном культовом зодчестве Севера отдельные тенденции, связанные с восточными и западными влияниями, описаны В. П. Орфинским на примере построек Обонежья².

По аналогии с каменной архитектурой в деревянном зодчестве Новгородской земли можно предполагать существование собственных традиций, отличных от тех, что бытовали в среднерусских землях. Выявлению древних новгородских традиций в деревянном зодчестве северо-западных областей посвящена отдельная работа автора, носящая характер постановки проблемы. Как отголоски традиций Новгородской земли было рассмотрено распространение каскадных и восьмискатных покрытий деревянных церквей и часовен³. В качестве основного метода принято картографическое ареалирование исследуемых признаков и сопоставление полученных ареалов с территорией бывших новгородских владений.

Устройство каскадных покрытий встречается на основных или подчиненных объемах ряда клетских церквей, например, Георгиевской 1493 г. в с. Юковичи, Рождества Богородицы 1599 г. в дер. Лиственка, Никольской 1613 (1705?) г. в с. Ковда. Подобным образом покрыты алтарные прирубы шатровых храмов в с. Самино 1692 г., в с. Пидьма 1696 г., а также основные срубы часовен в деревнях Леликозеро второй половины XVII в., Загубье 1717 г., Селецкое 1753 г. и др.

Восьмискатные покрытия встречаются на церквях с основным объемом в виде четверика, таких, как Флора и Лавра 1613 г. в с. Мегрега, Троицкой 1694 г. в с. Помялово, Никольской 1708 г. в с. Уйма. Ярусные, состоящие из четвериков церкви представлены единственным сохранившимся памятником – церковью Иоанна Предтечи 1694 г. в с. Ширково. Несколько аналогичных построек известно по старинным изображениям⁴.

Расположение построек с каскадными кровлями практически полностью укладывается в границы Новгородской земли. Большинство известных деревянных церквей с восьмискатным покрытием объемов было построено также в границах бывших новгородских владений, несколько – за их пределами. Объекты в основном сосредоточены на территориях, непосредственно окружающих Новгород или связанных с ним удобными путями. Заметное скопление объектов наблюдается на северо-востоке от Новгорода – в Обонежье.

За первым водоразделом по пути от Новгорода рассматриваемые архитектурные приемы встречаются очень редко. В Поонежье их не зафиксировано вообще. В Беломорье и Северодвинском поречье – это отдельные объекты, расположенные на значительном удалении друг от друга.

Применение каскадных покрытий на различных постройках или их частях можно связывать с удаленностью от Новгорода. Объекты, сгруппированные вокруг центра, – преимущественно церкви, где подобным образом покрыты основные срубы. В Прионежье каскадные покрытия встречаются только на алтарных прирубах шатровых храмов и на часовнях. Трехступенчатые каскадные кровли, в отличие от двухступенчатых, представлены постройками, также расположенными сравнительно недалеко от Новгорода.

Исчезновение предполагаемых древних новгородских традиций в целом наблюдается в конце XVII – начале XVIII в., хотя на различных территориях этот процесс протекал по-разному. Строительство часовен с каскадными покрытиями дольше всего, вплоть до середины XVIII в., продолжалось в Заонежье. Сложившаяся в Прионежье полиэтническая среда, очевидно, способствовала не только консервации древних традиций, но и их творческой переработке⁵.

В совокупности выводы по географии распространения, характеру устойчивости и времени исчезновения рассматриваемых традиций позволяют предполагать, что строительство деревянных церквей с восьмискатными и каскадными покрытиями восходит к периоду самостоятельности Новгорода. Однако выявление древних новгородских традиций более результативным представляется в сопоставлении с московскими влияниями.

На территории Русского Севера выделяются две зоны, связанные с основными переселенческими потоками⁶. В Онежско-Двинском ареале поток колонизации из среднерусских земель перекрыл более ранний новгородский. Особое положение занимает Поонежье, которое находится в части Севера, где московское влияние было наиболее сильным, и вместе с тем оно является «порубежным» по отношению к Обонежью – территории, тесно связанной с Новгородом и долго сохранявшей древние новгородские традиции.

Наиболее ранние выявленные характерные особенности деревянного зодчества Поонежья выражаются в покрытиях соподчиненных объемов крещатых храмов системой поставленных одна на другую бочек и в устройстве декоративных кокошников на основных срубах шатровых церквей⁷. Примером тому изображения церквей Ошевенского монастыря⁸, церкви Никольская 1618 г. в с. Пурнема, Вознесенская 1654 г. в с. Пияла, Иоанна Златоуста 1665 г. в с. Саунино и др.

Особенности поонежских деревянных церквей сопоставимы с приемами каменного зодчества. На монументальных шатровых храмах XVI – первой половины XVII в. ряды и ярусы кокошников образовывали систему перехода от крещатого или квадратного в плане основания к верхнему

восьмерику. Кроме того, кокошники обычно фиксировали любой переход от одной формы к другой – от восьмерика к шатру, от шатра к барабану.

После объединения русских земель под властью Москвы древние новгородские торговые пути теряют былое значение и наиболее важными становятся радиальные по отношению к Москве направления. Одной из таких дорог стала Онега, представлявшая собой кратчайший путь в западную (внутреннюю) часть Белого моря.

В XVI в. Беломорье активно вовлекается в жизнь государства. Об этом говорят и масштабы соляной торговли, обеспечившей быстрое развитие поонежских городов и сел, и бурный расцвет Соловецкого монастыря, который входит в число крупнейших в России. Все это способствовало укреплению экономических и культурных связей Поонежья с центральными районами страны. Думается, что Онега в это время была, если не самой значительной торговой дорогой Севера, то уж никак не менее оживленной, чем Двина.

Положение изменилось с открытием северного морского пути в Европу, когда иностранная торговля была сосредоточена в Архангельске. Со смещением наибольшей торговой активности в восточную часть Белого моря Онега приобрела местное значение, играя связующую роль между западной частью моря и Белозерскими и Вологодскими землями. К тому же с XVII в. солеварение на беломорском побережье пошло на спад и в центральные районы России поступала более дешевая уральская соль. Торговый путь, проходивший по Онеге, становился все менее оживленным.

Все это позволяет предполагать, что в Поонежье в XVI в. (кроме последних десятилетий) складывались наиболее благоприятные по сравнению с другими северными землями условия для распространения архитектурных традиций Московской Руси, что подтверждается распространением на Севере каменного культового строительства.

Поонежье тесно соприкасалось с Белоозером, где каменное строительство началось значительно раньше, чем в других, прилегающих к Северу районах. Архитектура древнейших белозерских построек ориентировалась на московские образцы. Собор Рождества Христова в Каргополе 1558–1566 гг. относится к распространенному типу, строившемуся по подобию Успенского собора Московского Кремля. Черты складывающейся общерусской архитектуры отчетливо выражены в постройках Соловецкого монастыря второй половины XVI в. Для сравнения – по северодвинскому направлению к XVI в. относится только одна каменная постройка в Сольвычегодске.

Отсутствие или ограниченное распространение покрытий системой бочек и кокошников в других севернорусских землях может быть объяснено предположением о символическом значении поонежских церквей.

Храмы, архитектура которых отчетливо выражает ориентацию на средне-русские образцы, могли служить утверждению господства Москвы на Севере. Надо сказать, что среди каменных культовых построек XVI в. архитектурно-художественный образ монументального шатрового храма наиболее соответствует символу централизованной власти.

Крещатые церкви Поонежья и Беломорья образуют слабую, но из-за отсутствия подобных построек на сопредельных территориях, все же достаточно заметную «пунктирную» линию, огибающую Обонежье с северо-восточной стороны. Таким образом, их расположение в общих чертах стыкуется с зоной наибольшей устойчивости древних новгородских традиций. Если в Поонежье объекты четко следуют течению реки, то в Беломорье они более разбросаны.

Можно увидеть соответствие между местоположением беломорских построек и их архитектурными особенностями. Например, с. Шуерецкое расположено в северо-западной части Поморского берега, которая входила в состав Обонежской пятины. Находившаяся здесь крещатая Никольская церковь конца XVI(?) в. не имела покрытия выступающих частей основания системой бочек. Климентовская церковь 1501(?) г. или XVII в. в с. Уна, напротив, расположена на «московской» территории, в стороне от границы с Обонежской пятиной. В ее архитектурном решении и пропорциональном строе идея высотности, торжественности выражена не столь подчеркнуто.

Что касается Успенской церкви 1674 г. в с. Варзуга, расположенной на значительном удалении от Обонежской пятины на Север, то строительство здесь церкви, несущей московские архитектурные традиции, очевидно, имело тот же символический смысл – утверждение власти Москвы, только в иной ситуации. Успенская церковь относится к поздним крещатым постройкам, когда взаимодействия древних новгородских и московских традиций, наверное, уже не могло быть. Идеино-символическое содержание образа церкви в Варзуге, как отмечал А. В. Ополовников, по-видимому, связано с борьбой против приверженцев старой веры⁹.

Возвращаясь к новгородским традициям, следует заострить внимание на распространении восьмискатных кровель на ярусных постройках. На землях, составлявших владения Новгорода, ярусные состоящие из четвериков церкви с восьмискатным покрытием ярусов зафиксированы только на приграничных со средне-русскими княжествами территориях. В этом можно увидеть обострение самоидентифицируемых характеристик по мере приближения к границе ареала.

Отмеченное в деревянном зодчестве взаимодействие древних новгородских и московских традиций имеет сходство с процессами, происходившими на стыках этнических ареалов. Символическое значение, придававшее-

ся архитектурной форме, является закономерным результатом сопоставления «своего» и «чужого» и стремления утвердить собственную значимость. Таким образом, в основе того и другого явления лежит единый механизм взаимодействия двух сторон, выражавшегося в сфере искусства.

Изучение древних новгородских и московских традиций в деревянном зодчестве Севера представляется достаточно перспективным направлением, которое, возможно, позволит сделать более понятным развитие деревянного зодчества на древних этапах и его взаимодействие с каменной архитектурой.

¹ Дмитриева С. И. Географическое распространение русских былин. М., 1975. С. 20–22, 37–41.

² Орфинский В. П. Отголоски храмостроительных традиций Древнего Новгорода на восточной периферии бывшей Новгородской земли (XVI–XIX вв.) // Православие в Карелии: Материалы 2-й научной конф., посвященной 775-летию крещения карелов. Петрозаводск, 2003. С. 17–23.

³ Бодэ А. Б. Древние новгородские традиции в деревянном культовом зодчестве северо-западных областей России XVI–XVIII вв. // Архитектура в истории русской культуры. Вып. 6. «Переломы эпох». М., 2005. С. 69–89.

⁴ Максимов П. Н., Воронин Н. Н. Деревянное зодчество XIII–XVI вв. // История русского искусства. Т. 3. М., 1955. С. 280; Изв. Императорской археологической комиссии. Вып. 57. С. 131.

⁵ Орфинский В. П. Указ. соч. С. 19–21.

⁶ Витов М. В. Этнография русского Севера. М., 1997. С. 12–17.

⁷ Бодэ А. Б. Характерные особенности деревянного культового зодчества Поонежья XVII–XIX вв. Т. 1. М., 2005 (Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры).

⁸ Мильчик М. И. Северный деревянный монастырь на иконах XVII–XIX вв. // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1978. Л., 1979. С. 333–346.

⁹ Ополовников А. В. Успенская церковь в селе Варзуга // Архитектурное наследие. Вып. 5. М., 1955. С. 48.

© А. Ю. Борисов
Петрозаводск

Планировочные формы традиционных сельских поселений: опыт исследования этнических особенностей

Впервые положительный ответ на вопрос об этнических особенностях в планировках традиционных поселений был дан в работах В. П. Орфинского, который утверждал, что специфика проявления этнического в планировках поселений заключается не в предпочтении тех или иных планировочных форм разными этническими группами населения, а в нюансных отличиях и тенденциях развития таких форм¹.

Одной из таких тенденций является предпочтение южной ориентации лицевых фасадов домов. Анализируя данные по территории проживания славянских народов в границах бывшего СССР, в том числе и на Русском Севере, Е. Э. Бломквист указывала на то, что стремление обратить главные фасады домов окнами на юг было естественно для всех крестьян². Вместе с тем она отмечала, что типами планировки поселений (формами поселений. – А. Б.) исследователи почти не занимаются³, поэтому более детализированных выводов о южной ориентации жилых построек в указанной работе, как и в этнографических трудах более позднего времени, нет. Однако В. П. Орфинский, сопоставляя планировочные структуры русских и карельских деревень, отметил, что тенденции к южной ориентации домов у прибалтийско-финских народов прослеживаются более отчетливо, чем у русских⁴. Конкретизации этого положения и посвящено исследование, которое выполнено на основе натуральных материалов, собранных нами в двух этноконтактных зонах русского и прибалтийско-финского населения: вепсов в первом случае, тихвинских карел – во втором.

Однозначно приоритет ориентации на юг («на лето», на солнце) можно определить только для простых планировочных форм. Когда застройка характеризуется одинаковой закономерной ориентацией, особой сложности в выявлении этой закономерности нет, особенно если с солнечной стороной горизонта не конкурируют никакие другие структурообразующие элементы – водоем, дорога, природная или архитектурная композиционная доминанта. Следует отметить, что в иерархии приоритетов ориентации за главенствующий нами принимается солнце. Так, например, если застройка смотрит одновременно на южную сторону горизонта и водоем, то главным мотивом такой постановки домов является стремление к ориентации на солнце. Если же при обращении застройки к воде «жертвуют» южной ориентацией, то в данном случае основным приоритетом является водоем. То же правило применяется нами при сочетании ориентации «на лето» и на дорогу.

Труднее определить приоритет в ориентации «на лето» в беспорядочных или сложных формах поселений. Такие формы характерны для территории, заселенной южными вепсами. Здесь подавляющая масса деревень в планировочном отношении представляет собой сложные образования, состоящие из трудно расчленимого смешения различных простых форм.

При анализе структуры поселения с точки зрения приоритетности ориентации «на лето» такие планы поселений разделялись нами на несколько простых форм, а при нечеткой определимости последних – с учетом вышеозначенного правила выявлялся приоритет ориентации для каж-

дого дома. Каждое поселение было описано через процентное соотношение различных направлений ориентации жилых домов: «на лето», на водоем, на дорогу. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о явном преобладании в поселениях постановки домов с ориентацией «на лето» (см. табл.). Таким образом, южные вепсы, так же как и карелы, сохраняют стремление к ориентации жилища «на лето».

Приоритеты ориентации жилой застройки, %

Направление ориентации лицевых фасадов домов	Для приводомных поселений		Для сележных поселений	
	Поселения, где отмечена данная ориентация (доля в общем числе обследованных)	Жилые дома с данной ориентацией (доля в общем числе домов поселения)	Поселения, где отмечена данная ориентация (доля в общем числе обследованных)	Жилые дома с данной ориентацией (доля в общем числе домов поселения)
На солнце	100	28–100	100	70–100
На водоем	30	4–36*	–	–
На дорогу	33	9–30**	66	9–24

*За исключением дер. Тедрово, где доля домов с ориентацией на водоем составляет 72%.

** За исключением дер. Чайгино, где доля домов с ориентацией на дорогу составляет 70%.

Еще большую сложность для выявления тенденции к ориентации «на лето» представляют наиболее поздние формы поселений – уличные. Среди всех обследованных нами поселений на территории проживания тихвинских карел и соседствующих с ними русских уличные формы составляют 87% и преобладают как у карел, так и у русских. При таких планировочных структурах возможность ориентации «на лето» не может быть одинаковой для всех домов, особенно для поселений с широтным направлением улицы. У местного населения стремление ориентировать свои жилые постройки на южную сторону горизонта вылилось в некоторые преобразования широтных уличных форм: существенно уплотнялся и удлинялся северный широтный порядок домов в составе улиц, застройка южного порядка становилась менее плотной (деревни Бирючево, Новиково), а дома в его составе располагаются не только перпендикулярно, но и параллельно дороге.

При меридиональном расположении улицы застройка по отношению к дороге перпендикулярна и равномерно распределена относительно нее. В поселениях, имеющих и широтные и меридиональные улицы, последние развивались более активно (удлинялись по сравнению с широтными), при этом застройка по обеим сторонам меридиональной улицы уплотнялась одинаково (деревни Забелино, Селище). Из сказанного можно предположить, что меридиональные улицы более удобны с точки зрения ори-

ентации жилища на солнце. Однако преобладания таких структур ни у карел, ни у русских не отмечено. А для сложных структур этот прием анализа оказался вообще неприемлемым.

Но карельские и русские поселения на обследованной территории с точки зрения южной ориентации построек все же отличаются.

Практически все жилые постройки и карел, и русских так или иначе имеют окна, обращенные к южной стороне горизонта, независимо от планировочной структуры поселения. Это наблюдается не только в натуре, но и сохраняется в сознании местных жителей, которые объясняют особенности постановки дома стремлением к лучшему его освещению, так как число окон было ограничено, и размеры их были небольшими якобы из-за того, что существовал налоговый сбор на размер и количество окон. Интересно, что такие ответы были получены только в карельских деревнях. По мнению историков Н. А. Кораблева и А. Ю. Жукова, сведения о таком налоге недостаточно достоверны: налоги на крестьян были подушные или подворные. При этом исследователи обратили внимание на существование налога «на дым» у карел до переселения их «из-под шведов»⁵. Одна из местных жительниц во время опроса упомянула о таком налоге и на этой территории. Возможно, в данной местности каким-то образом в сознании населения выстроилась ассоциативная цепочка: «дым» – «дымоволочное окно» – «окно», связывающая возможность установления налога с особенностями жилища.

Очевидно, что при постановке дома в деревне для лучшего его освещения крестьяне учитывали и планировку самого дома, включая расположение входа в него и, конечно, планировку избы. Схемы домов на данной территории традиционны и количество их разновидностей ограничено, поэтому только постановка домов на местности влияет на параметры их естественного освещения.

Для сравнения эффективности «улавливания» солнечного света (учета солнечной освещенности) жилищами карел и русских на обследованной территории все традиционные схемы жилых построек были сведены к двум основным типам – домам с двух- и трехсторонним освещением избы, а в качестве количественной характеристики использовалась величина освещенной площади пола избы, отнесенная к общей ее площади (в процентах), которая изменяется в течение дня в зависимости от движения солнца. Определенный промежуток времени, когда ее значение превышает 50% от общей площади пола, был назван нами периодом максимальной инсоляции (МОИ).

Целью подсчетов было выявление направлений ориентации, в пределах которой период МОИ для изб I и II типов был бы наибольшим, а затем определение числа домов в поселении, постановка которых попадает в эти благоприятные пределы ориентации. Изменение положения солнца

в течение дня учитывалось при помощи графика для определения координат солнца при географической широте 60° . Так как продолжительность освещения земной поверхности солнцем зависит от времени года, то в расчетах использовались усредненные показатели, поэтому принято, что продолжительность дня равна 12 часам и движение солнца происходит в секторе горизонта, ограниченном азимутами 95° и 265° ⁶.

Для домов, освещаемых с двух сторон и имеющих вход с левой стороны от главного фасада, диапазон азимутов оптимальной ориентации составил $115\text{--}185^\circ$, а для имеющих вход справа от главного фасада – $175\text{--}245^\circ$ ⁷. При этом максимально возможный период МОИ равен примерно 4 часам. В случае, когда окна расположены по трем сторонам сруба, для домов, имеющих вход с левой стороны от главного фасада, этот диапазон составил $160\text{--}185^\circ$, а для имеющих вход справа от главного фасада – $185\text{--}200^\circ$. Но при такой оконности избы максимально возможный период МОИ равен уже 12 часам, то есть практически всему дню.

В результате анализа планов поселений оказалось, что процент домов с оптимальной постановкой, при которой период МОИ имеет наибольшее значение, достаточно велик и в русских, и в карельских деревнях. Но на карельской территории доля таких домов в общем числе жилых построек по разным деревням составляет от 39 до 88%⁸, для русских же деревень аналогичный показатель уменьшается до 10–55%. Таким образом, можно говорить, что в карельских деревнях по сравнению с русскими лучше использовались возможности для освещения избы за счет оптимальной постановки дома на местности. Однако при этом часто нарушалась закономерность построения, или «чистота» планировочных форм. Показательный пример тому – карельские деревни Новинка и Дубровка, представляющие собой сложные структуры с короткими разнонаправленными улицами и порядками домов.

В свою очередь, в русских деревнях более строго соблюдалась «планировочная дисциплина», чему способствовала большая приоритетность упорядочивающих застройку линейных структурообразующих элементов, в первую очередь – дорог. Дополнительно подтверждает этот вывод и тот факт, что при преобладании приводоемого заселения и у карел, и у русских только в русских поселениях (деревни Клеск и Усадище) отмечена прибрежно-рядовая форма поселения с ориентацией на воду и одновременно на неблагоприятную для освещения сторону горизонта – северо-северо-запад.

Полученные результаты исследований позволяют говорить о явной приоритетности южной ориентации жилой застройки при формировании поселений как русских, так и прибалто-финнов. Однако для последних

это явление характерно в большей степени, что не может быть обусловлено лишь практическими соображениями. Несомненно, существует также и символическое значение ориентации на солнце, которое до настоящего времени детально не изучалось и которое еще предстоит раскрыть.

¹ Орфинский В. П. Вековой спор. Типы планировки как этнический признак (на примере поселений Русского Севера) // СЭ. 1982. № 2. С. 55–61.

² Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов // Восточно-славянский этнографический сборник. М., 1956. С. 58.

³ Там же. С. 41.

⁴ Орфинский В. П. Указ. соч. С. 59, 61.

⁵ Автор приносит благодарность за консультацию А. Ю. Жукову и Н. А. Кораблеву.

⁶ Гусев Н. М. Архитектурная светотехника. М.; Л., 1949.

⁷ Разница в значениях азимутов для домов с правым и левым входом связана с тем, что избы имеют неодинаковую оконность боковых фасадов.

⁸ За исключением деревень Курята (14%) и Логиново (6%), имеющих большие утраты в застройке, что не позволяет говорить о корректности для них полученных результатов анализа.

© А. О. Слудняков
Санкт-Петербург

О времени распространения красного угла в крестьянских избах Северо-Запада России

Принято считать, что красный угол¹ появился в крестьянских избах еще в глубокой древности. М. Г. Рабинович относил его возникновение к XIII в., а А. К. Байбурин, видимо, даже к X–XI вв.² В подтверждение этой версии исследователи ссылаются на известную работу П. А. Раппопорта о древнерусском жилище, причем на то ее место, где говорится, что печь у русских стала располагаться у входа в X–XI вв.³ И хотя сам П. А. Раппопорт о красном угле не сказал ни слова, из факта размещения печи в углу у входа, похоже, был сделан вывод, что угол, расположенный по диагонали от печи, обязательно должен был иметь какую-то сакральную функцию⁴. Однако, надо думать, что нельзя ставить знак равенства между помещением печи в один угол и сакрализацией другого угла.

Существует версия и более раннего происхождения красного угла, согласно которой он является наследием язычества. Эту гипотезу в разное время высказывали различные исследователи, в том числе и такие известные ученые, как Б. А. Рыбаков и А. А. Шенников. Они считали, что в раннем средневековье в красном углу вместо икон

находились фигурки языческих «божков», наподобие тех деревянных фигурок, что в XIX–XX вв. попадались этнографам на божницах крестьянских изб⁵.

Это утверждение кажется нам также недостаточно обоснованным. Наличие в XIX–XX вв. на божницах упомянутых фигурок еще не является основанием для утверждения, что и в древнерусских постройках подобные предметы находились именно там. Кроме произвольной экстраполяции современных этнографических данных на средневековье это не подтверждается никакими иными источниками. Кроме того, точная атрибуция таких фигурок («панок») не была произведена⁶. К тому же, древним языческим центром избы аргументированно считается печь (очаг)⁷. Общий же обзор ареала распространения красного угла показывает, что он, скорее, может быть связан с христианской традицией иконопочитания, нежели с язычеством⁸. Что же касается фигурок на божницах, то, думается, это лишь одна из многочисленных попыток язычества как-то приспособиться к господствующей христианской культуре и «встроиться» в нее⁹.

А. А. Шенникову принадлежит также и еще одно интересное предположение. Основываясь на письменных источниках, он пришел к выводу, что, например, в XVI–XVII в. в крестьянских избах икон могло и не быть вовсе. Одним из главных аргументов исследователя стало сообщение итальянского дипломата Паоло Кампани, который писал, что хотя у русских в домах «на самом почетном месте» находятся иконы или кресты, но есть дома, в которых икон нет, и в этом случае не полагается креститься при входе. А. А. Шенников считал, что свидетельство об отсутствии икон может относиться как раз к крестьянским избам, которые в тот период использовались для содержания и кормления скота. Это, возможно, противоречило церковным требованиям и делало помещение в них икон нежелательным. Иконы, по мнению А. А. Шенникова, находились в клетях – неотопляемых кладовых-спальнях, уровень комфорта в которых был выше, чем в избах¹⁰.

Для прояснения ситуации необходимо проанализировать наиболее ранние источники по интересующему нас вопросу. Они относятся к XVII–XVIII вв. и принадлежат иностранцам, побывавшим в России и опубликовавшим свои воспоминания у себя на родине. Приведенные ими весьма скудные сведения, разумеется, не могут считаться неоспоримыми фактами, так как, во-первых, иностранцы говорят о России «вообще», без привязки к конкретной местности и, как правило, не разделяя городские и крестьянские постройки, а во-вторых, мы пользуемся переводами, точность которых часто не можем проверить. Но, тем не менее, за неимением других сведений, относящихся к этому времени, следует обратить на них внимание.

Стоит сказать, что здесь мы рассматриваем материалы, которые так или иначе имеют хотя бы косвенное отношение к крестьянскому жилищу, а не к жилищам феодалов или богатых горожан.

Одни из самых ранних наблюдений принадлежат известному путешественнику Адаму Олеарию, посетившему Россию в 1634–1635 гг. А. Олеарий описывает интерьер построек различных слоев общества так: «...ни в одном доме, ни у богатых, ни у бедных людей, незаметно украшения в виде расставленной посуды, но везде лишь голые стены, которые у знатных завешаны циновками и заставлены иконами»¹¹. Иными словами, путешественник обратил внимание на иконы только в жилищах феодальной знати, а в домах даже «богатых людей» (по-видимому, купцов), не говоря уже об основной массе населения, он икон не отметил, что косвенно подтверждает сообщение П. Кампани. Однако далее А. Олеарий уже говорит о наличии икон в каких-то крестьянских жилых постройках: «Крестьяне в деревнях не желали допустить, чтобы мы касались руками их икон, лежа на лавках, обращались к ним ногами»¹². Из данной фразы невозможно выяснить, о каких именно постройках идет речь и где располагались иконы. Но, скорее всего, здесь говорится о клетях. В то время здоровые взрослые люди даже зимой спали в основном в клетях, а не в избах¹³. Даже в XIX в. в Среднем Поволжье, где отдельно стоящие кладовые-спальни были еще широко распространены и использовались по своему прямому назначению, гостей укладывали спать именно там, а не в избе¹⁴. Однако нельзя полностью исключать и возможность существования икон в избах. А. Олеарий также впервые указывает и на расположение икон и стола в углу «комнаты». Речь, правда, идет о богатом доме, а не о крестьянской избе¹⁵.

Следующее свидетельство принадлежит дипломату Гвидо Мьежу, посетившему Россию в 1663–1664 гг. и оставившему описания крестьянских и городских жилых построек, по его словам, мало отличавшихся друг от друга. Говоря об интерьере изб, Г. Мьеж отмечает и наличие иконы: «нет ни одного дома, где у окна не висела бы икона с лампадой»¹⁶. У какого окна висит икона Г. Мьеж не уточняет, тем более что из его описания непонятно, сколько вообще окон в избе и как они расположены.

Наиболее подробными и заслуживающими доверия сведениями об интересующем нас вопросе являются наблюдения англичанина Джона Перри, жившего в России в 1698–1715 гг. Д. Перри, инженер на великих стройках петровской эпохи, разбирался в различных постройках намного лучше А. Олеария или Г. Мьежа и подробно описывал их, включая временные жилища солдат.

В своей книге Д. Перри сообщает о наличии красного угла в домах богатых людей: «Между русскими существует обыкновение (особенно между богатыми, которые могли позволить себе эту роскошь) ставить в комнатах своих, преимущественно же в переднем углу, против печи, множество изображений Святых...» В этой фразе интересно то, что наличие множества икон в доме признается роскошью, которую не все могли себе позволить. Далее Д. Перри поясняет: «В доме же бедного человека, где существует только один такой образ... и где бывает очень темно, да где не всегда перед образом горит и восковая свечка, то чужому человеку, входящему в избу, трудно с первого раза рассмотреть, где находится... образ, и он первым делом спрашивает: „А где же Бог?“, на что кто-нибудь из присутствующих указывает ему, на каком месте стены висит образ»¹⁷.

Таким образом, налицо ситуация, когда человек, попавший в незнакомый дом, не может сориентироваться и найти божницу. В XX в. этого, скорее всего, не произошло бы. Устойчивая диагональ печь – красный угол позволяла быстро определить место для икон даже в темноте. Видимо, в начале XVIII в. на северо-западе России, где работал английский инженер, такой диагонали в большинстве случаев еще не было¹⁸. Кроме того, Д. Перри определенно противопоставляет постановку икон в «передний угол», уже принятую у богатых, и размещение иконы у бедных на каком-то неопределенном «месте на стене», что также свидетельствует об отсутствии у основной массы населения красного угла в привычном нам понимании.

Косвенным подтверждением этого служит и то, что даже в конце XIX – начале XX в. иконы еще далеко не везде располагались в углу по диагонали от печи. Например, на границе Кемского и Повенецкого уездов у старообрядцев-карел была зафиксирована ситуация, отчасти напоминающая описание Д. Перри: «В красном, сутнем, углу вы редко увидите икону, как обыкновенно бывает в русской избе., но осмотрите хорошенько стены: где-нибудь посредине стены, между окнами, или в углу против печки, где вы совсем не привыкли видеть иконы, заметите... маленькие, створчатые... образа, которые помещаются обыкновенно на высоте не более двух аршин от полу»¹⁹. Сведения о расположении икон в непривычных местах есть и из других мест Русского Севера²⁰.

Таким образом, можно предположить, что в начале XVIII в., по крайней мере, на территории Северо-Запада России красный угол в привычном нам виде имелся в основном в избах богатых людей (подчеркнем, что речь идет именно об избах, а не о различных «чистых» помещениях типа горниц или «комнат», в которых он мог существовать и раньше). У основной же массы населения, в том числе у крестьян, постановка икон в угол по диагонали от печи, по всей видимости, еще не была широко распространена.

Теперь осталось выяснить, где же висела та единственная икона, о которой говорят Д. Перри и Г. Мьеж. Если это, как мы предполагаем, не был красный угол, то в каком другом «месте на стене» она могла находиться? Как гипотезу предложим вариант ее размещения на середине лицевой стены. Подобное расположение икон было широко распространено в Карелии еще в начале XX в. Иконы там помещались на фасадной стене, часто над центральным окном²¹, что отчасти совпадает с описанием Г. Мьежа. Возможно, в XVII–XVIII вв. так же или похоже они располагались и в центральных районах страны, где побывал Г. Мьеж.

Стоит отметить, что фольклорист Н. А. Лавонен, которой, видимо, не известны приведенные данные письменных источников, на основании сопоставления интерьеров изб старообрядцев и православных Карелии пришла к аналогичным выводам и предположила, что помещение икон в красном углу – явление достаточно позднее, как-то связанное с реформой Никона²². С такой привязкой изменений в интерьере к церковным реформам, конечно, нельзя согласиться. Как уже отмечалось, А. Олеарий видел размещение икон в углу «комнаты» задолго до событий 1656–1667 гг. Однако сделанный Н. А. Лавонен вывод о позднем происхождении красного угла, основанный на изучении только натурального материала, в целом совпадает с приведенным нами предположением, базирующемся на анализе исключительно письменных источников.

Возможно, длительное сохранение в быту старообрядцев архаичных способов размещения икон было связано с определенным консерватизмом этой конфессиональной группы и желанием сохранить какие-то древние (с точки зрения самих старообрядцев) формы. Возможно, такое расположение икон было удобно для применявшейся старообрядцами беспоповцами практики домашних богослужений.

В заключение необходимо сказать о приблизительных хронологических рамках распространения красного угла у крестьян на Северо-Западе России. Точно определить их, по понятным причинам, невозможно. Видимо, Д. Перри отметил лишь самое начало этого процесса, который, как уже было сказано, полностью не завершился и к началу XX в.

Однако, скорее всего, во второй половине XVIII в. красный угол уже был достаточно распространен, во всяком случае, в городском, мещанском жилище. В популярном издании И. Г. Георги «Описание всех в Российском государстве обитающих народов...» об интерьере русской избы (причем опять без какой-либо территориальной привязки, а также явно смешивая крестьянские и мещанские постройки) сказано: «...в углу, на стенах, изображения...угодников Божиих...»²³ И. Г. Георги описывал, скорее, интерьер мещанской, а не крестьянской избы, но, несмотря на

это, в крестьянских избах он уже, вероятно, имел распространение. Во всяком случае, все действительно подробные и достоверные описания крестьянских построек, относящиеся, правда, к середине XIX в., за исключением описанных нами случаев, показывают, что к этому времени процесс распространения красного угла на Северо-Западе России уже завершился.

¹ Здесь и далее под термином «красный угол» мы будем понимать угол, расположенный по диагонали от печи с расположенными в нем иконами.

² Рабинович М. Г. Русское жилище в XIII–XVII вв. // Древнее жилище народов восточной Европы. М., 1975. С. 168; Он же. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988. С. 19; Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С. 129–130.

³ Раппопорт П. А. Древнерусское жилище // Древнее жилище народов восточной Европы. М., 1975. С. 126.

⁴ Байбурин А. К. Указ. соч. С. 129–130.

⁵ Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1988. С. 497–500; Шенников А. А. Двор крестьян Неудачки Петрова и Шестачки Андреева. Как были устроены усадьбы русских крестьян в XVI в. СПб, 1993. С. 65–66.

⁶ Например, так и не было выяснено, принадлежали ли они обычным крестьянам или встречались только у профессиональных колдунов (или их потомков). Также не исключено, что такие фигурки вообще не имели никакой сакральной функции. Во всяком случае, они хотя и стояли на божницах, но предметами поклонения, похоже, не были (Бабаянц Г. Н. Поморские куклы «панки» // Этнография народов Восточной Европы. Л., 1977. С. 112–113).

⁷ Байбурин А. К. Указ. соч. С. 130, 160; Рыбаков Б. А. Указ. соч. С. 496–497.

⁸ Топорков А. Л. Происхождение элементов застольного этикета у славян // Этнические стереотипы поведения. Л., 1985. С. 226.

⁹ В качестве аналога такого приспособления можно привести многократно опубликованные и известные всем специалистам заговоры и иные действия бытовой или любовной магии, которые совершенно справедливо рассматриваются богословами как язычество, но в которых можно найти немало христианских символов.

¹⁰ Шенников А. А. Указ. соч. С. 63–65.

¹¹ Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб, 1906. С. 202.

¹² Олеарий А. Указ. соч. С. 316.

¹³ Шенников А. А. Указ. соч. С. 64–65.

¹⁴ Erdmann J. F. Beitrage zur Kenntniss der Inneren von Russland. T. I. Riga; Dorpat, 1822. S. 102; Записки Александры Фукс о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань, 1840. С. 170, 274; Тр. статистической экспедиции, снаряженной в 1883 году Казанским губернским земством. Казань, 1884. С. 14 и др.

¹⁵ Олеарий А. Указ. соч. С. 316–317.

¹⁶ Описание Московии при реляциях графа Карлейля // Историческая библиотека. СПб, 1879. № 5. С. 29.

¹⁷ Перри Д. Состояние России при нынешнем царе. М., 1871. С. 143.

¹⁸ Интересно, что похожую ситуацию в середине XVI в. С. Герберштейн наблюдал и в домах зажиточной верхушки общества. В первой половине XVII в. А. Олеарий также наблюдал нечто подобное (и также в богатых домах) (Герберштейн С. Записки о московитских делах. СПб, 1908. С. 86; Олеарий А. Указ. соч. С. 317). Видимо, в XVI – начале XVII в. диагональное расположение печи и икон было редкостью даже в богатых городских постройках.

¹⁹ Оленев И. В. Карельский край и его будущее в связи с постройкой Мурманской железной дороги. Гельсингфорс, 1917. С. 46.

²⁰ Спасский А. Этнографическое описание жителей Нижегородской губернии Васильского уезда села Спасского. Рук. 1849. Архив Российского Географического общества (далее – АГО). Р. 23. № 69. Л. 1 об.; Лысков П. Быт жителей-крестьян Архангельской губернии Шенкурского уезда, Подвинья, удельных, и в особенности Клоновской пустыни Гос. имуществ. Рук. 1854. АГО. Р. I. Оп. 1. № 49; Обработка анкеты Российского Географического общества 1917 г. Вологодская губерния. Тотемский уезд. Рук. 1917. АГО. Ф. 24. Оп. 1. № 05-III. и др.

²¹ Лавонен Н. А. Стол в верованиях карелов. Петрозаводск, 2000. С. 93–95.

²² Лавонен Н. А. Указ. соч. С. 95.

²³ Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, всех обыкновенней, жилищ, одежд и прочих достопримечательностей. Ч. 4. СПб, 1799. С. 135.

*© И. Е. Гришина, М. Е. Романова, Е. В. Ляля
Петрозаводск*

Ареальные исследования традиционных бань Карелии и сопредельных территорий

Картографирование является одним из способов объективизации этноархитектурных исследований. Оно позволяет рассмотреть территориальные отличия архитектурно-типологических признаков и временные изменения в них, очертить их ареалы и определить локальную, региональную или этническую принадлежность. Особенно продуктивно картографирование при междисциплинарных исследованиях: анализ историко-архитектурных ареалов способствует формированию гипотез, касающихся генезиса и эволюции архитектурных приемов, форм и деталей, а междисциплинарное сопоставление ареалов – их подтверждению, а также взаимопроверке данных и выводов в смежных науках.

Метод ареальных исследований дает наилучшие результаты при картографировании массового материала, полученного при сплошном обследовании большой территории. Именно такое масштабное исследование было предпринято нами с использованием сведений о 1719 традиционных банях, собранных в 1992–2004 гг. в экспедициях по Карелии, Каргополью (оз. Лача) и Онежско-Ладожско-Белозерскому межозерью (Бабаевский, Вашкинский, Вытегорский районы Вологодской области, Тихвинский и Бокситогорский районы Ленинградской области).

Создание тематических карт осуществлялось с помощью технологий геоинформационных систем (ГИС), с использованием программного пакета MapInfo Professional, методом построения интерполяционных по-

верхностей. Этот метод построения тематической карты преобразует дискретно определенную информацию в непрерывную путем интерполяции точечных данных из таблицы-источника и представляет собой определение вероятности появления того или иного признака в необследованных точках, исходя из определенных значений, зафиксированных в обследованных поселениях. Ареалы отображаются на карте с помощью непрерывных цветовых градаций или изолиний, выделяющих области с одинаковыми значениями. Метод особенно пригоден для построения ареалов на равномерно обследованной территории, но и при несоблюдении такого условия он дает возможность сделать первые обобщения материала, выдвинуть гипотезы и в дальнейшем либо подтвердить их, либо скорректировать с проведением дополнительных обследований.

Традиционная баня, оставаясь в деревнях самой массовой хозяйственной постройкой, вызывает большой интерес у исследователей народной культуры.

Этноархитектуроведами бани рассматриваются как часть строительной культуры: фиксируются их объемно-планировочная структура, конструктивные решения, приемы группировки построек и их расположение на местности. При этом связь этнографических и историко-архитектурных аспектов изучения позволяет объяснить отдельные особенности бань как строительных объектов.

Закономерности развития бань соотносятся с общими закономерностями развития народного зодчества и могут существенно уточнить последние. В этом плане особенно ценно выявление последовательных этапов эволюции общей структуры и конструктивных элементов бань, а также определение территорий распространения отдельных типологических признаков или их комплексов, как правило, достаточно точно маркирующих ареалы локальных строительных культур.

Традиционные северные бани являются также источником для изучения истории жилища, так как повторяют в своей структуре его древние черты: камерность, планировочный тип, определяемый постановкой и ориентацией устья печи, расположение окон, конструкции стен, покрытий, перекрытий. В первую очередь к баням относится положение Н. Н. Харузина о том, что архаичные формы жилья, вытесняемые более прогрессивными формами, не исчезали, а лишь меняли свое назначение, используясь в качестве хозяйственных построек¹. Повышенная традиционность бань, как и всех хозяйственных построек, известна. Однако было бы неверно отождествлять ее с консервативностью, абсолютной неизменностью. По нашим изысканиям, баня, развиваясь, сохраняет традиционность своей связи с жилищем. Архитектура бани постоянно «подпитыва-

ется» за счет переноса в нее архитектурно-строительных приемов, характерных уже для современного ей жилища, возможно, в связи с тем, что бани нередко использовались для жилья². Таким образом, баня как бы повторяет, но со значительным временным отрывом изменения в его планировочной структуре и конструкциях. Поэтому данные по эволюции бань могут использоваться для повышения степени вероятности реконструкций относительно ранних этапов эволюции жилища, производимых, как правило, на основании археологических данных, письменных источников и других архивных материалов, а также путем сопоставления жилища народов (по возможности, родственных), находящихся на разных стадиях развития³. Именно этот аспект исследования бань хорошо иллюстрируют проведенные нами ареальные исследования, которые мы рассмотрим на примере картографирования двух групп признаков – планировочных типов бань и способов дымоудаления из черных бань.

Одним из важнейших признаков бани является ее планировочный тип, определяемый постановкой и ориентацией устья печи, позволяющий отнести баню к определенному этническому или региональному комплексу традиционной строительной культуры. Уже при подготовке материалов к картографированию было ясно, что в Карелии встречаются только бани западнорусского типа, за исключением единичных примеров бань южно-восточнорусского типа у прионежских вепсов⁴. На обследованных же территориях Вологодской и Ленинградской областей бани двух картографируемых нами типов сосуществуют в сопоставимых долях и их территориальное распределение представляет большой интерес. У тихвинских карел (Климовская волость Бокситогорского района Ленинградской области), так же как и на основной территории расселения карел в Карелии, преобладают бани западнорусского типа (на востоке Климовской волости, где проживают русские, выраженную конкуренцию западнорусскому составляет южно-восточнорусский тип бани).

Явно выражено преобладание бань южно-восточнорусского типа в Северном Белозерье (Вашкинский район и восток Вытегорского района Вологодской области) с центрами на северном побережье Белого озера, в Ивановском сельсовете на р. Индоманке (деревни Ивановская, Ларино, Зуево и др.), в гнездах деревень Окштама (дер. Кузьминская и др.), Пуштора (дер. Нестерово и др.), Исаево (дер. Матвеева и др.). Последнее гнездо деревень известно как самый восточный анклав вепсов, сохранявших свой язык до начала XX в.

Интересно, что небольшие островные ареалы преобладания южно-восточнорусского плана в зоне границы между двумя планировочными типами бань отмечаются также на территориях вепского расселения – у куй-

ско-пондальских вепсов (дер. Слобода и др.) и в примыкающем к ним недавно обрусевшем гнезде деревень Сяргозеро, у южных вепсов (деревни Сидорова, Радогощь и др.), у капшинских вепсов (деревни Усть-Капша, Корбенчи и др.), у уже упоминавшихся прионежских вепсов. Вместе с тем у пязозерских вепсов присутствует только западнорусский план бань.

По-видимому, взаиморасположение ареалов бань западнорусского и южно-восточнорусского типов на исследуемой территории является следом двух традиций, которые принесли на нее два миграционных потока русских переселенцев. Один из них – с юго-запада – составили древние новгородцы (начиная с X–XI вв.), новгородской традиции соответствует западнорусский планировочный тип бань. Второй поток – с юго-востока – составили русские из Верхнего Поволжья (начиная с XIV в.). В местах их расселения укоренился южно-восточнорусский планировочный тип бань.

Остающиеся вопросы о том, почему два указанных типа бань распределяются по обследованным территориям Ленинградской и Вологодской областей неравномерно и почему вепсы разных групп сохранили разные планировочные типы, могут быть решены при проведении более детального анализа и картографирования бань по нескольким признакам.

Учитывая отмеченную связь планировки бань и изб, можно сказать, что ареалы устойчивого преобладания бань южно-восточнорусского типа отмечают территорию, где в прошлом было возможно распространение подобного же типа изб. Картографирование планировочных типов изб было выполнено в 1950-е гг. этнографом Е. Э. Бломквист⁵ и с тех пор не корректировалось. Предпринятое нами картографирование планировочных типов бань может дополнить работу Е. Э. Бломквист в ретроспективном аспекте.

Бани северно-среднерусского и южно-западнорусского типов⁶ отмечены нами только в Онежско-Ладожско-Белозерском межозерье и составляют незначительный процент от общего числа обследованных. По-видимому, в процессе эволюции эти типы сменились распространенными здесь в настоящее время западнорусским и южно-восточнорусским. Это подтверждается, в частности, тем, что ареал бань северно-среднерусского типа уверенно совпадает с территорией, где в самых старых жилых домах фиксируется аналогичный планировочный тип избы: переход к более поздним планировочным типам произошел и в жилище, и в банях.

Но нельзя говорить о столь же широком бытовании на обследованной территории в прошлом бань и изб южно-западнорусского типа. Следы такого плана избы зафиксированы только в дер. Турандино на юге Ленинградской области, там же отмечена и баня подобного типа. Судя по ареалам бань, можно говорить об обследованной части Онежско-Ладожско-

Белозерского межозерья как о зоне взаимопроникновения в прошлом изб южно-восточнорусского и южно-западнорусского планировочных типов.

Картографирование вариантов дымоудаления из черных бань, проведенное в рамках исследования, было нацелено на реконструкцию картины различных способов дымоудаления, характерных в прошлом для жилища на Русском Севере.

Известно, что дымоудаление из курных изб характеризует этническую специфику крестьянского жилища, не позволяя объяснить ее только стадильностью. Для русских курных изб было характерно дымоудаление через стенные дымоволоки, для изб прибалтийско-финских народов – карел и вепсов – через потолочный дымоволок⁷. Однако полученные ареалы дают возможность говорить об уточнении этого положения.

В южной части исследуемой территории потолочные дымоволоки характерны для южных, капшинских, пязозерских, прионежских вепсов. Вместе с тем у куйско-пондальских вепсов потолочные дымоволоки распространены только на восточной части территории их расселения, у исавских вепсов с ними конкурирует сочетание потолочного и стеного дымоволоков, а в недавно обрусевшем вепском Сяргозере преобладают стенные дымоволоки.

Потолочные дымоволоки преобладают также на обрусевших вепских территориях в Коштугах и Ундозере, их распространение также представлено мелкими островными ареалами в северном Белозерье у прежде «чудского» населения, где перемежаются с территориями преобладания стеновых дымоволоков.

Обращает на себя внимание противоречивый характер ареалов разных способов дымоудаления в Климовской волости. Здесь на русском востоке отмечено больше потолочных дымоволоков, а на карельском западе – стеновых.

Столь же неоднозначно ареализация вариантов дымоудаления на территории Карелии. Следует отметить, что ярко выраженный ареал стеновых дымоволоков отмечается здесь только у карел-ливиков. У русских Заонежья, карел-людиков и собственно карел преобладают потолочные дымоволоки, однако в некоторых местностях они дополняются стеновыми дымоволоками. В Северной Карелии такое дополнение становится правилом в ареале расселения собственно карел и только в поморских русских деревнях сохраняются решения исключительно с потолочными дымоволоками.

Описанная картина может свидетельствовать о том, что в русских районах Карелии строительная культура испытала сильное влияние прибалтийско-финской традиции. Что же касается распространения стеновых

дымоволоков у карел и вепсов в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях, то в данном случае можно говорить об обратном процессе – о русских влияниях на зодчество прибалто-финнов. Все это требует дальнейшего более детального изучения с подключением дополнительного материала с мало исследованных территорий и с использованием картографирования.

¹ Харузин Н. Н. Очерки развития жилища у финнов: Этнографическое обозрение. М., 1895. С. 16–46.

² Орфинский В. П., Гришина И. Е. Простейшие деревянные постройки как источник для изучения крестьянского жилища // Народное зодчество. Петрозаводск, 1992. С. 21.

³ Там же. С. 19.

⁴ Названия планировочных типов бань приняты по аналогии с известной этнографической классификацией типов избы: южно-восточнорусский тип – с печью в дальнем от входа углу и ориентацией устья к входу; западнорусский тип – с печью в углу рядом с входом и ориентацией устья к боковой стене.

⁵ Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов // Восточно-славянский этнографический сборник. М., 1956. С. 235.

⁶ Северно-среднерусский тип – с печью в углу у входа и ориентацией устья к противоположной от входа стене; южно-западнорусский тип – с печью в дальнем от входа углу и с ориентацией устья к боковой стене.

⁷ Орфинский В. П., Гришина И. Е. Указ. соч. С. 28.

© А. Ю. Косенков, Е. В. Ляля
Петрозаводск

Геоинформационные технологии в изучении архитектурного наследия (на примере деревни Рубчейла)

Одна из актуальных проблем современной культуuroохранительной деятельности – отсутствие систематизированных данных об объектах, препятствующее выработке эффективной стратегии сохранения архитектурного наследия. Особенно важна выработка такой стратегии в условиях дефицита финансирования ремонтно-реставрационных работ.

В Карелии во время инвентаризации деревянного зодчества 1979–1980 гг. и последующих лет исследований достопримечательных территорий и отдельных поселений собран огромный материал, но организовать его и рационально с ним работать пока не удавалось. Помочь упорядочить имеющиеся данные могут геоинформационные системы (ГИС).

ГИС – это, с одной стороны, набор программных инструментов, используемых для ввода, хранения, манипулирования, анализа и отображения любой географически привязанной информации, с другой сторо-

ны, образ мышления, способ принятия решений в организации, где вся централизованно хранящаяся информация соотносится с исследуемой территорией. ГИС можно рассматривать как базу данных координатно привязанной информации, обладающей дополнительными удобствами пользования и наглядностью представления информации.

Первый опыт создания ГИС традиционного сельского поселения был предпринят нами на примере сямозерской дер. Рубчейла. В Сямозерье относительно хорошо сохранилось архитектурное наследие одной из этнодиалектной групп карел – северных ливвиков и уникальная природная ситуация. Успешной культурно- и природоохранной деятельности способствует наличие энтузиастов среди местного населения, направляемых созданным в 2003 г. Национальным центром сямозерских карел «Сямозерье». Кроме того, по Сямозерью проходит туристический маршрут «Голубая дорога», что дает возможность его быстрого включения в современную социокультурную жизнь. Рубчейла является опорным поселением этнокультурного центра «Сямозерье», по ряду признаков она представляет собой своеобразный эталон приемов и форм, характерных для зодчества северных карел-ливвиков.

Начальным этапом создания ГИС поселения стала систематизация имеющегося материала. Условно он был разделен на две части. Первая из них поддается обработке с помощью типовых программ и служит для выработки методик. В свою очередь последние после апробации могут использоваться для составления специализированных программ автоматизации процессов управления базами данных. Вторая часть – накапливающаяся, но пока не задействованная информация, сохраняется в приемлемом для ГИС электронном виде, а в перспективе в ней реализуется.

Важнейшим этапом создания ГИС явилась разработка специального инструментария, включая универсальную информационную модель традиционного сельского поселения. Из-за отсутствия общепринятого понятийного аппарата был введен ряд терминов для описания такой модели. Ведущий из них – контейнер (англ. container, буквально – вместилище), обозначающий некую «емкость», соответствующую какому-либо структурно-целостному объекту в иерархической системе традиционной сельской архитектурной среды: объемному, объемно-пространственному, пространственно-объемному. В нашем случае примером пространственно-объемного объекта является сама дер. Рубчейла, объемно-пространственного – усадьба, объемного – отдельная постройка.

Основная составляющая любой постройки – остов, который, в свою очередь, выступает как объемный контейнер только на другом уровне иерархии. Минимальный подобный элемент срубного остова – это венец (к

примеру, намогильный «домик», состоящий всего из одного венца). Для характеристики элементов остова мы вводим признак, роднящий элемент с остовом, такой признак – трехмерность. Венец состоит из бревен, бревна могут служить элементами других конструктивных систем. Поэтому, чтобы проследить ту грань, за которой элементы сруба перестают являться его подобием, вводятся характеристики таких элементов по степени их замкнутости, то есть уподоблению срубу – разомкнутость и сомкнутость. Кроме того, элементы подразделяются по конструктивным решениям и материалу. Перечисленные признаки позволяют описать все известные на Русском Севере приемы и формы традиционного деревянного зодчества.

Метод создания информационной модели основан на использовании принципа «и-или» в иерархических «деревьях», которые представляют собой знания в научной и практической сфере. Исходная конструктивная система (дом, усадьба) разбивается с определенной степенью детализации по структурным (конструктивным) и функциональным признакам на ряд неделимых далее блоков или подсистем. Причем мы сами определяем минимальную вершину на определенном уровне, например, минимальный элемент сруба – венец, на следующем уровне, по отношению к венцу – бревно. Помимо этого, каждой вершине могут быть приписаны какие-то атрибуты и характеристики. Например, бревну – данные древесиноведческого¹ и / или конструкционного² мониторинга.

В результате получается некий граф, в котором узлы соответствуют сущностям (подсистемам, блокам) исходной конструктивной системы. Для получения и дальнейшего сохранения однозначности и целостности образованного графа исходной системы его узлам присваивается тип «и», «или», а также «Висячий».

Сущность типов узлов «и», «или» точно такая же, как и основных логических элементов. Что касается типа узла «Висячий», то он соответствует далее неделимой сущности конструктивной системы (при заданной степени детализации) и включается в дерево структурного решения как подузел узлов типа «и» и «или». Например, минимальный объемный неделимый элемент сруба – венец.

Полученные структурная и функциональная схемы (графы) были универсализированы в ходе апробирования на распространенных типах традиционных построек.

По каждому блоку графа по мере необходимости могут создаваться так называемые «карточки», в которых отражаются атрибуты данного блока, его классификационное описание. Структура данных «карточек» создается в виде электронных таблиц. Эти «карточки», увязанные между собой по графу, и составляют основу базы данных по сооружению. Оперирование информаци-

ей, содержащейся в карточке, осуществляется путем сопоставления идентификационных номеров (ID) строк электронных таблиц.

Созданная модель помогла структурировать имеющиеся материалы по одному из интереснейших памятников архитектуры Рубчейлы – дому А. А. Ермолаева.

На основании первичного обобщения собранных материалов и визуального осмотра памятника сделан вывод о необходимости его консервации, поскольку около 70% строительного объема находится в аварийном состоянии: сгнили опорные столбы и конструкция крыши хозяйственной части, значительно деформированы стены³. Срочное проведение противоаварийных работ и замена сгнивших элементов несущей конструкции снимут угрозу форсированного разрушения, но не гарантируют длительное сохранение памятника. Получение таких гарантий может быть обеспечено только с помощью прогнозирования процесса деструкции по данным древесиноведческого⁴ и конструкционного мониторинга, определяющего динамику негативных изменений.

Уточненные одним из авторов обмеры⁵ позволили «разобрать» дом по бревнам с присвоением каждому бревну своего идентификационного номера. Таким образом, были созданы карточки по бревнам и ряду других элементов, представленные в виде электронных таблиц. Следующая операция – сопоставление древесиноведческих данных, полученных М. В. Кистерной и В. А. Козловым, с карточкой по стенообразующим бревнам. В итоге были получены карточки с древесиноведческими характеристиками девяти венцов, то есть всех тех венцов, которые находятся в проблемных зонах сруба. Затем осуществлялось непосредственное использование инструмента ГИС среды MapInfo. Для этого потребовались оцифрованные планы соответствующих венцов сруба дома. Все обработанные в программе венцы со своими специфическими деталями и особенностями (проемы, стыки и т. д.) были сохранены в файлы в виде отдельных слоев с присвоением имен, соответствующих номеру венца от земли (01_венец, 02_венец, ..., i_венец). Следующий этап формировал в MapInfo пространственную базу данных, представляющую собой совокупность таблиц для разных элементов. Каждая таблица имеет свою структуру и свое графическое изображение (план какого-то венца). В нашем случае каждое бревно интерпретируется программой как площадной объект, имеющий свою строку в таблице для занесения в нее путем ручного набора идентификационных номеров бревен с карточки. Далее была загружена атрибутивная база данных по бревнам, то есть выше упомянутая карточка в виде электронной таблицы. Пространственная локализация атрибутивной базы данных в MapInfo осуществляется автоматически

благодаря сопоставлению двух баз данных по единому универсальному идентификационному номеру (ID) для каждого бревна.

Таким образом, выбрав какой-то слой (венец) и анализируемую его часть – бревно, можно увидеть в открывшемся окне программы все необходимые атрибутивные данные (влажность, физическое состояние данного бревна и др.). При наличии двух и более замеров по одному бревну, но в разных местах параметры его состояния указываются на определенных участках, границами которых являются две ближайшие оси. При этом локализация точки определения атрибутивных данных фиксируется привязкой к одной из осей. Помимо этого, благодаря возможности выполнять операции (строить sql-запросы, формировать логические выражения) над пространственными базами данных, можно строить тематические планы. К примеру, указав шаг изменения влажности путем градации цвета, можно легко получить план какого-то венца с раскраской бревен соответствующей влажности (например, чем темнее цвет, тем влажность больше). Также можно формировать запросы по наличию стыков по длине, компенсационно-деформационных надпилов и т. д. Для того чтобы сделать этот процесс более наглядным, было принято решение совместить процедуру получения атрибутивных данных и графической информации. А эта задача переводит работу над созданием ГИС уже на другой уровень, поскольку стандартными инструментами MapInfo это сделать невозможно. С помощью интегрированного компилятора MapBasic был создан модуль к MapInfo, который формирует в панели инструментов дополнительную кнопку, нажав на которую и выбрав бревно, можно увидеть на экране монитора не только символьные данные, но и местоположение выбранного бревна в общем объеме сооружения.

Существуют и другие задачи, поскольку Рубчейла интересна как комплекс сооружений. В деревне кроме дома А. А. Ермолаева существуют еще семь домов-памятников, состояние которых тоже вызывает опасение. Для оптимального сохранения объемно-пространственной среды их необходимо не только не утратить, но и восстановить. Задача по сравнению с домом А. А. Ермолаева усложняется тем, что эти дома находятся в частной собственности. Очевидно, что, рассматривая детально дом А. А. Ермолаева, необходимо наметить ряд первоочередных мероприятий по сохранению всех остальных памятников. Отработанная схема мониторинга на доме А. А. Ермолаева должна быть перенесена на остальные памятники в последовательности, определяемой их охранным статусом и степенью сохранности (то есть гарантией длительного безаварийного сохранения). Все это будет способствовать постепенному включению каждого памятника в ГИС.

¹ Дреесиноведческий мониторинг – анализ параметров (влажность, физическое состояние и др.) древесины несущих конструкций, для которого необходима периодичность проведения, зависящая от статуса и физического состояния сооружения.

² Конструкционный мониторинг основан на анализе и прогнозировании развития деформаций.

³ Дополнительно для объективной оценки состояния конструкций дома привлекались эксперты: заместитель директора ООО «СВЯТ» В. В. Шелгунов, директор ООО «Экситон» И. М. Осипов.

⁴ Первичный дреесиноведческий осмотр дома А. А. Ермолаева осуществлялся в августе 2002 г. В. А. Козловым и М. В. Кистерной.

⁵ Исходные обмеры предоставлены архитектурно-реставрационным проектным предприятием ЗАО «ЛАД».

© Н. А. Патрашкова
Петрозаводск

Архитектурно-планировочное решение этнолитературного музея в деревне Хайколя

В 1993 г. в программу десятилетия мировой культуры ЮНЕСКО был включен проект «Рунопевческие деревни Беломорской Карелии», разработанный фондом имени Архиппы Перттунена (г. Костомукша, Республика Карелия) и фондом «Культурная горница г. Кухмо», Финляндия (ныне – фонд «Юминкеко»). Причины такого успеха – историко-культурная ценность территории, на которой сохранилась еще живая культура, некогда создавшая всемирно известный эпос «Калевала». Для спасения, регенерации и преемственного развития этой культуры в проекте предусмотрено помимо сохранения карельского языка, фольклорных и ремесленных традиций возрождение традиций архитектурных путем воссоздания историко-архитектурного ландшафта поселений, реставрации старых зданий и строительства новых домов с учетом народного опыта¹.

Безусловно, потенциальными центрами возрождения и распространения архитектурных традиций Беломорской Карелии являются восемь старейших и относительно хорошо сохранившихся поселений – Калевала, Хайколя, Ювалакша, Вокнаволок, Пиртигуба, Поньгогуба, Суднозеро, Панозеро. Они отнесены к категории «историческое поселение» и представляют собой комплексные историко-архитектурные памятники.

Деревня Хайколя – одно из интереснейших поселений Беломорской Карелии. Расположенная на небольшом острове, она обладает уникальным по своему характеру природным окружением и типичной для традиционных собственно-карельских поселений живописной свободной планировкой. В плане сохранения архитектурного наследия деревня также оказалась в благо-

приятном положении: в 2003 г. здесь создан этнолитературный музей, посвященный народному писателю Карелии Ортъе Степанову.

Артем Михайлович Степанов (Ортъе Степанов) родился 7 апреля 1920 г. в Хайколя, с ней связана жизнь и творческая деятельность писателя, в деревне сохранилась усадьба с его домом. О. Степанов похоронен на местном деревенском кладбище. Создатели музея задумали его как обширную, включающую всю деревню экспозицию, которая должна отразить культуру северных карел и историю деревни с акцентом на событиях, описанных в произведениях О. Степанова. Планируется, что музей станет одной из композиционно-эстетических и культурно-просветительских доминант на перспективном туристическом маршруте из Скандинавии и Финляндии через рунопевческие деревни Беломорской Карелии и г. Кемь на Соловки. Уже сейчас эта возможность частично реализуется. Несмотря на то что музей еще только разворачивает свою деятельность, каждый год Хайколю по пути в дер. Панозеро посещает до 1000 человек из Финляндии, Норвегии, Швеции.

Разработка архитектурного решения деревни-музея была нацелена на воссоздание планировочной структуры и застройки Хайколя по состоянию на 1930-е гг. Но главным препятствием для решения поставленной задачи стало то, что к рубежу XX–XXI в. значительная часть традиционной застройки деревни была утрачена или искажена переделками, а архитектурные обмеры и целенаправленная фотофиксация построек в ней никогда не проводились, за исключением глазомерного плана-схемы деревни и выборочной фотосъемки, выполненных во время инвентаризации архитектурного наследия Карелии в 1979 г., когда состояние архитектурного наследия Хайколя приближалось к настоящему.

Первым шагом в нашей работе стали сбор, оценка и анализ всех имеющихся иконографических материалов. Большая часть картографических материалов представляла собой схемы с не совсем точным местоположением построек, но точно воспроизводящие их количество и расположение относительно друг друга. Такие схемы, а также фотографии отдельных построек и фотопанорамы, большей частью любительские, послужили для восстановления размещения застройки на острове.

Был определен двухэтапный подход к воссозданию деревни-музея.

На первом этапе предполагается сохранение всех существующих построек и включение в структуру деревни двух новых домов-комплексов. Один из них строится с 2004 г. по проекту, разработанному по сохранившимся фотографиям, второй – дом Кузьмина, рекомендуется к воссозданию по заказу музея в качестве гостевого, а по своим архитектурным признакам – в качестве ключевого элемента в застройке поселения.

Второй этап развития музей будет связан с реализацией генерального плана деревни, воссоздающего ее историческую планировочную структуру в той степени, в какой это позволяют сделать имеющиеся иконографические документы. В зависимости от историко-архитектурной ценности, технического состояния и наличия документальных оснований для реставрации и воссоздания генеральным планом предусмотрена различная судьба существующих или существовавших, но утраченных построек деревни – сохранение в современном виде, сохранение в измененном виде (полная или частичная реставрация / реконструкция), сохранение до полной естественной амортизации, ликвидация до истечения срока амортизации, воссоздание.

Имеющиеся в нашем распоряжении документы, в том числе «портреты» домов, выполненные в результате перекрестного опроса местных жителей², позволили на плане второй очереди деревни-музея, а также на ее объемной модели обобщенно реконструировать группу жилых домов, воссоздающих прежний монументальный масштаб застройки, характерный для зодчества северных карел в период его расцвета в конце XIX – начале XX в. По всей видимости, именно такая архитектура служила фоном для развития сюжетных линий в романах О. Степанова.

Методика разработки проектов воссоздания жилых домов в условиях недостатка достоверной информации была показана в нашем исследовании на примере проектирования уже упоминавшегося дома Кузьмина.

Дом был утрачен в 1930-е гг., но его облик воссоздан на рисунке, сделанном О. Степановым по рассказам старожилов и собственным воспоминаниям. Судя по рисунку, дом-комплекс отличался от существующих ныне в деревне жилых построек, но по внешним признакам сходен с известными по разным источникам домами, распространенными в конце XIX – начале XX в. (на некоторых территориях и позднее) у собственно карел, а также в зонах их культурного влияния, например, в Сямозерье³. По объемно-планировочному решению такие дома являлись, как правило, «глаголями» с усложненной, пространственно развитой стыковой зоной между жилой частью (передней избой или избой и горницей) и двухэтажным двором-сараем, включающей встроенное дополнительное жилое помещение (боковую избу), амбары-кладовые («айто»), а также лестнично-коммуникационный узел. Традиции по строительству домов-комплексов такого типа зародились на племенной территории корелы в Северо-Западном Приладожье (отсюда и его название)⁴.

В рамках данной работы с целью обоснования выбора образцов для реконструкции дома Кузьмина были рассмотрены все известные иконографические аналоги. Среди них зафиксированные в конце XIX – начале XX в. Ю. Бломстедтом, В. Суксдорфом и И. К. Инха старинные дома в

деревнях Беломорской Карелии и сопредельных территорий – Лувозере, Минозере, Юшкозере, Ругозере, Кимасозере, Андроновой Горе, Ухте (Калевале), Мунанкилахти, Аконлахти, Шаповаре⁵, а также следы преобразований таких домов в сохранившихся постройках дер. Панозеро⁶.

В результате анализа 36 планов и фотографий домов-комплексов по характерным особенностям выявлено 20 домов «приладожского типа», в том числе «глаголей» – 13, «брусов» – 6, «кошель» – 1. При картографировании указанных типов домов определено тяготение их ареала к западу Северной Карелии, при этом в западной части ареала распространены «глаголи», а в восточной – «брусы». Это свидетельствует о том, что «глаголи» характерны для собственно-карельской территории, а «брусы» преобладают на ее восточной периферии, в зоне этнического сопоставления карел с русскими поморами и / или получили распространение в более поздний период.

Деревня Хайколя уверенно попадает в ареал «глаголей», что дает возможность рассматривать реконструируемый дом Кузьмина как типичный для данной территории и использовать известные по источникам «глаголи» как аналоги для конкретизации его объемно-планировочного решения. Рисунок О. Степанова позволил уточнить требования к аналогам и выбрать три наиболее подходящих, в соответствии с которыми были запроектированы экстерьер и внутренняя планировка дома.

С учетом того что дом будет являться гостевым, увеличено количество жилых комнат для сезонного и временного проживания постояльцев. Внутренние пространства двора и сарая приспособлены под новые функции (гараж, зал собраний с возможностью использования для устройства выставок). Такая модернизация интерьера стала возможной благодаря принципиальной установке проекта на отказ от «реставрационной мистификации»: новая постройка рассматривается не как воссоздание подлинного памятника истории и культуры, а лишь как обобщенно-символическая интерпретация местных архитектурных традиций, что правомерно применительно к Хайколя не только как к мемориальному музею.

Опыт Карелии показывает, что возрождение руинированных деревень чаще всего начинается с воссоздания копии сооружения, обычно храма, игравшего ключевую структурообразующую роль в планировке и застройке поселения. Такая узнаваемая копия воспринимается населением как символ возвращения к жизни умирающей деревни⁷. В Хайколя, где никогда не существовало культовых построек, было решено возложить роль такого заново воссоздаваемого символа на дом Кузьмина – типичное северокарельское жилище.

Надо отметить, что к настоящему времени в Северной Карелии не сохранилось ни одного дома подобного типа – этой карельской архитектурной классики, образы которой позволили известному финскому архитек-

тору А. Аалто сопоставить карельское зодчество по своему значению с эпосом «Калевала»⁸. Воссоздание дома Кузьмина в Хайколя даст возможность почувствовать монументальность, масштаб и развитую внутреннюю пространственность жилой постройки – все, что воплощает своеобразие северокарельской традиции. Такой объект, несомненно, заинтересует туристов и поможет осознать местным жителям свое великое архитектурное прошлое.

Деревню-музей Хайколя, являющуюся комплексным историко-архитектурным памятником, безусловно, необходимо рассматривать как единый, пространственно развитый объект, к которому применимы все современные требования, предъявляемые к научной реставрации. К числу таких требований относятся: абсолютная приоритетность связи с конкретным местом, характеризующим историко-мемориальный аспект реставрации; частичное сохранение подлинного материала (в нашем случае подлинных построек. – *Н. П.*), включение которого в новый комплекс способно его «освятить»; сохранение или интерпретация исторически сложившейся объемно-планировочной структуры, а также стилистических характеристик и форм памятников-предшественников, способствующих восприятию историко-мемориальной ценности воссоздаваемых объектов и их эстетических достоинств⁹. Продолжение проектных работ по этнолитературному музею в дер. Хайколя сможет развить и конкретизировать современные подходы к реставрации применительно к поселению-памятнику.

¹ Ниеминен С. Рунопевческие деревни Беломорской Карелии // Народное зодчество. Петрозаводск, 1998. С. 305–307.

² Автор благодарит топонимиста Д. В. Кузьмина, сотрудника ИЯЛИ КарНЦ РАН, проводившего интервьюирование местных жителей и зарисовки и любезно предложившего результаты своих изысканий для проектирования музея.

³ История и культура Сямозерья / Отв. ред. Орфинский В. П. Петрозаводск (в печати).

⁴ Орфинский В. П., Гришина И. Е. Генезис дома-двора в крестьянском зодчестве Карелии // Архитектурное наследие. Вып. 44. М., 2001. С. 71–72; Они же. Зодчество деревни Панозеро // Панозеро: сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2003. С. 232–251.

⁵ Blomstedt Y., Sucksdorff V. Karelska byggnader och ornamentala former. Helsinki, 1900; Ibidem. Karelske Gebaude und ornamentale former aus Lental – Russisch – Karelien. Helsinki, 1902; Inha I. K. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1906; Kaukonen V. Kansanrunon Kauko-Karjalaa ja Kalevalan synty. Porvoo, 1984; Paakkala A. Kylillä Karjalassa. Rakenuskirja. Hanko, 1985.

⁶ Гришина И. Е., Орфинский В. П. Традиционная застройка Панозера // Панозеро: сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2003. С. 276–279.

⁷ Гришина И. Е., Орфинский В. П. Кирка в Куркиеки – памятник памятнику архитектуры // Народное зодчество. Петрозаводск, 1999. С. 263.

⁸ Аалто А. Архитектура и гуманизм. М., 1978. С. 34–36.

⁹ Щенков А. С. Заключение: Совершенствование методики архитектурной реставрации // История и теория реставрации памятников архитектуры. М., 1986. С. 89–91.

О проектировании этноэкологических поселений в Карелии

Техногенный образ жизни создал многочисленные угрозы благополучию человечества, самому его существованию и продолжает создавать все новые и все более серьезные проблемы. В защите от агрессивной технократии, игнорирующей законы жизни, нуждается и сам человек, и его естественная среда обитания – природа. Решить проблемы сохранения природы и организации разумного взаимодействия человека с окружающей средой призваны экопоселения. Анализ современного опыта создания экопоселений позволяет в общем виде определить их характерные признаки.

Экопоселение – это населенный пункт, в котором каждая семья живет в собственном родовом поместье, находящемся в ее частной собственности. Размер земельного участка (как правило, от 1 до 2 гектаров) и его форма должны быть достаточны для полного самообеспечения семьи, по крайней мере, продуктами питания, и представлять собой целостную устойчивую самодостаточную и самовосстанавливающуюся экосистему, где реализуется принцип симбиоза человека и природы¹. Кроме родовых имений в экопоселении имеется необходимая инфраструктура, сооружения и территории общего пользования (школа, деловой центр, спортивные сооружения, культурные заведения, парки, хозяйственные сооружения и т. п.). Целесообразным считается организовывать поселения в пределах от 90 до 250 родовых поместий².

К настоящему времени более чем в 40 странах появилось свыше 200 экопоселений. В Российской Федерации, по состоянию на конец 2004 г., насчитывались 93 альтернативных поселения в 28 регионах страны. По некоторым данным, количество потенциальных жителей экопоселений составляет от 7,5 до 15 млн. россиян, 4507 семей зарегистрированы как землевладельцы родовых поместий. В среднем одно поселение имеет площадь 135 гектаров и количество семей (или поместий) – 20.

Организаторы экопоселений осознают себя создателями общины нового поколения – «экодеревни» или в более широком смысле – устойчивого в плане экологической безопасности альтернативного поселения.

Все многообразие экопоселений можно разделить на три типа: протопоселение, собственно поселение и мегапоселение³.

Под протопоселением понимается инициативная группа людей, которая стремится к созданию общины, уже имеет для этого землю и жилье. При этом из членов группы на месте постоянно живут несколько человек. Часть

инициативной группы большую часть времени проводит пока вне поселения. Протопоселением является, например, Нево-Эковиль в Карелии. Лидер Нево-Эковилля большую часть времени вместе с семьей проживает в районном центре Сортавала за 20 километров от поселения. Там же находятся офисы общественной организации «Нево-Эковиль» и фирмы «Мир», которая принимает активное участие в развитии Нево-Эковилля. Часть жителей этого поселения постоянно живет в нем, а часть покидает его на несколько месяцев. Количество постоянно живущих не превышает 11 человек. На сегодняшний день это единственное экопоселение в Карелии.

Собственно поселение – это община численностью в несколько десятков и не более трех сотен человек, ведущих информационно-аграрный (духовно-творческий, возможны и другие варианты названия) образ жизни. Несмотря на то что основную часть жизни ее члены проводят в общине, они социально и духовно активны, участвуют в общественной жизни за пределами общины. В противном случае это будет всего лишь традиционным сельским поселением.

Мегапоселение – альтернативное поселение, рассчитанное на многие сотни и даже тысячи людей. Это крупное экопоселение или территориально объединенная сеть экопоселений с развитой инфраструктурой и системой хозяйственного самообеспечения. Оно обладает системой общего ведения хозяйственной и социально необходимой деятельности (образование, здравоохранение) по разнообразным направлениям. В частности, мегапоселение имеет организационные, финансовые и бизнес структуры для организации предпринимательской деятельности, строительства инфраструктуры поселения, обеспечения работников социальной сферы, продвижения на внешний рынок продукции, собранной или изготовленной в поселении, и т. д.

Каждый феномен экопоселения уникален и имеет свою специфику. Среди поселений встречаются религиозные общины, сообщества родовых поместий, некоммерческие партнерства (НП), демонстрационные зоны энергоэффективного домостроения, экологические центры, Центр славянской культуры и ремесел, Центр для духовных и образовательных программ, НП приемных семей, НП природопользователей, Школа экологии, ремесел и искусств⁴.

Выбор места расположения поселения, как правило, сводится к двум вариантам: либо поля (бывшие сельскохозяйственные угодья), либо деревни – существующие или заброшенные. Часто, но вовсе не обязательно, рядом находится водоем – река, озеро. В большинстве случаев недалеко проходит ЛЭП, реже – газопровод. Встречаются населенные пункты с водопроводом и телефонизацией.

При проектировании экопоселения необходимо учитывать определенные требования к его пространственной организации. Экологически безопасный дом в границах родового поместья должен быть расположен таким образом, чтобы использовать минимальную площадь продуктивной земли, быть построенным из материалов, которые не имеют токсичного эффекта. Необходимо максимально выгодно использовать местные климатические условия для освещения, обогрева и вентиляции, сокращая таким образом потребление энергии.

Для преобладания природной среды над техногенной в поселке сохраняются естественные природные зоны. Желательно, чтобы все поселение в целом было окружено природной лесозащитной зоной, а расположение участков относительно друг друга предотвращало постоянные, сквозные воздушные продувы, что будет способствовать созданию своего микроклимата в поселении. Возможна, например, круговая организация общей формы поселения.

Кроме родовых поместий поселение должно обладать всей необходимой инфраструктурой современного поселения: общественной и производственной территорией, транспортными и инженерными коммуникациями. Желательно, чтобы геометрическое расположение участков влияло на минимизацию затрат по прокладке коммуникаций и дорог, особенно на сокращение длины дорог, следовательно, на удобство и скорость перемещения по поселку.

Существующие экопоселения далеко не все имеют своей целью возрождение и сохранение народной культуры. В связи с этим автором предлагается термин «экологическое этнопоселение» или «этноэкологическое поселение» для поселений, организуемых, как правило, на основе заброшенных или «живых» деревень. Цель таких поселений – возрождение экономического и социального положения деревни, а также искусств, ремесел, фольклора, архитектуры и традиций различных этнических групп населения, воспитание этнического самосознания, формирование личности нового поколения, которому предстоит жить в условиях новой духовно-информационной цивилизации. В этноэкологических поселениях не только при реконструкции, но и при новом строительстве должны возрождаться или по-новому прочитываться местные историко-архитектурные традиции, будь то особенности использования строительных материалов для строений, объемно-планировочные решения зданий или структура поселения, а может быть, и совокупность всех составляющих.

Проблема развития сельских поселений и использования при этом архитектурных традиций является на сегодня одной из главных задач профессионального зодчества.

Архитектурный ансамбль селения складывается из двух основных элементов: искусственно создаваемых объектов и природного ландшафта. Конечная цель реализации основных принципов архитектурной композиции в процессе формирования современного ансамбля села сводится к достижению его своеобразия, индивидуализации, возможно через «этнический колорит»⁵. Композиционная идея, заложенная в архитектурно-планировочную, зависит от места размещения поселка, его назначения и функций, положения в системе расселения и применения определенных типов зданий. Один из главных моментов в формировании композиционной идеи связан с установлением органичной связи с природным ландшафтом.

В результате исследований, проведенных на начальном этапе проектирования генплана экологического поселения «Родная земля» в Вепсской волости, автором были проанализированы исторически сложившиеся принципы планировочной организации вепсских поселений. Для сележных поселений вепсов характерна беспорядочная или рядовая форма плана с ориентацией жилищ «на лето» (на юг); для приводомных – прибрежно-рядовая форма с домами, расположенными вдоль береговой линии и ориентированными лицевыми фасадами на водоем или от водоема, а иногда – форма, не учитывающая структурообразующую роль береговой линии.

Южная ориентация в целом была приоритетна в вепсских поселениях, но в большой степени сочеталась с разнонаправленностью лицевых фасадов домов.

Главное своеобразие вепсских поселений заключается в трактовке рядовых и уличных структур с использованием взаимоперпендикулярной ориентации построек с формированием отдельных микроструктур, напоминающих фрагменты замкнутых планов. Впечатление замкнутости и обособленности частей деревни усиливает относительная независимость дороги и линии застройки. Локальные микроструктуры, которых в поселении могло сложиться несколько, появлялись как следствие обособления отдельных родственных групп или в результате «экологического» подхода: небольшие пространства были защищены от ветра, сомасштабны человеку, создавали ощущение психологического комфорта. Правда, у северных вепсов в Карелии локальные планировочные микрообразования встречаются лишь в порядке исключения⁶.

Что касается главных элементов композиции, доминирующих объемов в вепсских поселениях, то это были естественные высотные акценты – священные рощи с культовыми сооружениями, располагающиеся на периферии поселения (чаще северной). При этом храм играл подчиненную роль по отношению к кладбищенской роще⁷.

Обобщая изложенное, следует отметить, что вепские планировочные традиции очень хорошо отвечают требованиям, предъявляемым к планировке экопоселений. При проектировании этноэкологического поселения «Родная земля» конкретные приемы планировочных решений будут определены после обследования территории, отведенной под строительство, и дер. Залесье, на базе которой сформируется новое поселение.

¹ Геков А. Н. Пояснительная записка к отчету по теме: «Изучение возможностей организации строительства и обустройства экспериментальных экологически чистых поселений, состоящих из Родовых поместий» / ЗАО «Институт управления стоимостью». Кемерово, 2001.

² www.ekoland.brn.ru/files/info/RODOWOE.

³ www.eco-rus.com/text/poselenia/pos1.htm.

⁴ grishino.ecology.net.ru; ers.tarusa.ru; kitezh.nm.ru; new-life.newmail.ru/sotros; www.anastasia.ru; www.blagodan.nm.ru; www.eco-kovcheg.ru; www.eco-rus.com/text/poselenia/pos1.htm; RODOWOE; [rodnoe](http://rodnoe.ru); www.onego.ru/win/pages/nevo; www.podoli.ru; www.rural-russia.narod.ru; www.slavnoe.ru.

⁵ Гурулев О. К. Архитектура жилых и общественных зданий для села. М., 1988.

⁶ Гришина И. Е. Планировочные приоритеты в развитии традиционных сельских поселений Карелии // Архитектурное наследие. Вып. 44. М., 2001. С. 55–63; Орфинский В. П., Гришина И. Е. Крестьянские поселения и постройки // Прибалтийско-финские народы России / Вепсы. М., 2003. С. 382–383.

⁷ Орфинский В. П. Культурная архитектура вепсов // Современная вепсология: достижения и перспективы / Отв. ред. И. Ю. Винокурова (в печати).

БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ В ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКОМ РЕГИОНЕ

© *Е. И. Клементьев*
Петрозаводск

Языковое право, политика, практика

1. Законодательная защита языковых прав народов

Языковые права народов Российской Федерации защищаются на двух уровнях – федеральном и региональном.

Важнейшей особенностью закона «О языках народов РСФСР» (принят 20 октября 1991 г.) является признание нормы группового этнического права. Языковой суверенитет рассматривается как совокупность прав народов и личности на сохранение и всестороннее развитие родного языка независимо от их численности (ст. 2, п. 1, 2). Государство, признавая равные права народов на сохранение и развитие языков, охраняет равноправие языков народов законом (ст. 2, п. 4, ст. 3, п. 1), обеспечивает условия для изучения и преподавания родного языка (ст. 10, п. 1). По закону субъекты РФ наделяются правом принимать законы и другие нормативно-правовые акты на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ст. 3, п. 3). В этом отношении российский закон «идет в ногу» с рядом международно-правовых актов, защищающих групповые права, прежде всего права коренных народов и национальных меньшинств.

По Конституции РФ (принята 7 июня 1994 г.) основой федерального устройства страны является принцип равноправия и самоопределения народов. Право народов на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития гарантируется ст. 68, п. 3. В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации особо защищаются культурно-языковые интересы коренных малочисленных народов (ст. 69).

Еще дальше в расширении языковых прав граждан пошли разработчики закона РФ «Об образовании». Согласно ст. 6, п. 2 этого закона, «Граждане Российской Федерации имеют право на получение основного общего образования на родном языке». Таким образом, закон «Об образовании», устранив монополизм государства на социальный заказ школ, провозгласив правовую защиту национальных языков, не просто расширял, а предоставлял принципиально новые возможности реализации языковых ожиданий народов.

Культурно-языковые права народов и национальных меньшинств защищаются также рядом других законодательных актов Российской Федерации.

По словам известного российского ученого М. Н. Губогло, специалиста по проблемам законодательства в сфере этногосударственных и языковых взаимоотношений, РК проявляет особую заинтересованность в развитии норм национального права, ибо «без ключевых положений этого права... сохранение карел и их этничности действительно становится проблематичным»¹.

И это действительно так: с 1991 г. до настоящего времени в республике принято около 20 нормативно-правовых актов (законов, постановлений, распоряжений правительства, программ, концепций), непосредственно защищающих культурно-языковые интересы карел, вепсов и финнов Карелии.

Первую попытку ликвидации правовых лакун по защите культурно-языковых прав народов на законодательном уровне предпринял Верховный Совет РК на 23 сессии. 18 января 1994 г. был введен в действие закон «Об образовании». По закону в пределах своей компетенции республика наделялась правом самостоятельно осуществлять правовое регулирование в области образования (ст. 3, п. 2). Признавая сферу образования приоритетной, ст. 6, п. 2 предусматривала, что «Республика Карелия создает условия для получения образования на родном языке, а также на выбор языка обучения для представителей других национальных групп в рамках возможностей, предоставляемых системой образования».

После многократных дополнений статьи закона, защищающие культурно-языковые интересы народов, претерпели существенные изменения. Из закона исчезло положение о том, что республика создает условия для получения образования на родном языке. В настоящее время «Органы исполнительной власти Республики Карелия в области образования: разрабатывают и реализуют республиканские целевые программы развития образования с учетом национальных и

региональных социально-экономических, экологических, культурных, демографических и других особенностей Республики Карелия, устанавливающих региональные (национально-региональные) компоненты государственных образовательных стандартов» (ст. 2, п. 2). Последняя версия закона «Об образовании» предусматривает поддержку изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности (ст. 3).

Права народов и этнических групп на сохранение и развитие национально-культурной самобытности, восстановление и сохранение исконной среды обитания, а также сохранение национально-культурной самобытности коренных малочисленных народов (карел, вепсов) путем реализации республиканских и государственных программ, обеспечивающих их национально-культурное развитие, регламентируются ст. 17 закона «О культуре» (введен в действие 25 января 1995 г.).

По Конституции РК (принята 12 февраля 2001 г.), «В Республике Карелия народам, проживающим на ее территории, гарантируется право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития» (ст. 11, п. 2). Реализация этой правовой нормы отражена в ст. 21: «В Республике Карелия осуществляются меры по возрождению, сохранению и свободному развитию карелов, вепсов и финнов, проживающих на ее территории» и РК «устанавливает региональные (национально-региональные) компоненты государственных образовательных стандартов, поддерживает различные формы образования, способствует развитию науки» (ст. 29, п. 2).

Закон «О государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия» (принят 19 марта 2004 г.), гарантируя юридическую, социальную, экономическую защиту языков (ст. 2), предусматривает проведение комплекса мер по их сохранению, изучению, развитию и использованию (ст. 3). Это укрепление и расширение социально-культурных функций карельского, вепсского и финского языков; поддержка СМИ, использующих эти языки; организация системы обучения в образовательных учреждениях названным языкам; поддержка образовательных учреждений; издание различных учебных пособий, литературы, словарей на карельском, вепсском, финском языках; поддержка научных исследований по этим языкам. Закон предусматривает совершенствование системы подготовки кадров различного профиля, работающих «на языке», «с языком», «для языка». В законе сохранилось положение о праве получения основного общего образования на родном языке путем создания необходимого числа классов, групп и условий для их функционирования (ст. 5, п. 2).

2. Программное обеспечение языковых приоритетов

Важными шагами в решении возрожденческих задач стали: воссоздание вепсской и карельской письменности, возникновение сети школ с изучением карельского, вепсского, финского языков, разработка и издание серии учебной и учебно-методической литературы, активная подготовка преподавательских кадров, регулярные семинары учителей, преподающих национальные языки, научно-практические конференции и т. д. Кроме этого, за последние примерно 10 лет в республике был принят пакет других нормативно-правовых документов, направленных на сохранение и развитие языков карел, вепсов, финнов².

Первым из таких актов стала «Программа обновления и развития народной школы в Карельской АССР на 1991–1995 годы», одобренная коллегией Министерства образования республики.

Цель программы – формирование системы образования, **обеспечивающей укрепление позиций национально-русского двуязычия** (выделено мной. – *Е. К.*). Реализовать программу планировалось путем организации непрерывного изучения языков по схеме «ДЮУ – школа – вуз» и тем самым решить стратегическую задачу – укрепить национально-русское двуязычие как норму языкового поведения, что позволило бы достичь возвратного двуязычия, широко распространенного в среде прибалтийско-финских народов Карелии в послевоенные десятилетия.

Эта идеологема (представление) – достичь возвратного двуязычия – нашла дальнейшее развитие в «Концепции возрождения и развития языка и культуры карел, вепсов, финнов Республики Карелия» (утверждена СМ РК 23 декабря 1993 г.). В ней особо подчеркивалось, что так как семья перестала выполнять свою главнейшую этническую функцию – обеспечивать национально-культурную и языковую преемственность поколений, на плечи возрождающейся школы ложится огромная ответственность за языковое будущее народов. Переход к изучению ряда гуманитарных предметов на карельском, вепсском, финском языках расценивался как важнейшее условие, препятствующее культурной, языковой и этнической ассимиляции народов.

Цель Концепции развития финно-угорской школы (принята 25 апреля 1997 г.) заключалась в том, чтобы содействовать сохранению и развитию языков и культур карел, вепсов, финнов, на практике обеспечить функционирование финно-угорской школы в рамках возможностей, предоставляемых действующей системой образования. Изучение языков в школе было разделено на пять этапов (от 2 до 6 часов в неделю), обеспечивающих непрерывность наращивания этнокультурного и языкового потенциала учащихся.

Целевые программы «Этнокультурное образование в Республике Карелия» также ориентированы на создание условий для развития финно-угорской школы как основного звена в возрождении и развитии языков и культур карел, вепсов и финнов в рамках возможностей, представляемых действующей системой образования. Программы предусматривают разработку и апробирование содержания образования финно-угорской школы с учетом республиканского (национально-регионального) компонента федерального стандарта и примерных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

К закону «О государственной поддержке карельского, вепского и финского языков в Республике Карелия» (принят в марте 2004 г.) республиканским Госкомнацем была разработана и решениями Главы республики и Законодательного Собрания утверждена специальная программа мероприятий (2005 г.). Она предусматривает реализацию комплекса мер (ст. 3), которые создают условия для свободного владения карельским, вепским, финским языком.

3. Достижимо ли возвратное двуязычие?

При действующей системе образования, когда объем часов, выделяемый на реализацию федерального компонента государственного образования, составляет 85–95%, а на региональный компонент, в рамках которой изучаются нерусские языки, остается 10–15%, говорить о том, что массовое возвратное двуязычие достижимо, весьма проблематично. В настоящее время свободное владение карельским, вепским или финским языком обеспечивается лишь вузовской подготовкой.

Современная так называемая национальная школа работает не в соответствии с принятыми Конституциями РФ и РК законами о языках или об образовании, гарантирующими сохранение языков, а по приказу Министерства образования Российской Федерации от 9 февраля 1998 г., по которому изучение нерусских языков ведется в урезанных часах учебного времени. Из-за нечеткой федеральной языковой политики, когда общегосударственная и региональная образовательная политики альтернативны (декларируем одно, на практике имеем другое), опасные издержки в сохранении языков имеют тенденцию накопления. И об этом убедительно свидетельствуют данные двух последних переписей населения. Всероссийская перепись 2002 г. демонстрирует стремительно нарастающее увеличение доли карел, вепсов, финнов с родным русским языком: национальная принадлежность и родной язык совпадали только у 25,6% карел, 15,8% вепсов, 16,1% финнов. С 1989 по 2002 г. доля карел с родным карельским языком сократилась на 25,9%, среди вепсов – на 24,9%, финнов – на 21,4%. Причем удельный вес карел, вепсов, финнов с совпадающей на-

циональностью и родным языком сокращается значительно быстрее, чем численность этих народов. В 2002 г. языком своей национальности владели 48,4% карел, 40,8% финнов, 38% вепсов³.

Настанет ли время, когда проблемы сохранения народами языков и культур будут реально защищаться действующими Конституциями РФ и РК, принятыми федеральными и республиканскими законами? Судя по проекту Концепции государственной федеральной этнонациональной образовательной политики, ввиду доминирующей в ней тенденции к унитаризму и унификации, многим народам РФ, в том числе карелам, вепсам и финнам, серьезно рассчитывать на сохранение этнической культуры и языковой самобытности едва ли придется.

¹ Губогло М. Может ли двуглавый орел летать с одним крылом? Размышления о законотворчестве в сфере этногосударственных отношений. М., 2000. С. 45.

² См. подробнее: Клементьев Е. И. Правовая защита национальных интересов: миф или реальность? // Сеть этнического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. Бюллетень. Ноябрь–декабрь. 2001. С. 32–39; Он же. В поисках правовой защиты культурно-языковых интересов карел, вепсов, финнов Республики Карелия. Серия «Права человека и законодательство о языках в субъектах Российской Федерации». М., 2003.

³ Национальный состав населения Республики Карелия по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. Петрозаводск, 2005. С. 27–28.

© R. Grünthal
Helsinki (Finland)

Itämerensuomalaisten kielten muutos suomalais-ugrilaisen kielikunnan periferiassa

Прибалтийско-финские языки
на финно-угорской языковой периферии

В прибалтийско-финских языках, которые являются близкородственными, лексическое и грамматическое подобие считается очевидным. Это сходство отличает их от всех прочих финно-угорских языков. По этой причине при проведении сравнения с другими финно-угорскими языками исследователи прибалтийско-финской группы уделяют намного больше внимания общим чертам, нежели различающим.

В основе изучения различий между языковыми группами в рамках одной языковой семьи, например, между саамскими, прибалтийско-финскими и пермскими языками, как правило, лежит сравнение языков. Однако, как предполагается, важную роль при формировании прибалтийско-финских языков в особую группу финно-угорской ветви сыграли языковые контакты. Объектом исследования в этом случае оказываются не только родственные языки, которым в силу общего

происхождения свойственно лексическое и грамматическое сходство, но и языки, генетически не связанные с описываемыми языками, но находящиеся с ними в одной контактной зоне.

Помимо естественных внутриязыковых изменений в прибалтийско-финских языках закрепляются также изменения, возникшие в результате языковых контактов. Внутриязыковые изменения могут способствовать расподоблению языков. Кроме того, внутриязыковые изменения могут быть очень похожими, даже одинаковыми, хотя известно, что эти процессы протекали в каждом из рассматриваемых языков независимо, например, упрощение конца слова и системы словоизменения. На характер языковых контактов влияют также индивидуальные особенности языков, находящихся в зоне контактирования. Несмотря на то что в контактной зоне, по последним научным данным, не существует четких границ, складывается впечатление, что влияние современных индоевропейских языков направлено, помимо лексики, больше на функциональные границы морфосинтаксиса, нежели на морфологическую суть.

В статье рассматриваются явления, объединяющие прибалтийско-финские языки в отдельную группу на финно-угорской языковой периферии, а также факторы, повлиявшие на возникновение различий между этими языками.

1. Itämerensuomalaiset kielet ovat suomalais-ugrilaisen kielten läntinen haara ja niiden puhuma-alue ulottuu saamelaiskielten tavoin luoteisten indoeurooppalaisten kielten eli balttilaisten ja etenkin germaanisten kielten lähialueille. Suomalais-ugrilaisuus erottaa itämerensuomalaisia kieliä nykyisistä ja esihistoriallisen ajan balttilaisista, germaanisista ja slaavilaisista kielistä. Se yhdistää itämerensuomalaiset kielet maantieteellisesti kauempaan idässä puhuttaviin kieliin ja niiden puhuma-alueisiin. Ajallisesti yhteys on vuosituhsien ikäinen. Vuosituhsien aikaisen kehityksen aikana monet muutokset ovat tuoneet itämerensuomalaisia kieliä lähemmäksi niiden indoeurooppalaisia naapurikieliä, mikä näkyy etenkin sanastossa. Suomalais-ugrilaisen kielten keskinäinen erilaisuus on lisääntynyt, mutta erilliskehityksestä voi myös löytää piirteitä, jotka vahvistavat suomalais-ugrilaisille kielille tyypillisenä pidettyjä ominaisuuksia tai muutoksia, jotka liittyvät niiden suomalais-ugrilaiseen taustaan. Tarkastelen tässä kirjoituksessa itämerensuomalaisia kieliä nimenomaan tästä näkökulmasta.

Kun itämerensuomalaisten kielten vertailukohteena ovat muut suomalais-ugrilaiset kielet, niiden maantieteellinen ja rakenteellinen läheisyys on eräitä ääritapauksia lukuun ottamatta niin ilmeistä, että perusaksiooma läheisistä sukukielistä on helppo uskoa. Nykyään erot korostuvat kielisosiologisessa ympäristössä, mutta en tässä yhteydessä puutu siihen lähemmin. Lisäksi eteläisimmät itämerensuomalaiset kielimuodot eteläviro eli võrun kieli ja liivi ovat pohjoisten itämerensuomalaisten kielten kannalta niin erilaisia, että yhdistävien piirteiden löytäminen on vaikeampaa kuin maantieteellisesti lähemmistä kielistä.

Silti ei toistaiseksi ole osoitettu sellaisia piirteitä, jotka yhdistäisivät joi-
tak in itämerensuomalaisia kielimuotoja enemmän saamelais- tai mordva-
laiskieliin kuin muihin itämerensuomalaisiin kielisiin. Itämerensuomalaisten ja
saamelaiskielten myöhäisiä kosketuksia ja varsinkin Ääninen–Laatokka–Sai-
maa–Päijänne linjalta pohjoiseen alkavaa, saamelaisperäisen nimistön todis-
tamaa substraattia lukuun ottamatta itämerensuomalaisten ja saamelaiskielten
ja itämerensuomalaisten kielten ja mordvalaiskielten välisen suhteen
selittäminen edellyttää näiden alaryhmien käsittelyä omina kokonaisuuksinaan:
saamelaiskieliä yhtenä haarana, itämerensuomalaisia kieliä toisena ja
mordvalaiskieliä kolmantena. Toisin sanoen esimerkiksi suomen, karjalan tai
vepsän saamelaisperäinen paikannimisubstraatti ei kerro lähemmästä
geneettisestä suhteesta, vaan siitä, että ne ovat keskenään kontaktikieliä ja jot-
kin sanaston ja nimistön yhtymäkohdat johtuvat kielikontakteista. Paikannimi-
ja substraattitutkimus on ollut viime vuosina itämerensuomalaisten kielialueen
varhaisvaiheiden tutkimuksen viireimpiä suuntauksia. Tulokset ovat vahvista-
neet käsitystä siitä, että keskinäisten kontaktien selvittäminen on tärkeä osa
niiden välisten suhteiden kartoittamista.

Siihen listaan, joka tekee itämerensuomalaisista kielistä itämerensuomalaisia,
kuuluu lukuisia kielen ulkoisessa olemuksessa, siis sekä sanastossa että rakenteessa,
näkyviä samankaltaisuuksia. “Suomalais-ugrilaista kieliperimää”, kuten Eeva Kan-
gasmaa-Minn kuvasi itämerensuomalaisten kielten vanhinta tunnettua taustaa,
täydentää siis “itämerensuomalainen kieliperimä”. Sille on ominaista vanhinta
suomalais-ugrilaista ainesta selvästi myöhempi kerrostuma. Siinä limittyvät toisaalta
vanhan suomalais-ugrilaisen aineksen jäsentyminen itämerensuomea yhdistäväksi
järjestelmäksi, toisaalta yhteisten innovaatioiden tulo tai arkaismien säilyminen.

Kun itämerensuomalaista kieliperimää arvioidaan, looginen johtopäätös on,
että yhtäläisyydet johtuvat siitä, että ne ovat peräisin yhteisestä kantamuodosta.
Oletus kantasuomesta (usein myöhäiskantasuomi-nimisenä) perustuu juuri tähän
päätelmään. Kun puhutaan kielen muuttumisesta sekä esihistoriallisten kielimu-
otojen rekonstruoinimisesta, on kuitenkin syytä muistaa, että nekään eivät diak-
ronisesti tarkasteltuna voi olla staattisia. Voidaan olettaa, että kielessä tapahtuvat
muutokset usein ovat tai voivat olla toisten muutosten aiheuttamia, kuten esi-
merkiksi morfologisen synkretismin eli taivutushomonymian eliminoiminen ja
analogisten muotojen leviäminen. Nykyään tunnetut itämerensuomalaiset kielet
ja niiden varhaiseksi kantamuodoksi rekonstruoitu kantasuomi tulee tällöin
nähdä jatkuvassa muutoksessa olevina järjestelminä, joihin vaikuttavat kielen
omat muutosmekanismit ja kielikontaktit. Muutokseen vaikuttavat tekijät voivat
olla hyvin eri-ikäisiä. Itämerensuomalaisissa kielissä näkyvien muutosten kiin-
nekohtia ovat siten kunkin kielen erilliskehityksen aika, kantasuomalainen aika ja
sen takana oleva suomalais-ugrilainen aika.

Arvioin seuraavassa lähemmin kolme itämerensuomalaisten kielten nominikielioppiin liittyvää morfologista ja syntaktista ominaisuutta edellä luonnostellun, jatkuvaa muutosta ilmentävän diakronian näkökulmasta: 1) kieliopillisten sijojen eli nominatiivin, genetiivi-akkusatiivin ja partitiivin funktioita, 2) paikallissijojen kehitystä ja 3) possessiivisuffiksien muuttumista.

2. Itämerensuomalaisten kielten lauseopin silmiinpistäviä erikoisuuksia on se, että kaikki kolme kieliopillista sijaa, nominatiivi, genetiivi-akkusatiivi ja partitiivi voivat tietyin ehdoin esiintyä sekä subjektin että objektin asemassa. Nominatiivi on ensisijainen subjektin sija, mutta genetiivi-akkusatiivi ja partitiivi ovat ensisijaisesti objektin sijoja. Itämerensuomessa on siten kehittynyt varsinkin objektin sijojen osalta omalaatuinen systeemi, vaikka tosin mordvassa ja jossakin määrin saamessa on tapahtunut samansuuntaista kehitystä.

Käsitys suomalais-ugrilaisen kantakielen kieliopillisten sijojen olemuksesta on paljon hypoteettisempi kuin itämerensuomalaisten kielten. Havainnollistan kuitenkin itämerensuomalaisten kielten ja suomalais-ugrilaisen kantakielen (*SGR) kieliopillisten sijojen välistä eroa ja käyttöä subjektin (S) ja objektin (O) asemassa seuraavalla kuviolla. Viime mainitussa nominatiivin (päätteetön), genetiivin (*-n) ja akkusatiivin (*-m) oletetaan tavallisesti olleen tehtäviltään paljon selvärajaisempia kuin itämerensuomessa. (Käytän tässä yhteydessä pikemmin termiä itämerensuomi kuin kantasuomi, koska kyse on ensisijaisesti nykyisiä itämerensuomalaisia kieliä synkronisella tasolla yhdistävistä kielitypolologisista ominaisuuksista.)

*SGR	S	O
nom		
gen		
akk		

IMS	S	O
nom		
gen-akk		
part		

Tärkein ero on siis se, että itämerensuomessa samat sijat ovat käytössä sekä subjektin että objektin asemassa. Tämä tilanne näyttää vaikuttaneen siihen, että objektin sijamerkintä on ollut muutoksen alaisena myös itämerensuomalaisten kielten erilliskehityksen aikana. Huomattakoon, että genetiivi-akkusatiivin ja partitiivin työnjako objektin sijana on vienyt itämerensuomalaisia kieliä eri suuntiin. Vepsässä genetiivi-akkusatiivivia käytetään objektin sijana toisinaan myös sellaisissa tapauksissa, jotka muissa itämerensuomalaisissa kielissä saavat partitiiviobjektin. Virossa taas partitiiviobjekti ja verbiadverbit näyttävät valtaavan tilaa genetiivi-akkusatiivilta. Liivissä nominatiivin ja genetiivi-akkusatiivin välinen morfologinen ero on vähentynyt.

3. Lokaaliset sijat ovat usean suomalais-ugrilaisen kielen tunnusmerkki. Itämerensuomessa on kaksi paikallissijasarjaa, sisä- ja ulkopaikallissijasarja. Jälkimmäinen on oletettavasti ollut myös liivin esimuodossa, vaikka se kirjallisesti dokumentoidusta liivistä puuttuukin. Paikallissijasarjoja yhdistää se, että sekä paikallissijan lajia (sisäpaikallissijojen *-s*-tunnus ja ulkopaikallissijojen *-l*-tunnus) että morfosyntaktinen ominaisuutta (tulo-, olo- tai erosija) ilmaiseva morfeemiaines on yhteinen. Kieliopillisten sijojen tavoin myös itämerensuomen sisäpaikallissijoilla on paralleeli mordvassa. Ulkopaikallissijojen historia on toistaiseksi hämärämpi.

<i>puu-h-un</i>	<i>puu-l-le</i>	<i>taivaa-s-een</i>	<i>taivaa-l-le</i>
<i>puu-s-sa</i>	<i>puu-l-la</i>	<i>taivaa-s-sa</i>	<i>taivaa-l-la</i>
<i>puu-s-ta</i>	<i>puu-l-ta</i>	<i>taivaa-s-ta</i>	<i>taivaa-l-ta</i>

Historiallisesti sisä- ja ulkopaikallissijasarjan oletetaan olleen sikäli vielä lähempänä toisiaan, että morfosyntaktista ominaisuutta ilmaiseva morfeemi olisi kummassakin sarjassa identtinen (tulossijassa *-(e)n*, olosijassa *-nA*, erosijassa *-tA*).

Itämerensuomessa näkyy suomalais-ugrilaisille kielille ominainen, paikallissijojen taipumus jäsentyä paradigmaattisiksi osajärjestelmiksi, toisaalta sijojen rakenteessa ilmenevä kaksimorfisuus. Mutta myöskään kahden paikallissijasarjan kannalta itämerensuomalainen yhteisaika kattaa vain osan kehityksestä: alkupiste on kauempana menneisyydessä, ja sen selvittämiseen tarvitaan muiden suomalais-ugrilaisien kielten avaamaa näkökulmaa muutosmekanismeihin. Tällä tavalla voidaan paremmin ymmärtää itämerensuomalaisten kielten paikallissijojen käytössä ja rakenteessa synkronisella tasolla ilmeneviä eroja.

4. Kolmas nominativutuksessa laajempaa osajärjestelmää koskeva ja itämerensuomalaisten kielten kehitystä eri tavoin kuvaava kategoria ovat possessiivisuffixit. Nykysuomen kaltaisen järjestelmän oletetaan kuuluneen kaikkien itämerensuomalaisten kielten varhaisempaan kehitykseen. Esimerkiksi vanhan kirjaviron ja kansanrunokielen perusteella on ilmeistä, että virossa on aikaisemmin ollut possessiivisuffikseja, vaikka ne nykykielestä puuttuvat. Se, että possessiivisuffiksien reliktejä voidaan löytää myös niistä itämerensuomalaisista kielistä, joiden nykymuodoista ne puuttuvat, ei suomalais-ugrilaisessa kontekstissa kuitenkaan ole ainoa eikä diakronisen kehityksen kannalta välttämättä tärkein yhdistävä piirre.

Numeruksen ilmaiseminen ei itämerensuomalaisten kielten possessiivisuffikseissa ole yhtä monikäyttöistä kuin lähes kaikissa muissa suomalais-ugrilaisissa kielissä. Joko etäisemmissä sukukielissä on yksikön ja monikon lisäksi kaksikko eli duaali, kuten saamelaiskielissä, obinugrilaisissa kielissä ja samojedikielissä, tai sitten suffiksaalista monikkoa voidaan käyttää sellaisissa nominien taivutusmuodoissa, joissa se ei itämerensuomessa esiinny. Itämerensuomessa possessiivisuffiksien avulla voidaan osoittaa vain omistajan yksikkö ja monikko, ei omistetun monikollisuutta. Esimerkiksi mansissa omistajan ja omistetun luvun erottaminen perustuu johdonmukaiseen morfeemien agglutinaatioon, minkä avulla voidaan tehdä ero yksikön, duaalin ja monikon välillä. Suomessa *talo-ni* voi merkitä yhtä hyvin ‘yksi taloni’, ‘kaksi taloani’ tai ‘monta taloani’ ja on siis omistetun lukua ajatellen synkretistinen.

Edellä mainitun itämerensuomen possessiivisuffiksien omistetun luvun ilmaisemisen pelkistymisen lisäksi possessiivisuffiksit näyttävät itämerensuomessa ylipäätään olevan ilmeisen epäproduktiivin kategoria. Äärimmäistapauksia ovat viro, mukaan lukien võru eli eteläviro sekä liivi, joista possessiivisuffiksit ovat jo kadonneet. Myös suomessa ekspansiivinen pääkaupunkiseudun puhekieli eroaa possessiivisuffiksien käytön osalta normitetusta kirjakielestä, ja viimeaikaiset tutkimustulokset kertovat, että niitä käytetään omistusrakenteissa vähemmän ja vähemmän. Edelleen vaikka possessiivisuffikseista voi löytää enemmän esimerkkejä vanhasta suomalaisesta kansankielestä ja vastaavasti vatjasta ja karjalasta, ei niillä selvästikään ole samanlaista merkitystä kuin esimerkiksi marissa ja permiläisissä kielissä, jossa possessiivisuffiksit ovat erittäin tärkeitä lauseen teemaattisen rakenteen ja määräisyyden ilmaisijoita, eivät pelkästään omistajan ja omistetun persoonan ja luvun. Niissä possessiivisuffikseja käytetään vastaavien kerronnallisten ja lauseensisäisten viittaussuhteiden osoittamiseen, mihin itämerensuomessa käytetään mm. pronomineja.

Se reduktio, joka ensi silmäyksellä jakaa itämerensuomalaiset kielet kahteen ryhmään – niihin, joissa possessiivisuffikseja esiintyy, ja niihin, joista se puuttuu – asettuu suomalais-ugrilaisessa kontekstissa osaksi pitkäaikaisempaa muutosta. Myöskään tässä tapauksessa kantasuomi ei mitä ilmeisimmin ole se muutoksen taso, josta kehitys lähtee liikkeelle, vaan välivaihe pitkässä ketjussa.

5. Verbikieliopin ja verbitaivutuksen puolelta voitaisiin esittää vastaavia tapauksia, joissa itämerensuomi näyttää ensi silmäyksellä erottuvan muista tai ainakin suurimmasta osasta muita suomalais-ugrilaisia kieliä omaksi ryhmäkseen, mutta jotka pitkällä aikavälillä liittyvät kielen muuttumiseen ja suomalais-ugrilaisen kielimuodon kehittymiseen itämerensuomalaiseksi. En kuitenkaan tässä yhteydessä laajenna tarkasteluani verbikielioppiin, enkä muihin nominikieliopin alueisiin. Pää-tarkoitukseni on ollut nostaa lyhyesti esille kysymys kielen muutoksen dynaamisuudesta ja kieliopin uusiutumisesta. Kun arvioidaan itämerensuomalaisten

kielten kehitystä suomalais-ugrilaisen kielikunnan länsireunalla, on toisaalta otettava huomioon niitä yhdistävät tekijät, mutta toisaalta kiinnitettävä huomiota myös niissä tapahtuvien muutosten eri-ikäisyyteen.

Lopuksi tuon esiin vielä senkin mahdollisuuden, että kielessä voi tapahtua myös muutoksia, jotka itse asiassa kehittävät niitä lähemmäs alkuperäistä tyyppiä. Tällainen muutos näyttää tapahtuneen vepsän taivutusmorfologiassa. Vepsässä on itämerensuomalaisista kielistä ylivoimaisesti vähiten morfofonologista vaihtelua. Taivutusmorfologia perustuu siihen, että vartalomorfeemiin liitetään vakiintuneessa järjestyksessä kieliopillisia ja johdinmorfeemeja. Tällaista typologista agglutinaatiota pidetään vanhana suomalais-ugrialaisten kielten ominaisuutena. Se ei välttämättä vähennä vepsän itämerensuomalaisuutta eikä tuo sitä lähemmäs suomalais-ugrialaista kantakieltä. Mutta myös tämänsuuntainen typologinen muutos perustuu epäilemättä siihen, että ne ovat kielen kannalta mahdollisia, ehkä tarkoituksenmukaisiakin.

© J. Õispuu
Tallinn (Estonia)

Kaunokirjallisuus kirjakielen elvyttämisen prosessin osana (aunuksenkarjala)

Художественная литература
как компонент возрождения национального языка
(на примере ливвиковской литературы)

Возрождение литературного языка имеет две стороны: отправные точки теоретического возрождения и способы применения теории на практике. Роль художественной литературы в процессе возрождения и развития литературного языка часто при рассмотрении языковых вопросов, к сожалению, остается в тени.

Начиная с 1990-х гг. культивировалась в основном исконно ливвиковская и переводная литература. Национальная литература всегда и везде играла значительную роль в возрождении и развитии литературного языка.

С точки зрения молодого возрожденного литературного языка у переводной литературы существенная цель: убедить говорящих на этом языке в том, что на их родном языке можно как грамматически, так и лексически создавать разнообразнейшие тексты. В 1990-х гг. возрожденная ливвиковская переводная литература в этом смысле не является исключением. Ливвиковские писатели переводят не только с русского, но и с финского языка.

Как корни народа, так и его будущее одновременно присутствуют в народной поэзии. Такая ситуация сложилась и в Карелии: в 1990-х гг. было издано много книг, посвященных карельской народной поэзии. Одни из этих произведений относятся к литературе, другие – к науке. В то же время черты народной поэзии

можно заметить в творчестве многих ливвиковских писателей. Природа Карелии, ее красота, чистота и девственность являются наиболее распространенными мотивами в ливвиковской поэзии. Влияние природной поэзии встречаем повсюду, ведь любовь к родным краям, языку и культуре можно выразить только традиционными выразительными средствами языка.

Важный вклад в издание художественной литературы на карельском языке внесла газета «Ома муа». В 1990–2004 гг. на страницах газеты было опубликовано 1019 оригинальных стихотворений 109 писателей. В список десяти лучших авторов, по данным газеты «Ома Муа», входят Зинаида Дубинина (137 стихов), Александр Волков (76), Вася Вейкки (Василий Иванов) (75), Мииккул Пахомов (59), Владимир Брендоев (53), Клавдия Алексеева (53), Пекка Вахроев (36), Ольга Мишина (27), Прасковья Федорова (26) и Зина Трошина (26).

Наряду с периодическими изданиями художественная литература является одним из важнейших инструментов, с помощью которого введенные комиссиями новшества и утвержденные языковые нормы и новые слова доходят до народа.

Suomalainen tutkija Aulikki Jalava on monografiansa “Kansallisuus kadoksissa. Neuvosto-Karjalan suomenkielisen epiikan kehitys” saatesanoissa todennut: “Tarttuessani 70-luvun lopulla Neuvosto-Karjalan kirjallisuuden aihepiiriin en voinut arvata, että maailmanpolitiikan muutos tekisi karjalaisesta ja inkeriläisestä kirjallisuudesta niin kiinnostavan kuin nyt on osoittautunut” (Jalava 1990: 11). Sama pätee minun kohdallanikin: muistaakseni tutustuin Karjalan kirjallisuuteen jo koulupoikana Saarenmaalla kotikaupungissani Kuussaassa, josta silloin oli lehtikioskilta mahdollista ostaa Punalippu-aiakauskirjan. En puhunut suomea ja luin “Punalipusta” lähinnä lyhyempiä juttuja. Mutta muutamat Karjalan kirjailijoiden nimet jäivät muistiini. Sen lisäksi karjalaisten kirjailijoiden teoksia oli ja on vironnettuinkin (ks. Öispuu, 2003: 509–512.).

Mainitsemani A. Jalavan tutkimus on kirjoitettu 1980-luvun loppupuoliskolla, jolloin karjalan kielen ja kulttuurin elvyttäminen olivat vasta suunnitteilla. 1990-luvulta lähtien karjalan kielen ja kulttuurin kehityksessä on tapahtunut paljon, jota v. 1990 ei vielä voinut ajatellakaan.

Kielen elvyttämisellä on kaksi tahoja: elvyttämisen teoreettiset lähtökohdat ja teoriaa käytäntöön soveltavat toimenpiteet. Kaunokirjallisuuden rooli kielen elvyttämisprosessissa ja kehityksessä jää usein valitettavasti kielikysymyksen käsittelyn varjoon. Siksi haluankin esitelmässäni kiinnittää huomiota kirjallisuuteen.

Venäjänsuomalaisella termillä *карельская литература* on kaksi merkitystä, laajempi ja kapeampi. Laajemmassa merkityksessä *карельская литература* on maantieteellinen käsite ja tarkoittaa Karjalan kirjallisuutta, Karjalassa luotua kirjallisuutta sen kieltä huomioon ottamatta. Kapeammassa merkityksessä *карельская литература* on karjalainen kirjallisuus. Karjalainen kirjallisuus ei

kuitenkaan tarkoita automaattisesti karjalankielistä kirjallisuutta. Karjalainen kirjallisuus voi olla joko venäjän-, suomen- tai karjalankielistä. Näin ollen vieraalaissyntyiset klassikot Antti Timonen, Nikolai Laine, Ortjo Stepanov, Jaakko Rugojev ja Pekka Perttu loivat Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä merkkiteoksensa suomeksi, vaikka Timosen ja Laineen 1930-luvun tuotannosta löytyy karjalankielisiäkin esimerkkejä. Heidän tuotantonsa edustaa karjalaisuutta suomeksi. Karjalassa on nykyäänkin venäjäksi kirjoitettavia karjalaisia ja suomalaisia. Useat kirjailijat ovat kirjoittaneet ja kirjoittavat sekä venäjäksi että suomeksi.

Termillä *литература Карелии* on selvästi maantieteellinen merkitys ja se viittaa konkreettisesti Karjalassa luotuun kirjallisuuteen. Vuosina 1994–2000 Karjalan Tasavallassa julkaistun 3-osaisen kirjallisuushistorian otsikkona on *“История литературы Карелии”* (“Karjalan kirjallisuuden historia”) (Karhu, 1994; Alto, 1997; ILK, 2000). Näin ollen kirjallisuushistoria viittaa Karjalassa syntyneeseen venäjän-, suomen-, karjalan- ja vepsänkieliseen kaunokirjallisuuteen. Termi *karjalankielinen kaunokirjallisuus* liittyy taas aunuksen-, vienan-, lyydin- sekä tverinkielisen kirjallisuuden. 1990-luvulta lähtien on eniten viljelty aunuksenkielistä alkuperäistä ja käännöskaunokirjallisuutta. Tämä esitelmä keskittyy tarkemmin aunukselaiseen kaunokirjallisuuteen.

Kansalliskielisellä kirjallisuudella on kielen elvyttämisen ja kirjakielen kehityksen kannalta merkityksellinen rooli. Useimpien eurooppalaisten kirjakielten (muitten joukossa viron ja suomen) varsinainen alku sijoittuu luterilaisuuden ja sen mukaan kansankielisen hengellisen kirjallisuuden syntyyn 1500-luvun alkupuoliskolla, jolloin ns. luterilaisissa maissa ilmestyivät ensimmäiset kansankieliset kirjat. Kirjakielen ensimmäisenä lähteenä on joko katekismus, runokirja, evankeliumi, Uusi Testamentti, koko Raamattu tai aapinen. Ortodoksisten karjalaisten kohdalla päti noin kaksi ja puolisataa vuotta myöhemmin sama säännönmukaisuus: vanhimpana tunnettuna karjalankielisenä painetun sanan muistomerkkinä on v. 1820 julkaistu Matteuksen evankeliumi tverin murteella. 1890-luvun lopun ja 1900-luvun alun evankeliumien käännökset karjalan kielelle jatkoivat traditiota. 1990-luvun saavutuksina on mainittava v. 1995 ilmestynyt *“Biblii lapsile”* (BL, 1995) ja Raamatun kääntäjien suurtyönä ilmestynyt *“Uuzi Sana”* vuodelta 2003 (US, 2003). Vuosisatojen kuluessa Uuden Testamentin tai koko Raamatun käännöksiä olemassaolosta on tullut tavallaan kirjakielten kehitysvoiman ja jatkuvuuden mittapuu: ovathan Raamatun käännökset panneet alulle eurooppalaisen käännöskirjallisuuden perinteen. Myöhemmin käännöskaunokirjallisuus on ollut ja on siltana eri kansojen maailmankuvan, ajattelun ja kulttuurien välillä.

Nuoren elvytetyn kirjakielen kannalta käännöskirjallisuudella näyttää kuitenkin olevan vielä yksi oleellinen tavoite: saada kielen puhujat vakuutuneiksi siitä, että heidän äidinkieltensä pystyy rakenteellaan ja sanastollaan ilmaisemaan mitä erilaisimpia tekstejä. 1990-luvulla elvytetty aunukselainen käännöskirjallisuus ei siinä mielessä ole poikkeuksellista. Kaikki karjalaiset ovat lukeneet venäläisiä klassikkoja ja nykykirjallisuutta venäjäksi peruskoulusta asti. Kuitenkin jo Vladimir Brendojevista lähtien aunukselaiset literaatit ovat alkuperäisen tuotantonsa ohella kääntäneet venäjänkielistä runoutta ja lyhyttä proosaa ikään kuin todistaakseen itselleen, aunuksen kirjakielen elvyttämisen moittijoille sekä kirjakielen elinvoimasta empiville, että aunus on ilmaisekinoiltaan tasavertainen muitten kirjakielten joukossa. Esimerkiksi venäläisten runoilijoiden tuotannon käännöksiä sisältyy Aleksandr Volkovin *“Pieni Dessoilu”* -kokoelmaan (Volkov, 1997: 36–65). Käännöksiä venäjistä on myös Vas’a Veikin kokoelmassa *“Eloksen dorogat”* (Veikki, 2003: 81–89). Muutamat aunukselaiset kirjailijat kirjoittavat sekä venäjäksi että karjalaksi: kaksikielisen runokokoelman *“Вечный огонь. Iguine tuli”* (Volkov, 2000) on julkaissut Aleksandr Volkov. Häneltä on ilmestynyt myös venäjänkielinen kokoelma *“Поздняя осень”* (“Myöhäinen syksy”) (Volkov, 2003b). Venäjänkielisenä ovat aloittaneet runoilijan uransa Vas’a Veikki ja jotkut muutkin tämän päivän runoilijat Karjalassa. Ensimmäiset runonsa kirjoitti venäjäksi aikoinaan myös aunukselainen klassikko Vladimir Brendojev.

V. 2001 Aleksandr Volkovilta ilmestyi runokäännöksiä kokoelma *“Vellen suvain”*, johon on liitetty runokäännöksiä 67 runoilijalta 1700-luvulta 2000-luvulle asti (Volkov, 2001).

Venäjän ohella aunukselaiset ovat kääntäneet suomesta. Esimerkiksi Zinaida Dubininan kokoelmaan *“Valgei koivikko”* sisältyy käännöksiä “Kalevalasta”, “Kantelettaresta”, Eino Leinolta ja Hilikka Kajarrolta (Dubina, 2003: 66–75).

Proosan puolella käännöskirjallisuuden merkittävin edustaja on Pjotr Semjonov. Häneltä on ilmestynyt lyhyen proosan valikoima *“Ildaizen vuottajes”* (Sem’onov, 2001). Tässä kohtaa on mainittava, että proosakäännökset aunuskarjalaksi ovat rajoittuneet lyhyen proosan käännöksiin.

Käännöskaunokirjallisuuden osuutta kirjakielen kehittämisessä ei saa aliarvioida. Käännökset kirjallisuuden puolella ovat verrattavissa kontrastiivistutkimuksiin lingvistiikassa: kääntäjän on hyvin tunnettava sekä lähde- että kohdekieli. Sanaston rikastuttamisen rinnalla kääntäminen lisää ja vakiinnuttaa kielen tuntemusta.

Sekä jokaisen kansan juuret että tulevaisuus yhtäkaa ovat kansanrunoudessa. Samaa periaatetta on noudatettu myös Karjalassa: 1990-luvulla on

julkaistu useita kirjoja, jotka liittyvät karjalaiseen kansanrunouteen. Toiset teoksista liittyvät kirjallisuuteen, toiset tieteeseen.

Samalla kansanrunouden piirteet ovat havaittavissa useimpien aunukselais-ten kirjailijoiden tuotannossa. Karjalan luonto, sen kauneus, puhtaus ja kosketamattomuus ovat levinneimpiä motiiveja aunukselaisessa runoudessa. Kansanrunouden vaikutusta tapaamme kaikkialla: voihan rakkautta kotipaikkaansa, kieltään ja kulttuuriaan kohtaan ilmaista vain kielensä perinteisillä ilmaisukeinoilla.

Uskon olevani oikeassa todetessani, että tärkein persoona aunukselaisille ja heidän itsetunnolleen on Vladimir Brendojev. Hänen tuotannostaan ammennetaan voimia, hänen kielenkäytöstään otetaan usein mallia. Runoudellaan Brendojevista on tullut tavallaan *livvin kielen* käytön esikuva. Vladimir Brendojev (1931–1990) ja Paavo Lukin (1922–1988) olivat kaksi ensimmäistä “pääskystä” aunukselaisessa runoudessa. Ja vaikka Ortjo Stepanov onkin todennut, ettei kaksi pääskystä kevättä tee, 1990-luvun alku toi *livvilaisiin* runotaivaisiin vielä kolmannenkin pääskysen – tuolloin vähän yli 20-vuotiaan Aleksandr Medvedjevin *alias* Santtu Karhun. V. 1988 hän voitti “Punalipuns” järjestämän nuorten kirjoittajien runokilpailun runollaan “*Mustas kois*”. 50 ruplan palkinnon lisäksi hän sai palkinnokseen tunnustusta Karjalassa ja sen rajojen ulkopuolella. Vuoden 1990 alussa ilmestyi Suomessa peräkkäin kolme Santtu Karhun vinyylisingleä: “*Mustas kois*”/“*Lykyn peräh*”, “*Airotoi veneh*”/“*Syvysharmavuss*” ja “*Anuksen Anja*”/“*Omien aigoin legendat*”. Samoihin aikoihin sijoittuu myös “*Talvisovat*” -rockyhtyeen synty. On muistettava, että Santtu Karhun runoilijan ura alkoi vuosina, jolloin karjalan elvytysprosessi oli vasta alussa. Näin ollen hänen vinyylisinglensä voi sijoittaa vuoden 1990 karjalan kielen elvytyksen merkkitapahtumien (aunuksen aapisen ilmestymisen, “Oma Mua” -lehden koekappaleet jne.) rinnalle. Santtu Karhusta onkin tullut laulava ja rokkaava runoilija. Hänen tuotantonsa on monipuolista: rokki- (rock) ja humorististen laulujen ohella hänen CD-levyillään on lyyrisiä lauluja. Muutaman lystikkään laulun sanat ovat aiheuttaneet vanhemman sukupolven edustajien joukossa tiettyä tyytymättömyyttä. Mutta pyhittäähän tarkoitus keinot: kenties juuri niillä konstein, rohkeasanaisen rokkinsa kautta, hän herättää nuoren karjalaisen sukupolven kiinnostuksen äidinkieltään kohtaan. Olemukseltaan Santtu Karhu on lyyrikkö. Sävelmissään hän on käyttänyt usein Zinaida Dubininan runoja ja kansanrunoja. Ilmeisesti heissä on jotain yhteistä. Onhan Zinaida Dubininakin lyyrikkö. Ja sävelminähän runot joutuvat helpommin kansan keskuuteen. Ottakaa vaikkapa “Oma Pajo” -kuoron ohjelmisto. Tällä kohtaa on mainittava edesmenneet Ivan Ljovkin (1903–1974) ja Nikolai Dubalov (1930–2002) (ks. Dubalov, 1995).

Karjalankielistä runoutta ja proosaa on ilmestynyt lehdissä (“Oma Mua”, “Vienan Karjala”) ja aikakauskirjoissa (“Carelia”, “Kipina”). Runsaimmin kaunokirjallisuutta on julkaissut “Oma Muas”, josta v. 2000 tuli aunuksenkielinen lehti. Alkuperäisen kaunokirjallisuuden osalta on mainittava kokoelma “*Omil pordahil*” (OP, 1999) ja antologia “*Karjalan pagin*” (KP, 2003).

Karjalan kirjailijoiden tuotantoa on ilmestynyt myös ulkomailla ilmestyneissä kokoelmissa.

Kuten edellä mainittu tärkeä osuus karjalakielisen kaunokirjallisuuden julkaisemisessa on “Oma Mua” -lehdellä.

Tammikuusta 1991 säännöllisesti ilmestyvä karjalainen viikkolehti “Oma Mua” julkaisi jo ensimmäisissä numeroissaan artikkelien ohella runoja, kertomuksia, satuja ja käännöskirjallisuutta. Lehti käynnisti jopa otsikon “*Lugijat runoillah*” (“Lukijat runoilevat”). Runojaan ovat julkaisseet eri alojen ihmiset, myös runoilijoiden ikä on ollut vaihteleva. Kirjoittajien joukossa on ollut opettajia, oppilaita, opiskelijoita, kielentutkijoita, lehtimiehiä ja muitten alojen ihmisiä. Eläkeikäisten kirjoittajien osuus on ollut suuri. Suurin piirtein kaikille runokokoelmansa julkaisijoille “Oma Mua” on ollut ensimmäinen painettu sana. Vuosina 1990–2004 “Oma Mua” -lehden palstoilla on ilmestynyt 1019 alkuperäistä runoa 109 kirjoittajalta. “Oma Mua” lehden top-kymmeneen (kymmenen kärjessä -listaan) kuuluvat Zinaida Dubinina (137 runoa), Aleksandr Volkov (76), Vas’ a Veikki (Vasili Ivanov) (75), Miikul Pahomov (59), Vladimir Brendojev (53), Klavdija Aleksejeva (52), Pekka Vahrojev (36), Ol’ga Misina (27), Praskovja Fjodorova (26) ja Ziina Trošin (26). Kuujärven lyydin kielellä runoilevaa Miikul Pahomovia lukuun ottamatta kaikki top-kymmeneen kuulijat ovat *livvikkoja*, aunuksenkarjalaisia. Miikul Pahomovin kohdalla pitää mainita, että hän oli ensimmäinen, joka 1990-luvulla julkaisi Karjalassa runokokoelmansa: v. 1993 ilmestyi Miikulin lyydinkielinen runokirja “*Tuohuz ikkunas*” (Pahomov, 1993).

1990-luku näyttää tavallaan vauhdinottovaiheelta, koska 2000-luvun ensimmäiset viisi vuotta ovat antaneet aunuksenkieliselle kaunokirjallisuudelle huomattavan sysäyksen. Siinä hallitsevat runous ja lyhyt proosa. Vuonna 2004 julkaistiin myös ensimmäinen aunukselaisen romaani – prosaistina ja proosankääntäjänä tunnetun Pjotr Semjonovin teos “*Puhtasjärven Masa*”:n (Sem’ onov, 2004). Semjonovilta on ilmestynyt vielä kertomuskokoelma “*Ruadajat*” (Sem’ onov, 1998). Lisäisin tähän myös Olga Misinan ja hänen 1990-luvun aunukselaisen lyhyen proosan aloittaneen kirjansa “*Kuldaine ildu*” (Misina, 1993). Olga Misinan kirja

“*Marin kukku*” (Misina, 2003) ja siihen sisältyvät Nastja-kertomukset ovat ensimmäisiä esimerkkejä ns. pitemmästä proosasta.

Aunukselaisessa kirjallisuudessa on huolehditu myös kasvavasta lukijakunnasta. Lastenkirjallisuutta edustavat Olga Mišinan kirjan “*Piaskoin korgevus*” (Misina, 2002) rinnalla Tamara Ščerbakovan kirjoittamat lastenkirjat “*Pajun kukkazet – kevian viestit*” (Ščerbakova, 1999), “*Enne Rastavua*” (2000) ja “*Armahile bunukoile*” (2002). Lastenkirjojen joukkoon kuuluu myös toisen aunukselaisen runoklassikon Paavo Lukinin tuotanto. V. 1996 ilmestyi Lukinin runokirja “*Iče minä*” (Lukin, 1996). Onhan aunukselaisilla olemassa sarjakuvakirjakin – Volodja Lukkosen v. 1992 ilmestynyt “*Paha-ozane kalastus*” (Lukkonen, 1992).

Aunukselainen kaunokirjallisuus lumooa minua sekä kielentutkijana että kaunokirjallisuuden lukijana. Kielentutkijana herättää huomiota teosten kielenkäyttö, joka on vuosi vuodelta yhtenäistynyt, mutta joissa on säilynyt samalla kirjailijan murretausta ja kielenkäytön erikoisuudet. Kaunokirjalliset tekstit tarjoavat kielentutkijalle erinomaista lingvististä aineistoa. Kuten muuallakin, Karjalassa painetut tekstit ovat hyvien kielentaitajien toimittamia. Useimmiten toimittajina mainitaan Ludmila Markianova ja Vladimir Rjagojev. Jo muutaman vuoden ajan Karjalassa on toiminut ortografian ja oikeakielisyys-komissio sekä terminologit. Lehdistön ohella kaunokirjallisuus on tärkeimpiä välineitä, jonka kautta heidän tekemänsä päätökset, uudistukset sekä heidän hyväksymänsä kielinormit ja uudet sanat joutuvat kansan keskuuteen ja kansan kielenkäyttöön.

Karjalassa kiinnitetään paljon huomiota kirjailijoiden koulutukseen (“*Karjalaine Šana*”) ja uuden kirjailijapolven kasvattamiseen (“*Nuoret vezazet*”).

Vuonna 2002 Juminkeko Suomessa ja Karjalan tasavallan kansallisen politiikan komitea panivat alulle Karjalan kirjallisuuden klassikot -sarjan. Kolmessa vuodessa Periodika -kustantamon julkaisuihin ovat ilmestyneet kolmen karjalaisen klassikon – Ortjo Stepanovin, Jaakko Rugojevin ja Pekka Pertun tuotannon kootut teokset (Stepanov, 2002; Rugojev, 2003; Perttu, 2004). Se on hyvä merkki karjalaisten suhtautumisesta kirjallisuuserintöön.

Tällä hetkellä aunukselaisen kirjallisuuden ykköstuntija näyttäisi olevan Karjalan kirjailijaliiton puheenjohtaja Armas Mišin, jonka kirjoittamia ovat lähes kaikki aunuksenkielisten teoksien alkusanat ja teoksiin sisältyvät kirjallisuuden yleiskatsaukset. Toivottavasti asiantuntijoiden joukkoon lisääntyä nuoremman sukupolven edustajia. Heistä mainitsisin ainakin Natalja čikinan. Tuleehan tämän päivän tapahtumista huomenna historiaa ja aunukselainen kaunokirjallisuus tarvitsee tutkijansa.

Lähteet

- Alto E.* Финноязычная литература Карелии. История литературы Карелии. СПб, 1997.
- Biblii lapsile.* Stokgol'm–Helsinki: Biblien kiänändüinstituuttu, 1995 (BL, 1995).
- Dubalov N.* Anusrandaine. Pajokogomus. Petroskoi, 1995.
- Dubinina Z.* Valgei koivikko. Petroskoi, 2003.
- История литературы Карелии. 3. Петрозаводск, 2000 (ILK, 2000).
- Jalava A.* Kansallisuus kadoksissa. Neuvosto-Karjalan suomenkielisen epiikan kehitys. Helsinki, 1990.
- Karhu E.* Карельский и ингерманландский фольклор в историческом общении // История литературы Карелии. СПб, 1994.
- Koppalov A.* Žil'čoi muheloittau. Новинка ухмыляется. Петрозаводск, 2004.
- Karjalan pagin. Kauniskirjituksen antologii. Petrozavodsk, 2001 (KP, 2001).
- Lukin P.* Iče minä. Karjalaizii runoloi lapsih näh. Petroskoi, 1996.
- Lukkonen V.* Paha-ozane kalastus. Petrozavodsk, 1992.
- Misina O.* Kuldaine ildu. Proozukirjoituksii. Petroskoi, 1993.
- Misina O.* Piäsköin korgevus. Runot lapsile. Petroskoi, 2002.
- Misina O.* Marin kukku. Kerdomukset. Näütelmüs. Petroskoi, 2003.
- Omil pordahil. Runot da kerdomukset karjalan kielel. Kerävökniiгу. Petroskoi, 1999 (OP, 1999).
- Pahomov M.* Tuohuz ikkunas. Runokird'. Petroskoi, 1993.
- Pahomov M.* Luudiland. Runokird' lüüdin heimon kolmes mujus. 2000.
- Kolmevärinen runokokoelma lyydin kielellä. Kuopio: Snellman-instituutti.
- Perttu P.* Väinämöisen venehen jälki. Essee ja kertomuksia. Juminkeko, 2004.
- Rugojev J.* Kivenä koskessa. Valitut runot. Juminkeko, 2003.
- Sem'onov P.* Ruadajat. Petroskoi, 1998.
- Sem'onov P.* Ildaizen vuottajes. Petroskoi, 2001.
- Sem'onov P.* Puhtasjärven Maša. Petroskoi, 2004.
- Stepanov O.* Kotikunnan tarina. I–II. Juminkeko, 2002.
- Scerbakova T.* Pajun kukkazet – keviän viestit. Labilugiä da avunandai L'udmila Markianova. Čomastai Olga Ikkonen. Petroskoi, 1999.
- Scerbakova T.* Enne Rastavua. Čomastai Olga Ikkonen. Petroskoi, 2000.
- Scerbakova T.* Armahile bunukoile. Petroskoi, 2002.
- Uuzi Sana. Helsinki, 2003 (US, 2003).
- Veikki V.* Elokseen dorogat. Valitut runot. Petroskoi, 2003.
- Volkov A.* Pieni Dessoilu. Runot, kiännökset. Petrozavodsk, 1997.
- Volkov A.* Вечный огонь. Iguine tuli. Петрозаводск, 2000.
- Volkov A.* Vellen süväin. Petroskoi, 2001.
- Volkov A.* Järvet Karjalan. Val'l'tut runot. Petroskoi, 2003a.
- Volkov A.* Поздняя осень. Петрозаводск, 2003b.
- Öispuu J.* Karjala kirjandus ja keelepöliitika // Keel ja Kirjandus. 2003. 7. S. 509–530.
- Öispuu J.* 2005.

Двуязычие в культурном пространстве малочисленного народа

Билингвизм, или двуязычие, понимается в широком плане как равное владение двумя языками и, в более узком плане, как владение литературной нормой языка и его диалектами или диалектом. Если принять во внимание более узкий план, то, например, русскоязычные представители сельской местности все двуязычны, поскольку в той или иной степени владеют местными говорами или диалектами и литературным языком (хотя на последнем не всегда в полной степени). Однако к новописьменным языкам подобное понимание двуязычия практически неприменимо. Новописьменная норма, например, такого малочисленного народа, как вепсы, развивается всего ~10–15 лет, и поэтому лишь немногие представители диалектов владеют навыками говорения и нормами письма на новописьменном языке. Для них, скорее, характерно двуязычие именно в широком плане, то есть владение двумя языками: языком доминирующего большинства (русский язык) и родным языком. О проблемах двуязычия в свое время появлялось много различного рода исследований и сборников статей и в общетеоретическом аспекте и в применении к национальной школе. В них обсуждалась существующая ситуация, но не содержалось каких-либо предложений по сохранению или развитию, углублению и изменению состава участников процесса двуязычия, которое практически всегда понималось как национально-русское и не иначе.

Обсуждение названной проблемы не активизировалось и на рубеже 1980–90-х гг., которые характеризуются всплеском повышенного внимания к состоянию языков и культур малочисленных народов и которые иногда называют своеобразным начальным периодом новой «языковой революции»¹. В мировой же практике двуязычие определяют как вполне обычное явление современной жизни. Более того, ученые полагают, что 5/6 населения планеты говорит, по меньшей мере, на двух языках². Иногда высказывается мысль о том, что двуязычие в раннем возрасте позволяет быстрее осваивать и иные языки, в том числе иностранные, и, кроме того, двуязычные дети более способны к творчеству³.

Стабильное двуязычие может продолжаться столетиями, пока не наступит давления со стороны одного языка в пользу другого. И даже при подобном положении носители другого языка могут противостоять такому давлению путем осознания того, что собственный язык не является менее значительным, чем другой, что они вполне могут чувствовать себя

как дома в обоих языках, и что двуязычие, а не одноязычие является нормой в большей части мира.

Тем не менее все-таки говоря о дву- или многоязычии, прежде всего имеют в виду, что эта черта должна быть присуща представителям тех народов, которые не доминируют в государстве, то есть являются национальным меньшинством. Однако многие из данных представителей, не осознавая своего богатства, а также и под давлением обстоятельств, начинают отказываться от родного языка в пользу языка большинства. И это положение чаще всего мы наблюдаем сейчас в Республике Карелия и в сопредельных регионах в отношении вепсского да и карельского народа тоже.

Как показала последняя перепись населения 2002 г., у всех национальностей доминантным является русский язык. Языком своей национальности, например, в Республике Карелия владеют 48,3% карел и 38,0% вепсов. Среди них язык своей национальности считают родным лишь 15,8% вепсов и 26,6% карел⁴. В этом случае мы, очевидно, можем предполагать, что они являются двуязычными. Причем, что касается вепсского народа, то вепсы являлись двуязычными длительное время, что не мешало им сохранять родной язык. Так, известный финляндский ученый Э. Лённрот, совершивший в свое время более десятка экспедиций к родственным народам, в 1842 г. посетил вепские селения. Он оставил в своих дневниковых записях свидетельства того, что вепсы в то время были двуязычны. Он даже писал, что его деревенские учителя заявляли ему, как теперь люди удивляются, что еще 10 лет назад были живы старики, не знавшие иного языка, кроме вепсского. А в начале 1800-х гг. они стали двуязычными, более того, дети даже стали предпочитать говорить по-русски. Тогда данное положение вещей, связанное с двуязычием, показалось ученому катастрофическим и послужило причиной следующего высказывания: «Насколько больше оснований для изумления было бы у тех самых стариков, если бы они встали из могил через 100 лет и обнаружили бы, что уже третье-четвертое поколение их потомков не понимает ни одного слова на языке своих предков»⁵. Настолько обреченной казалась тогда ситуация на взгляд знаменитого ученого. А каково бы было изумление самого Лённрота, если бы он смог узнать, что прошло уже 160 лет, а вепсы не забыли родной язык и ставят вопрос о его сохранении и развитии и далее. Таким образом, существует свидетельство о функционировании активного двуязычия у вепсского народа более 200 лет. Понятно, что жизнь поселений была более замкнутой и способствовала сохранению родного языка. Тем не менее, история показала, что при употреблении обоих языков, двуязычие является фактом сосуществования, а не гибели языка. Имеются свидетельства и русско-национального двуязычия, которое, очевидно,

и было той важной составляющей, которая позволяла чувствовать некоторое равноправие и уважительное отношение со стороны народов-соседей. Например, известен так называемый «Лексикон» исправника Ларионова, содержащий 531 словарную статью, состоящую из русского слова и его вепского эквивалента, что позволяет полагать, что он был составлен при наличии интереса к вепскому языку, к значениям вепских слов и, в конечном итоге, был направлен на то, чтобы понимать речь вепсов⁶.

На рубеже 1980–90-х гг., когда приступили к возрождению языков малочисленных народов, были сформулированы тактически ближайшие и стратегически более отдаленные цели. Под отдаленной перспективой понималось расширение сферы использования вепского языка. А как важнейший результат – возрождение *возвратного* двуязычия (термин этносоциолога Е. И. Клементьева). Однако таким образом задача тогда не была сформулирована, хотя содержание ее было таковой. В «Концепции развития национальной финно-угорской школы Республики Карелия» (утверждена Председателем Правительства 25 апреля 1997, № 225) одним из важнейших принципов ее функционирования и развития под номерами 8–9 обозначены принципы *обоюдного двуязычия* (многоязычия) и *культурного плюрализма*⁷. Это действительно прогрессивные пункты концепции. Но поскольку концепция – это сжатое перечисление принципов работы школы, то в ней не расшифровано, каким образом предполагалось внедрять обоюдное двуязычие в школьную жизнь.

За полтора десятка лет, которые были наполнены работой по возрождению языков и культур малочисленных народов, работой, в которой участвовали общественность, научные учреждения, органы власти, школы и дошкольные учреждения, в Республике Карелия удалось добиться действительно позитивных результатов: возрождены карельская и вепская письменности, началось изучение языков в школах, подготовлена программа и концепция развития национальной школы Карелии (отметим, что подготовленная в самом начале 1990-х гг., она была признана одной из прогрессивных в стране), удалось создать определенное количество учебников и словарей, началась подготовка специалистов с высшим образованием – впервые в истории народов – по карельскому и вепскому языкам, стала формироваться молодая вепская литература. В целом в Республике Карелия было принято около 20 различных правовых актов (законов, концепций, программ и т. д.), защищающих культурно-языковые приоритеты. За прошедшие годы ученым, преподавателям, учителям, прессе, отчасти молодой литературе удалось сформировать основы качественно нового состояния вепского языка, которое ранее не было ему присуще – создать основы его письменной традиции. Причем данная тра-

диция в какой-то степени устоялась, хотя нельзя утверждать, что она принята населением окончательно. Напротив, к нашему глубокому огорчению, следует признать, что в семьях, где двуязычие и так было нарушенным, односторонним, то есть старшее поколение обращалось к детям на родном языке, а они, понимая речь родителей, отвечали им по-русски, начало исчезать даже это понимание, поскольку дети в школе стали изучать иную форму языка. Заново оценив опыт полутора десятков лет, полагаем, что следовало изыскать возможности и первую книгу для детей – букварь, создать на трех диалектах вепского языка, что позволило бы и старшему поколению, которое было выброшено ранее из процесса сознательного обучению языку в школе, привыкнуть к написанному слову. Прежде они передавали друг другу от поколения к поколению устную языковую информацию и только к таковой были привычны. Возможно, эта первая книга дала бы возможность полюбить и написанное слово, которое в книге более бы импонировало слуху знатоков языка.

Можно констатировать, что в настоящий период острота проблемы заключается еще и в том, что новописьменные языки и диалекты, а также зарождающиеся литературы на почве вепского языка являются пока некими антагонистами. Диалекты пока далеки от сближения, и каждый носитель языка остро чувствует их разницу. Диалекты, с одной стороны, противостоят друг другу, с другой стороны, – новописьменному языку. В свою очередь, новописьменный язык не принимается многими носителями языка. Молодая зарождающаяся литература отчасти использует особенности новописьменного языка (особенно в области лексики), отчасти развивается на диалектной основе. Вепская литература и пресса, возникнув и вселяя в целом новые надежды, пока остается чтением для избранных, по большей части, для интеллигенции. Причина кроется, с одной стороны, в том, что у населения еще не выработалась привычка читать и писать на родном языке. С другой стороны, выбор какой-то одной диалектной формы в качестве литературной, новообразованная лексика и терминология стали затруднять понимание текстов, поскольку количество грамматических и лексических новообразований иногда стало превышать порог понимания языка. Работа же по определению данного порога, какие-либо опросы и выяснение ситуации в этой области не проводились, и мнение населения не уточнялось. Перечень новых слов и терминов, который иногда публикуется в газете, односторонне информативен: давая информацию читателям, он чаще всего и не ожидает ответа.

Все это стало создавать непонимание между участниками возрождения языков и культур и потребителями его результатов. Процессы возрождения отчасти стали носить камерный характер, а сама идея возрожде-

ния, не находя новых сторонников, становится менее привлекательной для окружающих. А это и опасная, и обидная для участников возрождения ситуация – ведь и сделано немало.

Участникам возрождения не удалось в необходимой степени за эти полтора десятка лет активизировать отношение к идее возвратного двуязычия. Не стало жизнью и провозглашенное в качестве принципа работы школы обоюдное двуязычие. Несмотря на термин – обоюдное двуязычие – данный принцип опять-таки имел в виду двуязычие для национального меньшинства, поскольку никто и нигде не предусматривал учебники для начинающих изучать вепский язык (или карельский) с позиции большинства. В наших условиях и на благодатной почве национально-русское двуязычие, которое существовало долгое время, распространившееся вширь и вглубь, постепенно стало превращаться в одноязычие – в этом случае русский язык в конечном итоге фактически и психологически стал восприниматься языком внутринационального общения. Можно отметить лишь единичные случаи обретения двуязычия, и в основном они связаны с профессиональной деятельностью: работой на радио, телевидении, в прессе, в науке. Причем основой для данного двуязычия стали домашние знания родного языка или университетские знания. Опыт преподавания языка в университете показал, что даже при нулевом знании языка при поступлении в вуз студенты им овладевали практически за 4 года (5-й курс посвящен написанию дипломной работы и практически не содержит занятий по языку и навыку говорения на нем). При окончании же школы знания исключительно слабы, хотя учеба в ней продолжается 11 лет. Значит, что-то делается не так, где-то допускаются серьезные ошибки и просчеты, и они слабо анализируются.

Кроме того, и перепись 2002 г. не подтвердила ожиданий и надежд на то, что решение задач, связанных с сохранением, развитием и использованием карельского и вепского языков, будет содействовать росту национального самосознания этих народов и позиция народов к сохранению родного языка станет более активной. Так, количество вепсов сократилось с 12 до 8 тысяч человек. Конечно, национальное самосознание важная, но не единственная характеристика процессов возрождения. Хочется искренне надеяться, что точка еще не поставлена. Деятельность последних лет в некоторой степени приостановила процессы ассимиляции, появились робкие ростки надежды на возрождение. К сожалению, они не стали более глубокими, поскольку поставленные задачи зачастую решались стихийно, они не вытекали друг из друга и не были последовательными. Инициативы общественности не всегда находили достаточную поддержку и пони-

мание у властных структур, не было качественного нарастания положительных моментов, а росло лишь их количество, которое стало расплываться как дым, не позволяя выделить из этого количества главное. А сама идея углубления знаний в области языка, которая бы позволила превратить школу в заведение, которое действительно соответствовало бы принципу двуязычия и культурного плюрализма, оказалась не достаточно разработанной и практически не принятой к выполнению.

Деятельность по возрождению языков и культур необходимо продолжить, но в нее следует внести новую струю. Думается, возвратное двуязычие, которое бы вновь следовало привнести в жизнь вепского народа, а также обещанное обоюдное двуязычие, которое было провозглашено в качестве принципа работы финно-угорской школы Республики Карелия, могли бы внести неопенимый вклад в дело возрождения языков малочисленных народов. Они бы смогли расширить количество ситуаций, например, для использования вепского языка, создать более широкую аудиторию его понимающих и вселили бы большее уважение к говорящим на данном языке.

¹ Клементьев Е. И. В поисках правовой защиты культурно-языковых интересов карел, вепсов, финнов Республики Карелия. М., 2003. С. 4.

² Раннут М. Пособие по языковой политике. Таллинн, 2004. С. 57.

³ Skutnabb-Kangas T. Language, Literacy and Minorities. London, 1990.

⁴ Национальный состав населения Республики Карелия: Статистический сб. 5. Петрозаводск, 2005. С. 27.

⁵ Elias Lönnrotin matkat. II osa. Helsinki, 1902. S. 197.

⁶ Баранцев А. П. О взаимодействии языков южной Карелии в первой половине XVII века // Симпозиум-79 по прибалтийско-финской филологии. Петрозаводск, 1979. С. 43.

⁷ Концепция развития финно-угорской школы Республики Карелия // Родные языки в школе. Петрозаводск, 2000. С. 17.

© П. М. Зайков
Петрозаводск

I инфинитив в диалектах карельского языка*

К инфинитивам в карельском языке относят именные или неличные формы глагола, которые сочетают признаки имен существительных и глаголов. Обычно все инфинитивы объединяют в единую грамматиче-

* Статья подготовлена к публикации на средства Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 04-04-00276а.

скую категорию, что обосновывается целым рядом факторов. Исторически они являются падежными формами отглагольных существительных и в предложениях, как правило, выступают в тех же функциях и управляются теми же глаголами, что и существительные. Тем не менее их нельзя полностью приравнять к именам существительным, поскольку они потеряли многие признаки последних. Принадлежность инфинитивов к системе глагольного словоизменения обусловлена тем, что наряду с финитными формами они не только обозначают действие, но и могут присоединять к себе члены предложения, обозначающие объект и обстоятельства действия. Другими словами, они обладают предикативностью, хотя она реализуется у них иначе, чем у финитных форм. Чаще всего инфинитивы выступают в предложении, где имеется финитная форма глагола, и образуют внутри основного предложения дополнительный центр предикации, выступая в роли предикативной части конструкции, которая может быть трансформирована в придаточное предложение. Инфинитив может быть дополнительным центром предикации в том случае, если сказуемое в предложении выражено полнозначной финитной формой глагола. Если же финитный глагол является в предложении неполнозначным, то инфинитив образует с ним составное глагольное сказуемое (*rupien ruatamah* 'я буду работать', *pitäy uskuo* 'надо верить'), в составе которого грамматические функции выполняются финитным глаголом, а лексическую нагрузку несет на себе инфинитив.

На материале разных диалектов карельского языка выделяют различное количество инфинитивных форм. А. Генетц полагает, что в собственно-карельском наречии имеются четыре инфинитива, хотя так называемый IV инфинитив с суффиксом *-min'e*, *-min'i*, *-mize* следовало бы, по его мнению, рассматривать как словообразовательную модель¹. В ливвиковском же наречии, полагает он, существуют три формы инфинитива: I, II и III инфинитив². Э. В. Ахтия³ на материале ливвиковского наречия выделяет все пять инфинитивных форм по образцу грамматик финского языка. В грамматике Н. А. Анисимова⁴ представлены лишь две формы инфинитива: I (t-овый) и II инфинитив (m-овый). Так называемый II инфинитив (с показателем -e) трактуется им как деепричастие. А. А. Беляков⁵ считает, что в тверских диалектах функционируют один инфинитив и четыре формы m-ового герундия. П. Пальмеос и В. Д. Рягоев⁶ полагают, что есть все основания говорить о двух формах инфинитива: I и II инфинитиве. В так называемом первом инфинитиве объединены традиционно выделяемые в прибалтийско-финских языках формы первого и второго инфинитива. В исследованиях Г. Н. Макарова⁷, Е. А. Адель⁸, П. М. Зайкова⁹, Л. Ф. Маркиановой¹⁰ выделяются три группы инфинитивов, которые условно называют I, II и III инфинитивом.

Чем же можно объяснить такой разницей в выделении количества инфинитивных форм и их различную трактовку? На наш взгляд, существуют тому две причины. Первая связана с тем, какие грамматические традиции кладутся в основу их выделения. Если автор работы следует традициям русской грамматики, то он непременно наряду с причастиями выделяет деепричастия, под которыми подразумеваются традиционно выделяемые формы II инфинитива (Анисимов Н. А.). Те же исследователи, которые следуют грамматическим воззрениям на инфинитивы с позиции грамматики финского языка, склоняются к обнаружению пяти форм инфинитивов (Ahtia E. V.). Объединение же форм I и II в одну группу объясняется тем, что их суффиксы исторически связаны друг с другом, и поэтому авторы исследований посчитали возможным рассматривать их вместе¹¹. Мы же в данной работе будем следовать традиционному делению всех инфинитивов на I, II и III инфинитивы, поскольку все они имеют свои грамматические суффиксы и обладают различными семантическими значениями.

Форма I инфинитива является неопределенно-личной, которую также принято считать словарной формой глагола. Показателем одноосновных глаголов в собственно-карельском и ливвиковском наречиях являются следующие:

-(u)a: *antu-a*, *andu-a* ‘дать’. Показателем инфинитива одноосновных глаголов здесь и далее является только конечный гласный. Гласный же, взятый нами в скобки, не считается показателем I инфинитива и может варьировать по диалектам. На месте гласного *u* может выступать также гласный *o*, и, таким образом, окончания *-(u)a* и *-(o)a* находятся в отношениях свободного варьирования.

-(o)a: *anto-a*, *ando-a*. Подобные формы возникли в результате перехода долгого гласного *aa* в дифтонг *oa*, а именно, *antoa* < **antaa* < **antada*. Данный переход произошел в период самостоятельного развития карельского языка. Позднее дифтонг *oa* > *ua* (*anto-a* > *antu-a*).

В весьгонском и кондушском диалектах в результате перехода гласного *u* в *i* форма инфинитива оканчивается на дифтонг **-(i)a** (< **ua*), например, *andi-a*.

В тихтозерском диалекте в результате регрессивной ассимиляции бывший дифтонг *oa* развился в долгий гласный *oo*, в результате чего показателем инфинитива стал гласный *o*, то есть *oa* > *oo*, например, *šano-o* ‘сказать’, *ažo-o* ‘ехать’ и др.

В дёржанском диалекте в интересующих нас формах отпадает конечный гласный *i*, таким образом, показателем инфинитива становится ноль звука, а сама форма глагола оканчивается на гласный *u*, например, *ruadu* ‘делать’, *šanu* ‘сказать’, *andu* ‘дать’ и др.

Названные варианты показателей I инфинитива представлены в глаголах с заднерядной огласковкой.

-(y)ä. Данный показатель представлен главным образом в собственно-карельском наречии, за исключением весьегонского, валдайского и дёржанского диалектов, например, *jätty-ä* ‘оставить’, *lämmitty-ä* ‘согреть’, *kynty-ä*, *kyndy-ä* ‘пахать’, *tiety-ä*, *tiedy-ä* ‘знать’.

-(y)ö выступает только в панозерском диалекте: *pityö* ‘надо’.

-(i)ä. Этот суффикс представлен в трех диалектах собственно-карельского наречия (весьегонском, валдайском и дёржанском) и повсеместно в ливвиковском наречии, например, *löydi-ä* ‘найти’, *peitti-ä* ‘спрятать’, *jätti-ä* ‘оставить’, *vedi-ä* ‘тянуть’. Рассматриваемый показатель инфинитива является первоначальным по сравнению с *-(y)ä*, поскольку дифтонг *iä* возник из долгого гласного *ää*. По аналогии с развитием *piä* ‘голова’ (< *pää*), *siä* ‘погода’ (< *sää*) возникли формы инфинитива типа *jätti-ä* ‘оставить’ (< *jättää* < **jättä-dä*). Подобные формы инфинитива существовали некогда и в собственно-карельском наречии, на что указывают примеры из периферийных диалектов и ранние записи. Инфинитивы с исходом на *-(y)ä* (*jätty-ä*) возникли по аналогии с формами с заднерядной огласковкой типа *ottu-a* ‘взять’.

-(e)ä. Показатель имеет узкое распространение и обнаружен нами в письменных источниках по паданскому и поросозерскому диалектам, например, *syötte-ä* ‘кормить’. По всей видимости, именно из этого дифтонга развился предшествующий, который в настоящее время широко распространен, то есть *eä* > *iä*.

-(i)e. Суффикс обнаружен только в тихвинском и кондушском диалектах, например, *peitti-e* ‘прятать’. Скорей всего, этот суффикс возник из *(i)ä*, то есть *(i)ä* > *(i)e* (*peitti-ä* > *peitti-e*).

-(u)o. Этот и ниже следующие признаки инфинитива представлены в собственно-карельском и ливвиковском наречиях главным образом в возвратных глаголах: *vakautu-o* ‘успокоиться’, *havaččetu-o* ‘проснуться’, *kučču-o* ‘звать’, *kačču-o* ‘смотреть’.

-(o)o. Долгий гласный обнаружен в тихозерском диалекте, возник в результате регрессивной ассимиляции: *sano-o* ‘сказать’ (< **sano-a* < **sano-a*), *kaččo-o* ‘смотреть’ (< **kaččo-a* < **kaččo-ða*).

-(u)a. Показатель распространен в тихвинском и коткозерском диалектах: *ambu-a* ‘выстрелить’, *sidu-a* ‘завязать’. Не исключено, что этот показатель возник в результате отпадения спيرانта: *ambu-a* ‘стрелять’ < **ambu-ða*.

-(i)e. Данный признак инфинитива широко распространен во всех диалектах собственно-карельского и ливвиковского наречий: *lukie*, *lugie* ‘читать’, *eččie* ‘искать’, *hyppie* ‘прыгать’, *rykie*, *rygie* ‘кашлять’.

-(i)i. Подобный суффикс встречается только в тихтозерском диалекте: *lugii* ‘читать’, *rygii* ‘кашлять’. Он возник из предшествующего в результате сужения гласного е под влиянием предшествующего гласного, то есть $(i)e > (i)i$ (*lugie > lugii*).

-(i)O. Представлен только в дёржанском диалекте, в результате отпадения конечного гласного. Таким образом, показателем I инфинитива стал ноль звука, например, *lugi* ‘читать’, *rygi* ‘кашлять’.

-ja, -jä. В собственно-карельском и ливвиковском наречиях этот показатель выступает прежде всего в четырехсложных глаголах типа *kapaloi-ja*, *kabaloi-ja* ‘пеленать’, *ikävöi-jä*, *igavoi-jä* ‘тосковать’. Он же выступает также в двухсложных глаголах *pui-ja* ‘молотить’, *voija* ‘быть’. В ливвиковском наречии в последнем случае показатель выступает также в глаголе *sua-ja* ‘получить’.

-va, -vä. Выступает в достаточно ограниченном количестве глаголов: *tuvva*, *tuvva* ‘принести’, *juuvva*, *juuva* ‘пить’, *syuvvä*, *syvvä* ‘есть’, *myuvvä*, *myvvä* ‘продать’.

Перечисленные показатели I инфинитива характеризуют так называемые одноосновные глаголы, имеющие только гласную или гласные основы. Согласная основа в них отсутствует. Следующие же показатели I инфинитива распространяются на двухосновные глаголы, имеющие гласную и согласную основы.

-ha, -hä. В собственно-карельском наречии окончание инфинитива представлено лишь в двух глаголах: *nähä* ‘видеть’, *tehä* ‘сделать’. В собственно-карельском наречии исключением является глагол *nähä* ‘видеть’, который относится к одноосновным.

-la, -lä. Показатель инфинитива характерен для собственно-карельского и ливвиковского наречий: *tul-la* ‘прийти’, *kuunnel-la* ‘слушать’, *kävel-lä* ‘ходить’.

-sa, -sä. Суффикс выступает только в собственно-карельском наречии: *pes-sä* ‘мыть’, *piäs-sä* ‘попасть’, *nous-sa* ‘встать’, *kus-sa* ‘мочиться’.

-ra, -rä. Характерен только для собственно-карельского наречия: *pur-ra* ‘грызть’, *vier-rä* ‘катиться’.

-ta, -tä. Показатель так называемых двухосновных стяженных, транслативных и некоторых дескриптивных глаголов: *mua-ta* ‘спать’, *viha-ta* ‘ненавидеть’, *luva-ta* ‘обещать’, *hypä-tä* ‘прыгнуть’, *kajje-ta* ‘сужаться’, *leve-tä* ‘расширяться’, *kola-ta* ‘стучать’, *vara-ta* ‘бояться’. В дёржанском диалекте в результате отпадения конечного гласного признаком двухосновных стяженных глаголов стал согласный -t, например, *kezrät* ‘прясть’.

В ливвиковском и людиковском диалектах этот же показатель представлен в тех глаголах, в которых в собственно-карельском наречии выступает признак *-ha, -hä, -sa, -sä, -ra, -rä*, например, *näh-tä*

‘видеть’ (сравни с.-кар.: *nä-hä*), *pes-tä* ‘мыть’ (сравни с.-кар. *pes-sä*), *pur-ta* ‘грызть’ (сравни с.-кар.: *pur-ra*).

В лодиковском наречии формы первого инфинитива оформляются показателями **-(t)ta**, **-(t)tä** и **-da**, **-dä**. При этом в одноосновных глаголах чаще всего представлен показатель *-da*, *-dä*: *sano-da* ‘сказать’, *pajatta-da* ‘петь’, *hypsä-dä* ‘дойти’, *d’uo-da* ‘пить’, *dogadi-da* ‘догадаться’. Двухосновные же глаголы имеют признаком основного инфинитива *-(t)ta*, *-(t)tä*, например, *maga-tta* ‘спать’, *näh-tä* ‘видеть’, *pes-tä* ‘мыть’.

Формы I инфинитива функционируют в предложении в следующих случаях:

1) для выражения цели высказывания.

(Вокнаволок) *Ei ollun mitänä antua*¹² ‘не было что-либо дать’. (Юшкозеро) *Annettih hevoista kyndyä*¹³ ‘дали лошадь вспахать’. (Весьегонск) *Et’ä andan vähäs’tä vielä istuo*¹⁴ ‘вы не дали еще немного посидеть’. (Рыпушкалица) *Kai tytöt kiirehtetäh miähele mennä: varatah igän’eidžekse jändy*¹⁵ ‘все девушки торопятся выйти замуж, боятся остаться в старых девах’;

2) в качестве прямого дополнения.

(Оуланга) *Kolmatta lašta hiän ei suanun imettyä* ‘третьего ребенка она не смогла кормить грудью’. (Паданы) *Ei kehtoa kezrütä talvella*¹⁶ ‘она не хочет прясть зимой’;

(Неккула) *Ei piä kiirehtiä ni naija, ni miähele mennä* (ОКР, 1969) ‘не надо торопиться жениться и замуж выходить’. (Святозеро) *Emme voi tabata*¹⁷ ‘мы не можем поймать’. (Видлица). *Tiettih d’o ommella, leikkua* (NKK, 308) ‘умели уже шить и кроить’;

3) частью составного сказуемого совместно с безличными глаголами *pitäy*, *pidäy* ‘надо’, *himottau* ‘хочется’, *tarviččou* ‘следует’, *toperiü* ‘придется’, *tulou* ‘надо, следует, придется’.

(Кестеньга) *Huuhtuo piti še šormusta* (NKK, 34) ‘сполоснуть водой надо было кольцо’. *Ei pijä nimitä šanuо* (NKK, 37) ‘не надо ничего говорить’. (Подужемье) *Pitäy opaštua Saškua* (NKK, 122) ‘надо учить Сашку’. (Тихвин) *Pidää kukko šyöt’r’ie*¹⁸ ‘надо накормить петуха’. (Дёржа) *Pidää l’ečči t’oplii pr’ipark pidäw ruadu*¹⁹ ‘надо лечить, теплые припарки надо прикладывать’. (Ведлозеро) *Moannuzin hätkembäh ga pidi mennü roadoh* ‘я поспал бы подольше, да надо было идти на работу’. (Галезеро) *Šille pid’i endepiäi sanuda* (LL, 87) ‘ему надо было заранее сказать’. (Тивдия) *Pidi anta sada litrat* (NKK, 350) ‘надо было дать сто литров’;

4) в качестве подлежащего.

(Кестеньга) *Paha on köyhänä elyü* ‘плохо жить бедным’. (Рыпушкалица) *Avvutetah heiniä ruadua* (NKK, 314) ‘помогают убрать сено’;

5) дополнением к другому глаголу, когда хотят выразить начало действия, желание или возможность действия.

(Ухта) *Toaš alkau ukko kylyö lämmittyä* (TVKK, 53) ‘снова старик начинает топить баню’. (Тунгуда) *Käsköy kylyn lämmit’t’yä* ‘велит баню истопить’. (Толмачи) *Mahaiko sie itkie* (ОКР, 1963, 48) ‘умеешь ли ты исполнять плачи’. (Валдай) *Šil’mie ei šoa avata* (СКГ, 201) ‘глаза не открыть’. (Сямозеро) *Käški sinul andua* (ТАК, 8) ‘он велел тебе отдать’. *Vie nügöi malttazin keittiä* (NKK, 278) ‘я и сейчас умею варить’. (Святозеро) *Emme myö tahtottu lähtä sinna* (LT I, 95) ‘не хотели мы идти туда’;

6) в вопросительных предложениях.

(Ухта) *Kunne lähtie?* ‘куда пойти?’ (Рыпушкалица) *Kel kyzyö?* ‘у кого спросить? (Святозеро) *Tahtožittego panda kartof’eit muah* ‘не хотите ли посадить картофель?’.

Исторически суффиксом I инфинитива был **tak*, слабоступенным вариантом которого был **-ak*²⁰. Первый из них представлен во всех наречиях карельского языка в двухосновных стяженных глаголах [*kat(k)a-ta* ‘сломать’]. Если основа двухосновного глагола оканчивалась на согласный *s*, то в этих случаях также был представлен сильноступенный признак, например, *pes-tä* < **pes-täk*. Подобная форма сохранилась в ливвиковском и людиковском наречиях. В собственно-карельском наречии сочетание согласных *st* чередуется в закрытом слоге с *ss*, в результате и появилась современная форма *pes-sä*. В остальных же двух- и одноосновных глаголах в формах I инфинитива выступал слабоступенный показатель **-dak*: *tul-la* ‘прийти’ < **tul-ak*, *män-nä*, *men-nä* ‘уйти’ < *men-däk*, *pur-ra* ‘грести’ < *pur-dk*. В этих случаях спирант ассимилировался с предшествующим ему согласным.

Показатель I инфинитива **tAk* прослеживается во всех прибалтийско-финских языках, например, (вепс.) *ajada* ‘ехать’ (* < *aja-da*), (водск.) *mennä* ‘уйти’ (*men-dä*), (эст.) *siduda* ‘связать’ (< *sidu-da*), (ливск.) *tuulda* ‘прийти’ (< *tuul-da*) (Häkkinen K.).

В саамском языке показатель I инфинитива также восходит к названному суффиксу, например, *v’ihked* ‘отнести’²¹, *suoldet* ‘засолить’²², *man-nat* ‘уйти’ (< **mene-tAk*) (Häkkinen K.). Из дальнеродственных языков, как считает К. Хяккинен, реликты этого суффикса остались, по всей видимости, в венгерском (*ment* ‘ушедший’) и в хантыйском языке (*menta* ‘уйти’), хотя не исключено, что они возникли в результате аналогии (Häkkinen K.). Исторически показатель основного инфинитива **tAk* состоит из **tA* и **k*, первый из которых был именным отглагольным

суффиксом, а второй – падежным окончанием латива, на что указывают, в частности, случаи глагольного управления, требующие падежа вхождения, например, *tah(t)on ulos lähtie* ‘я хочу домой, на улицу, пойти’.

-
- ¹ Genetz A. Tutkimus Venäjän Karjalan kielestä // Suomi. II: 14. Helsinki, 1880. S. 216–217.
² Genetz A. Tutkimus Aunuksen kielestä // Suomi II: 17. Helsinki, 1885. S. 166, 192.
³ Ahtia E. V. Karjalan kielioppi. Suojärvi, 1936. S. 78–79 (далее – Ahtia E. V.).
⁴ Анисимов Н. А. Карельской киэлен грамматика I части. Петрозаводск, 1939. С. 103–104 (далее – Анисимов Н. А.).
⁵ Беляков А. А. Морфологическая система собственно-карельского диалекта (калининское наречие) // Тр. Карело-Финского филиала Академии наук СССР. Петрозаводск, 1954. Вып. 1. С. 78.
⁶ Palmeos P. Karjala valdai murrak // Emakeele Seltsi toimetised. Tallinn, 1962. № 5. S. 62–66 (далее – Palmeos P.); Рягоев В. Д. Тихвинский говор карельского языка. Л., 1977. С. 153 (далее – Рягоев В. Д.).
⁷ Макаров Г. Н. Карельский язык // Языки народов СССР. М., 1966. Т. 3. С. 71, 73.
⁸ Адель Е. Л. Глагольное словоизменение в карельском языке. Паданский ареал. Петрозаводск, 1998.
⁹ Zaikov P. Karjalan kielioppi. Petroskoi, 2002.
¹⁰ Markianova L. Karjalan kielioppi. Petroskoi, 2003.
¹¹ Palmeos P. Op. cit.; Рягоев В. Д. Указ. соч.
¹² Язык и народ. СПб, 2002. С. 129.
¹³ Näytteitä karjalan kielestä. I. Joensuu; Petroskoi, 1994. S. 149 (далее – NKK).
¹⁴ Макаров Г. Н. Образцы карельской речи. Л., 1963. С. 16 (далее – ОКР, 1963).
¹⁵ Макаров Г. Н., Рягоев В. Д. Образцы карельской речи. Л., 1969. С. 81 (далее – ОКР, 1969).
¹⁶ Духовная культура сегозерских карел / Сост. У. С. Конкка, А. П. Конкка. Л., 1980. С. 176.
¹⁷ Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä. Anna Vasiljevna Tšesnakovan kerrontaa ja itkuvirsiä. VI. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1994. № 218 (далее – LT).
¹⁸ Образцы карельской речи / Сост. В. Д. Рягоев. Л., 1980. С. 214 (далее – ОКР, 1980).
¹⁹ Слушаю карельский говор / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 2001. С. 37 (далее – СКГ).
²⁰ Häkkinen K. Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen historiallista taustaa // Fennistica 6. Turku, 1985. S. 125 (далее – Häkkinen K.).
²¹ Керт Г. М. Саамский язык. Л., 1971. С. 203.
²² Керт Г. М., Зайков П. М. Образцы саамской речи. Петрозаводск, 1988. С. 77.

© J. Koppaleva, S. Kovaljova
Petroskoi

Kirjakielten sanakirjat: historia ja nykyaika

Словари литературных языков: история и современность

Лексикография является одной из древнейших областей человеческой деятельности. Первые словари появились на востоке за сотни лет до н. э. и лишь к XVI в. приобрели привычный для нас вид. Современные электронные словари постепенно приходят на смену «бумажным». Электронная лексикография имеет много преимуществ по сравнению с традиционной, позволяя сокращать время

tällä hetkellä käytännössä voi tavata kolmea eri kirjoitusmuotoa: риелтер, риэлтор, риэлтер. Mikä niistä loppujen lopuksi jää kirjakieleen, on vaikea sanoa. Samoin sanan ‘*дистрибьютер*’ ‘välittäjä’ lopullinen kirjoitusmuoto ei ole vielä vakiintunut. Siitä on tavattavissa kirjoitetussa kielessä useampi vaihtoehto: ‘*дистрибьютер*’, ‘*дистрибьютор*’ ja ‘*дистрибутор*’ (БТС, Крысин, 2005).

Sanakirjojen käyttäjät haluavat nähdä uusia sanoja uusissa kaksikielisissä sanakirjoissa, löytää uusien sanojen vastineita toisesta kielestä. Mutta sanakirjan tekijän on otettava huomioon, että sanakirjaan pitäisi hyväksyä vain sanan vakiintunut kirjoitusmuoto. Esimerkkinä voivat olla venäjänkieliset sanat ‘*пейджер*’ ‘henkilöhakulaite’ ja ‘*тхэквондо*’ ‘taekwondo’. Suureen venäläis-suomalaiseen sanakirjaan ne pääsivät muodossa ‘*пейджер*’ ja ‘*таэквондо*’, niin kuin ne siihen aikaan (1990-luvun lopulla) kirjoitettiin (БРФС). Suomenkieliset sanat ‘*surffata*’, ‘*surffaus*’ jne. (ks. KS) voivat myös olla esimerkkeinä, jotka kuvaavat vastaavaa kehitystä suomen kielessä, ne nimittäin ovat muuttaneet kirjoitusasuaan verrattuna v. 1994 ilmestyneeseen Suomen kielen perussanakirjaan (SKPS), johon ne oli vielä hyväksytty ‘*surfata*’ ja ‘*surffaus*’-asussaan.

Kieli muuttuu eri aikoina eri tavalla. Kirjakielen kehityksen vauhti kasvaa elämämme muutosten vaikutuksesta. Melkein joka päivä lukiessamme lehteä me saatamme joutua hämilleen, koska monia uusia sanoja, joita käytetään joukkoviestimissä, on vaikea ymmärtää.

Nykyelämässä, jonka pääominaisuuksina ovat globalisaatio ja integraatio, kaksikielisten sanakirjojen osuus on kasvanut. Niiden tehtävä ei ole ainoastaan kääntäminen. Kaksikielisiä sanakirjoja käytetään vieraiden kielten opetuksessa, terminologian yhdenmukaistamisessa eri tieteen ja tekniikan aloilla, tietyn informaation saamisessa. Informaation laajuus vaatii hakusanaston maksimaalista täydellisyyttä sekä sanojen luokittelun tasapainottamista. Kaksikielisen sanakirjan hakusanaston laatimisessa pohjaudutaan yleensä uusien selittävien sanakirjojen hakusanastoihin.

Viime vuosikymmenien kuluessa venäjän kieleen on tullut monia uusia sanoja, jotka liittyvät tieteen ja tekniikan saavutuksiin, yhteiskuntapoliittisen elämän kehitykseen, uusien laitteiden ja kodinkoneiden leviämiseen jne. Elämän uusien ilmiöiden ilmestyminen on jatkuva prosessi. Samalla uusien leksiemien käyttö riippuu kirjakieltä puhuvasta ihmisestä, ts. on subjektiivista. Esimerkiksi, uusi yhteysväline ‘*мобильный телефон*’ suomeksi on ‘*matkapuhelin*’ (tämä on kirjakielen nimitys). Venäjän puhekielessä sitä nimitetään ‘*мобильник*’, ‘*моби́ла*’, ‘*труба*’. Tästä tyylillisestä moninaisuudesta sanakirjaan valitaan normi ‘*сотовый* (tai *мобильный*) *телефон*’ ‘matkapuhelin’. Yllämainitut puhekielliset muodot varustetaan tyyliä osoittavalla merkinnällä ja, jos on mahdollista, laitetaan vastineeksi myös tyylillisesti vastaava muunkielinen sana (tässä tapauksessa *kännykkä*).

Kaksikielisen sanakirjan laatijan on noudatettava sellaisia periaatteita kuin käännöksen adekvaattisuus, sanojen tyylillinen arvojärjestys jne. On tärkeää ei ainoastaan löytää sanan tarkka vastine, vaan myös näyttää sanojen mahdollisia käyttöyhteyksiä kontekstissa, sanojen synonyymejä jne. Tätä varten käytetään ennen kaikkea esimerkkejä ja sulkeissa olevia selitteitä.

Uuden tekniikan ja uusien teknologioiden kehittämisen yhteydessä meidän puheeseemme tuli erikoissanoja, joita me käytämme melkein jokapäiväisesti. Ne kuuluvat ennen kaikkea ATK-alaan:

дискковод – levyasema

мышь – hiiri

электронная почта – sähköposti

сайт, веб-сайт – WWW-sivusto

звуковая карта – äänikortti

текстовый файл – tekstitiedosto

жидкокристаллический монитор – nestekidenäyttö.

Koska ATK-alan sanasto on hyvin kehittynyt suomen kielessä, ei ole hankalaa löytää suomenkielisiä vastineita uusille venäjänkielisille käsitteille. Jotkut käsitteet käännetään synonyymeilla:

монитор – näyttöruutu ja monitori

курсор – kohdistin ja kursori

процессор – prosessori ja suoritin

сканер – skanneri ja tutkain (tai kuvanlukija)

Uutta tekniikan alan sanastoa lainataan usein englannin kielestä:

процессор – prosessori

сканер – skanneri

хакер – hakkeri

мультимедийные сообщения – multimediam viestit.

Eräät jo ennestään kielessä olevat sanat voivat saada lainasanojen joukosta homonyymejä, esim., verbi 'кликать' 'napsauttaa' on lainattu englanninkielisestä 'to click'. Suomen kielessä käytetään sen semanttista käännöslainaa.

Tekniikan kehittämisen mukaa käyttöön tulee uusia sanoja:

цифровой тюнер – digiviritin

плазменный телевизор – plasmatelevisio

заставка (в сотовом телефоне) – taustakuva

ноутбук – salkkumikro, kannettava tietokone

телевизор с плоским экраном – taulutelevisio

стеклопакет – umpiolasi

цифровой фотоаппарат – digitaalikamera.

Samoin runsaasti syntyy uusien ammattien nimityksiä Yllämainittujen 'пультор' ja 'дистрибьютер' – sanojen lisäksi voidaan mainita sellaiset kuin:

супервайзер – verkon ylläpitäjä
менеджер – toimitusjohtaja
маклер – meklari, kaupanvälittäjä
продюсер – tuottaja (*elok.*).

Paitsi tekniikan kehittämistä sanaston laajentamiseen johtavat muutkin meidän elämämme uudet ilmiöt tai ne, joiden nimitykset ovat levinneet meidän jokapäiväiseen kielenkäyttöömme viime aikoina:

отмывание денег – rahanpesu
банкомат – pankkiautomaatti
инвестор – investoija
спонсор, спонсировать – sponsori, sponsoroida
посредник – välittäjä
домофон – ovipuhelin
пиратская копия – piraattikopio.

Uusien sanojen joukossa on paljon sellaisia, jotka esiintyvät vain uusimmissa kaksikielisissä sanakirjoissa (БРФС, Коппалева, 2001):

презентация – esittelytilaisuus
инаугурация – virkaanastujaiset
саммит – huippukokous (*poliit.*)
клон, клонировать, клонирование – klooni, kloonata, kloonaus
бодибилдинг – kehonrakennus
наркокурьер – huumehuriiri
торговый центр – ostokeskus, ostoskeskus
имиджмейкер – imagonrakentaja
топ-модель – tähtimannekiini.

Venäjän kieli on kirjavanaan englanninkielisiä lainoja. Jopa niille käsitteille, joilla on vakiintunut venäjänkielinen nimitys, joskus ilmestyy uusi vieraskielinen. Esim., sanan ‘училище’ (‘opisto’) asemesta usein käytetään sanaa ‘колледж’. Käytetään sellaisia lainoja kuten ‘мэр’ (‘kaupunginjohtaja’), ‘префектура’ jne. Aika usein venäjänkielisten lainojen suomenkieliset vastineet ovat omaperäisistä aineksista muodostuneita sanoja:

пульт дистанционного управления – kauko-ohjain
трансферт – siirto (*liik.*)
сервер – palvelin
меню – valikko
дисплей – näyttö
эсклюзивный – yksinomainen.

Usein uusien esineiden tai käsitteiden suomenkieliset nimitykset ovat yhdysanoja, joiden ainakin yksi osa on uusi lainasana:

цифровой фотоаппарат – digitaalikamera

реструктуризация долга – velkasaneeraus.

Venäjän kieleen on tullut uusia lyhenteitä, joita käytetään sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä sellaisinaan:

ПК [пэ-ка], персональный компьютер – mikrotietokone, mikro

ЖК [жэ-ка], жидкокристаллический – nestekide-

СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита – AIDS

ВИЧ, вирус иммунодефицита человека – HI-virus, HIV

СМИ, средства массовой информации – joukkoviestimet, joukkotiedotusvälineet.

Viime aikoina jokapäiväiseen käyttöön tulee yhä enemmän englanninkielisiä lyhenteitä, jotka säilyttävät kirjoitettuna venäjänkielisessä tekstissä (siis kyrillisessä) englantilaiset kirjaimet:

CD-диск – CD-levy, CD-ROM-levy

DVD-диск – DVD-levy

web-сайт – WWW-sivusto, www-sivusto

SMS-сообщение – tekstiviesti.

Viimeksi mainitusta käytetään myös puhekielistä muunnelmaa ‘эсмэска’.

Mitä tulee atk-alan arkikieliseen ja slangisanastoon, niin se on aivan erikoinen aihe, koska sellaisia sanoja on oikein paljon niin venäjän kuin suomen kielessäkin, ja keksitään yhä uusia, sellaisia kuin venäjänkieliset ‘судюк’ (< CD-rom), ‘дрова’ (< driver), ‘аська’ (< ICQ), suomenkielinen romppu (< CD-rom) jne.

Voidaan mainita vielä yhden piirteen, joka on ominainen venäjän kielen nykyiselle kehitysvaiheelle. Monet arkaismit tai historialliset sanat otetaan taas käyttöön: vanhentunut ilmaus ‘судебный пристав’ ‘ulosottomies’ tuli aivan nykyaikaiseksi. Samoin tulivat uudestaan käyttöön sellaiset sanat kuin ‘губерния’ ‘kuvernementti’, ‘губернатор’ ‘kuvernoori’, ‘суд присяжных’ ‘valamiesoikeus’, ‘лицей’ ‘lyseo’, ‘гимназия’ ‘kymnaasi’ ja monet muut.

Elämämme muuttuu koko ajan, ja kieli elävänä ilmiönä muuttuu sen mukana. Sanakirjat ovat vanhentuneita jo ilmestyessään ja se on ymmärrettävää: elävää kieltä on mahdotonta vangita mihinkään sanakirjaan. Mutta sanakirjatoimittajan pitää yrittää pysyä ajan tasalla, ja tämä kilpajuoksu jatkuu.

Lähdeluettelo

Suomen kielen perussanakirja. Helsinki, 1995 (далее – SKPS).

Kielitoimiston sanakirja. CD-ROM-versio. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy. Helsinki, 2004 (далее – KS).

Куусинен М. Э., Оллыкайнен В. М., Сюръялайнен Ю. Э. Большой русско-финский словарь. М., 1997 (далее – БРФС).

Коппалева Ю. Э. Новый финско-русский словарь. СПб, 2001 (далее – Коппалева, 2001).

Большой толковый словарь русского языка. СПб, 2004 (далее – БТС).

Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2005 (далее – Крысин, 2005).

© L. Joki
Helsinki (Finland)

Suomen kielen uudissanoista Kielitoimiston sanakirjassa

Неологизмы в новом толковом словаре финского языка «Kielitoimiston sanakirja»

В начале 2005 г. вышла в свет новая электронная версия толкового словаря финского языка «Kielitoimiston sanakirja». В него вошла основная общеупотребительная лексика современного финского языка. Словарь содержит около 100 000 словарных статей, что превышает объем предыдущей электронной версии (CD-perussanakirja), которая появилась в 1997 г., приблизительно на 4 000 статей.

В статье рассказывается о новой лексике, которой пополнился финский язык на рубеже XX и XXI вв., а также о тех принципах, которые лежат в основе отбора лексического материала для новых словарей. Особое внимание уделяется так называемым иноязычным вкраплениям в лексику финского языка, которые фиксирует новая версия словаря «Kielitoimiston sanakirja» (*benchmarking, cover, guacamole, handsfree, spinning*).

Yleistä sanakirjasta

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja Kielikone Oy:n yhteisjulkaisuna ilmestyi viime vuodenvaihteessa sähköinen Kielitoimiston sanakirja (KS). Se pohjautuu vuonna 1997 ilmestyneeseen CD-Perussanakirjaan (CD-PS), joka taas on muokattu vuosina 1990–1994 ilmestyneestä painetusta Suomen kielen perussanakirjasta. KS:ssa on noin 4 000 sana-artikkelia enemmän kuin CD-PS:ssa ja kuutisentuhatta enemmän kuin painetussa kirjassa. Vanhoista sana-artikkeleista on muokattu tai uudistettu yli 15 000. Yhteensä KS:ssa on noin 100 000 sana-artikkelia. Lisäksi Kielitoimiston sanakirjaan liittyy kokonaan uutena osiona suomalaisten paikannimien Asutusnimihakemisto.

KS on, kuten edeltäjänsäkin, sekä deskriptiivinen että normatiivinen. Sanakirjassa kuvataan nyky-suomen keskeinen sanasto, joka koostuu enimmäkseen kirjoitetun, mutta myös puhutun kielen sanoista. Lähinnä puhekielessä

käytettävien sanojen kohdalla on tyyllilajimerkintä *ark.* (arkikielessä) tai *slg.* (slangissa), joskus myös *murt.* (murteissa). Arkikielen ilmauksia on otettu mukaan runsaasti, koska niiden käyttö on nykyisin tavallista paitsi puhekielessä myös kirjallisissa yhteyksissä.

Sanakirjan normatiivisuus käy ilmi “paremmin”-suosituksissa ja “pitää olla”-normeissa, esimerkiksi s.v. *ekomerkki* paremmin: ympäristömerkki ja s.v. *file* pitää olla: filee. Kielitoimiston sanakirja tukeutuu kannanotoissaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suomen kielen lautakunnan päätöksiin.

KS:ssa on esitetty taivutustiedot kaikista hakusanoista, sekä yleisnimistä että paikannimistä. Taivutuksen osoittavat muotosarjat ja niiden numeroinnit ovat samat kaikissa kolmessa sanakirjassa, mutta Kielitoimiston sanakirjassa sarjoja on täydennetty.

Udissanat

Kieleen on jatkuvasti tarjolla uutta sanastoa, jonka joukossa on paljon tilapäisiksi jääviä “päiväperhoja”. Sanakirjantekijän on vaikea ennustaa, mitkä sanat jäävät elämään ja mitkä sanakirjasta kannattaa unohtaa. Sanaston loputon uudistuminen ja maailman muuttuminen on kiehtovaa mutta sanakirjantekijälle myös ahdistavaa. Nykykielen sanakirja on väistämättä hiukan vanhentunut jo ilmestyessään. Sähköisistä sanakirjoista tehdään sentään muutaman vuoden välein päivitettyjä versioita.

Kansalaiset arvostelevat Kielitoimistoa aika ajoin siitä, että se hyväksyy liikaa vierassanoja suomen kieleen. Kielitoimisto ja suomen kielen lautakunta pyrkivät toki löytämään omaperäisiä vastineita vieraskielisille ilmauksille ja ottavat huomioon kieliyhteisön tarjoamat vaihtoehdot, mutta aina sopivan vastineen keksiminen ei onnistu. Jos suomennos tuntuu keinotekoiselta, se kiuhtuu pois.

Jotta sana olisi elinkelpoinen, sen on toimittava käytössä. Sen on asetettava hyvin kieleen, eli se on voitava kirjoittaa, ääntää ja taivuttaa olemassa olevan sanaston mallin mukaan. Sanan merkityksen on oltava selvä. Myös sanan läpinäkyvyys on tärkeä ominaisuus, ja sanan herättämien mielleyhtymien on oltava oikeansuuntaisia.

Yhdyssanoja

Suomen kielen uudissanoista suuri osa on yhdyssanoja. Viime vuosien produktiivisia yhdyssanaryhmiä ovat muun muassa sanat, joiden määriteosana on *eko*, *bio*, *geeni* tai *verkko*. Tässä nostan esiin viimeksi mainitut, siis ne, joissa on määriteosana sähköistä tietojärjestelmää merkitsevä *verkko*. Tällaiset KS:n *verkko*-alkuiset yhdyssanat ovat kaikki uudissanoja verrattuna CD-Perussanakirjan sanoihin. Niitä on yhteensä 18, esimerkiksi *verkkojulkaisu*

‘tietoverkossa ilmestynvä julkaisu’, *verkkolääkäri* ‘tietoverkon välityksellä sairaudenhoidon neuvoja antava lääkäri’, *verkkomainonta* ‘mainonta tietoverkon välityksellä’ ja *verkkoviestintä* ‘viestintä tietoverkon välityksellä’.

Toisin kuin *verkko*-alkuiset, lähes kaikki KS:n sähköiseen tiedonvälitykseen liittyvät *verkko*-loppuiset yhdyssanat ovat jo CD-Perussanakirjassakin. Näitä on kymmenen, esimerkiksi *datansiirtoverkko* ja *dataverkko*, jotka merkitsevät ensisijaisesti datansiirtoon tarkoitettua televerkkoa, *lähiverkko* tavallisesti yhden organisaation tai rakennuksen sisäinen ‘tiedonsiirtoverkko’ ja *tietoverkko* ‘tietokoneiden ja niiden välisten viestiyhteyksien muodostama järjestelmä’. Ainoa uudissana on *tietoliikenneverkko*, jonka merkitys on sama kuin sanan *televerkko*; sanat tarkoittavat telepäätelaitteiden välisiä viestiyhteyksiä ja näiden yhteyksien mahdollistamiseksi tarvittavia laitteita.

Miksi lähes kaikki kyseisenlaiset *verkko*-alkuiset sanat ovat uusia, mutta *verkko*-loppuiset jo edellisessä sanakirjassa esiintyneitä? Yhdyssanan alku- eli määriteosa antaa vihjeen siitä, mikä perusosan merkitys on. Esimerkiksi määriteosan perusteella tiedämme, että sanoissa *kalastusverkko* ja *kaapeliverkko* perusosalla on eri merkitykset. CD-PS:n ilmestyessä *verkko*-sanana uusi merkitys ‘tiedonsiirtoverkko’ ei ollut vielä niin vakiintunut, että tämänmerkityksinen *verkko*-sana olisi päässyt määriteosaksi. Noin seitsemän vuotta myöhemmin, uuden merkityksen vakiinnuttua, sana on alkanut toimia myös määriteosana.

Mukautettua lainasanaa *netti* (< *Internet, net*), joka siis myös merkitsee tietoverkkoa, ei CD-Perussanakirjassa vielä ollut. KS:n *netti*-alkuiset sanat (*nettikahvila, nettiosoite, nettipuhelin, nettiriippuvuus, nettisivu*) on merkitty tyyliltään arkisiksi. Vaikka omaperäinen *verkko*-sana on käytössä, myös *netti* on kielen arkipäivää. Kukapa tietää, yleistyykö se siinä määrin, että tyylilajimerkintää *ark.* ei enää KS:n seuraavassa versiossa ole.

Sitaattilainoja ja mukautettuja lainoja

Kansainvälisten kulttuurikontaktien laajetessa ja tiivistyessä kieleen on tarjolla runsaasti uutta materiaalia eri puolilta maailmaa. Kieliyhteisöllä on eri tapoja ottaa vastaan tätä vierasperäistä ainesta. Yksi tapa on käyttää sanaa tai sanaliittoa sellaisenaan, täysin lainanantajakielen mukaisena, siis sitaattilainana. Ajan myötä sitaattilainojen kirjoitusasu saattaa mukautua kohdekielen äännejärjestelmään. Sitaattilainojen rinnalle onkin otettu mukautettuja, suomalaistettuja muotoja (esim. *gourmet*-sanana rinnalle *gurmee*).

Sitaattilainoja on KS:ssa vajaat 150. Sitaattilaina otetaan sanakirjaan mukaan, jos se on kielessä yleisesti käytössä, vaikka sille olisi olemassa suomenkielinen vastine tai suomen kieleen mukautettu asu. (Yllä mainittu *netti* on esimerkki sanasta, joka on mukautettu suoraan, ilman että se olisi koskaan ollut sitaattilainana.)

2000-luvun vaihteen uudissanastossa on runsaasti tietotekniikkaan ja talouselämään liittyvää sanastoa, mutta myös ruoka-, urheilu- ja musiikkisanastoa. Artikkelin tiivistelmässä mainitut sitaattilainat *benchmarking*, *cover*, *guacamole*, *handsfree* ja *spinning* edustavat näitä alueita, ja niiden lähtökieli on yhtä lukuun ottamatta englanti. Kuitenkin esimerkiksi ruokasanastoa saadaan suomeen tällä hetkellä hyvin monista kielistä, ehkä eniten italiasta.

Seuraavassa esittelen sana-artikkelit yllä mainituista KS:n sitaattilainoista ja niiden mahdolliset synonyymiset sana-artikkelit tai artikkelit, joihin sitaattilaina-artikkeleista viitataan. Lisäksi kunkin tapauksen kohdalla on sitaattilainan käytön perustelut.

benchmarking [bentsmaakiŋ] yrityksen, tuotteen tms. kehittäminen vertaamalla sitä hyväksi todettuihin esikuviin, kilpailijoihin tms., esikuva-analyysi, vertailuanalyysi.

esikuva-analyysi *tal.* = benchmarking.

vertailuanalyysi *tal.* = benchmarking.

*Suomenkieliset vastineet eivät ole vakiintuneet, joten sitaattilaina on jätetty päähakusanaksi, jonka yhteydessä selite on annettu.

cover [kavø] *mus.* sellaisen kappaleen uudelleenlevytyks, jonka joku muu laulaja tai yhtye on alkuaan tehnyt tunnetuksi. *Levyllä on yhtä coveria lukuun ottamatta vain omia kappaleita.*

*Sopivaa suomenkielistä ilmausta ei ole syntynyt tai ei ole keksitty. Puhemielessä tunnetaan myös mukautettu laina *koveri*, jota ei ole sanakirjassa.

guacamole [guakamoo'le] (taivutus: guacamole/n, -a, -en jne.) *ruok.* avocadosta tehty (dippi)kastike.

*Sitaattilainaa ei ole ainakaan vielä mukautettu suomeen. (Lähtökieli on nahuatli, eräs asteekkikieli.)

handsfree [handsfrii] *ark.* handsfree-laite.

handsfree-laite [handsfrii-] laite joka mahdollistaa handsfree-toiminnon, "handsfree".

handsfree-toiminto [handsfrii-] toiminto jonka avulla (matka)puhelinta voidaan käyttää ilman, että sitä täytyy pitää kädessä, kädet vapaana -toiminto. *Kaiuttimen tai nappikuulokkeen avulla toteutettu handsfree-toiminto.*

**Kädet vapaana -laite* on kömpelö ilmaus. *Handsfree*-sanaa on yritetty suomentaa monella tapaa, mutta sopivaa vastinetta ei ole keksitty.

spinning [spiniŋ t. spinniŋ] (taivutus: spinningi/ä, -ssä jne.) = kuntopyörävoimistelu.

kuntopyörävoimistelu kuntoliikuntamuoto jossa poljetaan kuntopyörää ryhmässä musiikin tahdissa opettajan ohjaamana, spinning.

*Sitaattilaina ja omaperäinen sana on esitetty sanakirjassa tasavertaisina, mutta käytännössä sitaattilaina on selvästi yleisempi. Voi olla, että seuraavassa sanakirjaversiossa selite annetaan *spinning*-hakusanan yhteydessä.

Yleensä sitaattilainat eivät noudata suomen kielen astevaihtelua, kuten esimerkiksi italialaista maissipuuroa merkitsevä sana *polenta* : *polentan*. Toiset taas noudattavat, mutta eivät ehdottomasti, vaan niistä käytetään myös vaihtelemattomia muotoja; näin esimerkiksi italialaista viinaa tarkoittava sana *grappa* : *grappan* tai *grapan*.

Taivutus onkin usein sitaattilainojen ongelma, varsinkin sellaisten sanojen, joiden viimeinen kirjain ei äänny, kuten ranskalaisperäinen sana *gourmet*: *gourmet'n* ('herkku' tai 'herkkusuu'). Siksi kielenhuolto suosittaa sitaattilainojen sijaan tai rinnalle mukautettuja muotoja, joita on helppompi taivuttaa, esimerkiksi *gurmee* : *gurmeen*. Myös puhekieli mukauttaa sitaattilainoja; tästä esimerkkinä on aiemmin mainittu *koveri*. Vierassanojen mukautetut muodot ovat perusteltavissa taivutuksen yksinkertaisuuden lisäksi sen vuoksi, että niiden ääntämisasu, kaikissa taivutusmuodoissaan, on kirjoitusasun mukainen. Ne ovat siis kaikin tavoin sitaattilainoja helppokäyttöisempiä.

Lähteet

Sanakirjat

CD-Perussanakirja. Uusin tieto nykysuomen sanoista. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 94. Julkaisija: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Ohjelmiston suunnittelu ja toteutus: Lingsoft Oy. Kustantaja Oy Edita Ab. Helsinki, 1997.

Kielitoimiston sanakirja. CD-ROM-versio. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy. Helsinki, 2004.

Suomen kielen perussanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55. Kustantaja VAPK-kustannus-Painatuskeskus. Helsinki, 1990–1994.

Artikkelit

Eronen R. Sanat kuin perhoset // Kielikello. 2000. 1. S. 29–31.

Eronen R. Maailma verkossa. Pääkirjoitus // Kielikello. 2005. 2. S. 3.

Grönros E.-R. Kielitoimiston sanakirja // Kielikello. 2004. 4. S. 4–8.

Grönros E.-R. Sähköinen Kielitoimiston sanakirja // Terminfo. 2005. 1. S. 14–16.

Nuutinen L. Sitaattilainat sanakirjassa // Kielikello. 2005. 2. S. 25–28.

Vilkamaa-Viitala M. Vieraita kieliä sanojen takana // Kielikello. 2005. 2. S. 19–21.

Karjalan kielen sanakirjojen hakusanoituksesta

О структуре словарной статьи в «Словаре карельского языка»

«Словарь карельского языка» в шести томах (KKS), последний том которого вышел в Финляндии в 2005 г., по принципу построения словарных статей заметно отличается от словарей карельского языка, опубликованных в Республике Карелия. «Словарь карельского языка» представляет собой большой диалектологический словарь, охватывающий все наречия карельского языка. Он адресован в первую очередь финским лингвистам, поэтому именно финский язык используется для толкования значений слов. Это же обстоятельство повлияло и на разработку принципов построения словарных статей. Словари карельского языка, подготовленные Г. Н. Макаровым и А. В. Пуужиной и выпущенные в Петрозаводске, также являются диалектологическими, но они включают диалектную лексику очень небольшого языкового региона и для толкования слов в них используется русский язык. Новые словари карельского языка, вышедшие в Карелии, представляют собой словари «литературного» языка, ориентированные на школьников и студентов. Многим карелам, которые живут в России, новый «Словарь карельского языка» может показаться слишком сложным по структуре. В данной статье объясняются принципы построения словарной статьи в новом словаре.

Suomessa laadittu kuusiosainen Karjalan kielen sanakirja (KKS) valmistui kokonaisuudessaan kevättalvella 2005 sen viimeisen osan ilmestyessä. Varsinainen sanakirjatyö vaati aikaa suunnilleen 50 vuotta. Jos otetaan huomioon ainesten keruu, aikaa kului vielä toiset 50 vuotta ja ylikin. Sanakirjan päätoimittajana kolmessa ensimmäisessä osassa oli Pertti Virtaranta ja kolmessa viimeisessä Raija Koponen. Sanakirjatyötä tehtiin vuodesta 1976 lähtien Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Sanakirjan pohjana on siis yli sadan vuoden aikana kerätty aineisto, joka käsittää runsaat 550 000 sanalippua. Sanakirjassa on edustettuna karjalan kielen kaksi päämurretta: varsinaiskarjala vienalais- ja etelämurteinen sekä aunukselaismurteet eli livvi. Lyydiläismurteiden tietoja ei kirjassa ole, koska kaikki se aineisto, mikä lyydistä oli 1950-luvulla Suomessa, oli julkaistu vuonna 1944 ilmestyneessä Juho Kujolan toimittamassa Lyydiläismurteiden sanakirjassa.

KKS poikkeaa hakusanoituseriaatteiltaan monessakin suhteessa Karjalan tasavallassa ilmestyneistä karjalan sanakirjoista. Tässä esityksessäni käsitellen lähinnä KKS:aa, mutta jossain määrin otan vertailuainesta muista karjalan sanakirjoista. KKS on laaja ja siis lähes kaikki karjalan kielen eri murteet sisältävä muresanakirja. Sen selityskieli on suomi. Petroskoissa julkaistut

G. N. Makarovin ja A. V. Punžinan Karjalan kielen sanakirjat ovat myös karjalan kielen murre-sanakirjoja, mutta kattavat suppeamman alueen murteen, ja niiden selityskieli on venäjä. Käytän niistä tässä lyhyesti vain tekijän nimeä. Näistä erinomaisista sanakirjoista on ollut paljon apua KKS:n toimittajille heidän työssään. Uudemmat Karjalan tasavallassa julkaistut sanakirjat ovat lähinnä opiskelijoille tarkoitettuja kirjakielen sanakirjoja: L’udmila Markianovan ja Tatjana Boikon “Karjal-ven’alaine sanakniigu (liügi)”, Pekka Zaikovin ja Larisa Rugojevan “Karjalais-venäläini sanakirja (pohjois-karjalaiset murtehet)” sekä Vieno Fedotovan “Kratkij frazeologitšeskij slovar’ karel’skogo jazyka (Vienen karjalan fraseologini sanakirja, Livvin karjalan frazeologine sanakniigu)”. Käytän niistä tässä nimitystä opiskelijasanakirja.

Monen Venäjän karjalaisen voi olla vaikea käyttää KKS:aa, ja siksi on syytä selvittää toimitusperiaatteita. Keskityn vain hakusanoitukseen ja pystyn vain muutamain esimerkein ottamaan esiin joitakin seikkoja. KKS:n ensimmäisen osan Johdanto-osassa on hyvin lyhyesti esitetty hakusanoitusperiaatteita. Yleisohjeena on ollut, että hakusanaksi on pyritty ottamaan sanan vienalaismurteiden mukainen muoto. Tämä selittyy sillä, että sanakirjan käyttäjiksi oli ajateltu suomalaiset kielentutkijat, joille tietenkin suomea lähinnä olevat vienalaismurteet ovat helpoin lähestymistapa. Olen yksinkertaistanut esimerkkien kirjoitusasua jättämällä esimerkiksi useimmat liudennusmerkit pois.

Ensimmäinen ja hyvin olennainen seikka on aakkosjärjestys. Vasta kuudennen, viimeisen osan sivulle 8 ennen t-alkuisten artikkelien alkua on KKS:aan lisätty käytössä oleva aakkosjärjestys. Ero Karjalan tasavallassa julkaistujen sanakirjojen aakkosjärjestykseen on huomattava. Makarovin ja Punžinan sanakirjoissa on esitetty aakkosluettelo, livvin opiskelijasanakirjassa ei sitä ole, mutta järjestys on sama kuin fraseologisen sanakirjan sivulla 9 esitetty karjalainen aakkosjärjestys. Sen sijaan vienalaismurteiden opiskelijasanakirjassa on muista poikkeava aakkosluettelo. KKS:n luettelossa on sulkeisiin merkitty liudentuneet kirjaimet, koska ne on aakkostettu samaan paikkaan kuin liudentumattomat; vain silloin kun liudennus on sanojen ainoa ero, on liudentumattoman konsonantin sisältävä sana ensin.

KKS:n johdannon hakusanoitusperiaatteiden 1. kohdassa sanotaan, että sanakirjassa on käytetty vain soinnittomia klusiileja ja sibilantteja - siis vienalaismurteiden mukaisesti. Tästä seuraa, että sanakirjassa ei yhdessäkään hakusanassa ole **b**:tä, **d**:tä, **g**:tä, **z**:tä, **ž**:tä eikä **dž**:tä. Lisäksi Suomessa yleisimmän käytännön mukaan soinniton affrikaatta on merkitty **tš**:llä eikä nykykäytännön mukaan **č**:llä. Soinnillinen affrikaatta on KKS:ssa merkitty murre-esimerkeissä **dž**:llä, ja samoin on tehty Makarovin ja Punžinan sanakirjoissa. Tässä on yksi selvä ero Karjalan tasavallan murre- ja

kirjakielisten sanakirjojen välillä: soinnillisen affrikaatan merkiksi on livvin kirjoissa otettu ž. Paikka aakkosissa on sama.

Edellä esitetty ns. vienalaisperiaate aiheuttaa sen, että *briha-* ja *balalaikka-* sanat löytyvät **p**-alkuisista: **priha** ja **palalaikka**, *doroga* on **t**-alkuisissa: **toroka** ja *goŭ* on **k**-alkuisissa: **koŭa**, *zavodie* on hakusanoitettu **s**-alkuisten joukkoon: **savotie**, *ženihhä / ženihä* on hakusanoitettu **šeni(h)**häksi ja aakkostettu muiden **s**-alkuisten joukkoon.

Affrikaatan merkinnästä otan esimerkiksi KKS:n 6. osasta **t**:llä alkavien sanojen joukosta hakusanana **tšontšoi**. Se on aakkostettu siten, että ajatellaan **t** ja **š** erillään, **tš**-alkuiset tulevat **tr**-alkuisten jälkeen ennen **tu**-alkuisia. Kuten aakkosluetteloista voi huomata, Karjalan tasavallassa julkaistuissa sanakirjoissa sana löytyy aakkosten alkupäästä, **č**:n kohdalta. Suomessa on affrikaattaa merkitty eri aikoina monella tapaa: yleisin on tämä KKS:n käyttämä (*tš / ttš* ja murre-esimerkeissä soinnillinen *dž*), mutta joskus on käytetty myös merkintää *č / čč*.

KKS:ssa kaikki **s**:t ovat aakkosissa tasaveroisia (jos sanat ovat muuten samannäköiset, **š** jää toiseksi ja **ś** viimeiseksi): esim. **saikka**, **šaikka**, **šeni(h)**hä, **śola**, **svieri**. Makarovin, Punžinan ja livvinmurteiden opiskelijasanakirjoissa **š**-alkuiset sanat tulevat **s**-alkuisten jälkeen. Erillään ovat myös soinnilliset **z** ja **ž**. Vienalaismurteiden opiskelijasanakirjoissa on vain yksi **s** hakusanoissa ja esimerkeissä, toisin sanoen oppositiota **s**:n ja **š**:n välillä ei ole merkitty ollenkaan.

Makarovilla ja Punžinalla on *w*-kirjain *u-* ja *ü-*loppuisen diftongin tai pitkän *u*:n ja *ü*:n jälkimmäisen komponentin merkinä, jota ei ole enää opiskelijasanakirjoissa, vaan niissä on KKS:n tapaan *u-* tai *y/ü-*kirjain. Tämä seikka vaikuttaa tietenkin aakkosjärjestykseen, kun **w** tulee **u**:n ja **v**:n jälkeen.

Erittäin silmäänpistävä ero varsinkin hakusanoituksessa KKS:n ja muiden sanakirjojen välillä on pitkään *a*:han ja *ä*:hän palautuvien diftongien merkinnässä. KKS:ssa on myös diftongi *ua* hakusanoitettu **oa**:ksi (**moa**) ja diftongit *iä*, *yä* ja *öä* **eä**:ksi (**peä**). Siihen, miksi näin päätettiin tehdä, on varmaan monta syytä, joita näin jälkikäteen voi vain arvailla. Suomalaiset tutkijat ovat jo alusta lähtien merkinneet nämä diftongit useimmin *oa*:na ja *eä*:nä ja osin myös *öä*:nä (esim. Arvid Genetz kirjassaan Tutkimus Venäjän Karjalan kielestä). Tämä on vaikuttanut KKS:n periaatteista päätettäessä 1950-luvulla. Nyt ratkaisu olisi luultavasti toinen.

Pohdin seuraavaksi, miten paljon yhdelle lekseemille on sallittu äänne- ja muotovariaatiota. KKS:ssa **tšitšiliusku**-artikkelissa on 52 eri asua, jos kaikki liudennuserotkin otetaan huomioon. Jos eroja liudennuksessa ja soinnillisuudessa ei lasketa, asuja on n. 40. Yksinomaan tverinkarjalasta asuja on 15. **tšitšiliusku** valittiin hakusanaksi, koska asu on yleisin, niin myös

vienassa. Hakusanamuotoon nähden etäisimpiä on esimerkiksi tveriläismurteiden *tšigal'aguška*. *tšigal'aguška* voisi olla oma artikkelinsakin, mutta sen ja *tšitšiliuskun* välinen äänteellinen jatkumo on niin tiivis, että rajanveto eri artikkeleihin tuntui epätarkoituksenmukaiselta. Viitehakusanat on pyritty tekemään mahdollisimman aukottomasti.

KKS:n 5. osassa on artikkeli **roštuo**, joka on sanan vialainen asu. Eniten tietoja KKS:n arkistossa on kuitenkin asuista *rastava / rastavu*. Vialaisperiaatteen mukaan kaikki on yhdistetty **roštuo**-artikkeliin, vaikka yhdyssanoja ja johdoksia on yhtä yhdyssanaa lukuun ottamatta vain *rastava*-asusta.

Joskus siis on artikkeliin yhdistetty hyvinkin erilaisia asuja, joskus taas voi ihmetellä, miksei niin ole tehty, ja voi jopa ihmetellä, miksei löydy edes viitehakusanaa. Syynä on se, että sanakirjaa on tehty niin pitkän ajan kuluessa, että kaikkia vastaan tulevia äänneasuja ei ole osattu arvata. Syynä on myös se, että on ajateltu pitää kaikki vähänkin enemmän toisistaan poikkeavat asut erillään – varsinkin, jos sanat alkavat eri kirjaimella. Tästä esimerkkinä voi mainita vaikkapa 1. osan **feresi**- ja 6. osan **veresi**-artikkelit; samoin **fartukka** ja **vartukka** on erotettu eri artikkeleiksi. Toimituksen nyky-ymmärryksen mukaan nämä ilman muuta kuuluisivat samaan artikkeliin. Kaikista **f**-alkuisista on kyllä vertausviite **v**-alkuisiin, eli kyse ei ole ollut vahingosta, vaan ratkaisu on ollut tietoinen. Toisinkin on menetelty: 1. osan **hniika**-artikkelista ei ole viitettä 2. osan **kniika**-artikkeliin, on vain yleisviite **hn-** > myös **kn-**. Samoin on 2. osassa tehty viittaus **kn-** > **hn-**.

On selvää, että murteenkerääjät ovat merkinneet muistiin vaihtelevasti sanaliitto- ja yhdyssanatapauksia (esim. *uusi vuosi* ja *uusivuosi*), ja jonkin verran on KKS:ssa muutettu esimerkkiaineksen merkintöjä yleisimmän kirjoitusasun suuntaan. Informanttien sanapainoja ei enää voi kuulla. Ei voi tietää esimerkiksi, onko viisaampaa tulkita 'melkoista, aikamoista määrää' tarkoittava ilmaus *väki tukku* sanaliitoksi vai yhdyssanaksi. Molempia kirjoitusasuja on sanalipuissa. Ratkaisu oli se, että molemmat kirjoitusasut jätettiin silleen, esimerkit sijoitettiin **tukku**-artikkeliin omaksi merkitysryhmäkseen ja tehtiin **väkitukku**-viittausartikkeli (> *tukku* 3). Makarovin sanakirjassa ilmaukset on tulkittu sanaliitoiksi ja ne on sijoitettu **vägi**-artikkeliin, mutta lisäksi sanakirjassa on oma adverbartikkelinsa **vägitukul**. KKS:ssa nämäkin tapaukset ovat **tukku**-artikkelissa. Punžinalla ilmaustyyppiä ei ole, koska tverissä *tukku*-sanalla ei ole tällaista suuren määrän merkitystä.

Sanaliittohakusanoja KKS:ssa on niukalti, esimerkiksi 6. osassa vain interjektioita tyyppiä **tšillin tšallin** ja **viu vau** ja yksi ainoa nominiartikkeli **toine arki**. Se on tehty samaan tapaan kuin 1. osan artikkelissa **ensimmäine arki**. Jos tarkastellaan muita **toine**-alkuisia hakusanoja, yhdyssanaksi on hakusanoitettu mm. **toineilma**, jossa siinäkin on sekä sanaliitto- että

yhdyssanaesiintymiä. Sen sijaan samaa merkitsevässä **tuoilma**-artikkelissa kaikki tiedot ovat yhdyssanoja. Aakkostuksessa tulkitaan sanaliitotkin yhdyssanoiksi.

Esitän lyhyesti esimerkkisanojen avulla vain muutamia yleisperiaatteita, jotka saattavat tuottaa ongelmia.

-ine-substantiivit tai **-adjektiivit**: **talo(i)lline**-artikkelissa on sanasta asut *talollini ~ taloillini ~ talolline ~ taloilline ~ taloilliine*. Tässä on livvin kanta hakusanassa.

-ailla-frekventatiiviverbit: **vaivailla**-artikkelissa on asut *vaivoalla ~ vaivailla*, **vaivaillakseh**-artikkelissa asut *vaivoallakseh ~ vaivaillakseh*. Tässäkin livvin kanta voittaa, mutta varsinaiskarjalan muodoista on viitehakusanat.

-ie-adjektiivit: **valkie**-artikkelissa on asut *valkie ~ valkei*. Ei ole tehty viitehakusanoja muotoa ***valkei**.

Sanan 1. tavun *e*-loppuiset vokaaliyhtymät voivat tuottaa ongelmia, sillä esim. **loata**-hakusanan alta löytyvät asut *laeta ~ lageta*. **moah**-artikkelissa ovat myös asut *maeh ja majeh*, mutta viitehakusanat onneksi ohjaavat etsijää.

-jä- ja **-joa**-verbit: 1. osassa ovat erillään esimerkiksi artikkelit **hyräjä** ja **hyrätä**, mutta myöhemmin tämäntyyppiset verbit on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yhdistetty **tšurata**-tyyppisen hakusanan alle: *tšur|ata, -uau ~ -ajau*. Viitehakusanaa ei ole yleensä tehty.

Refleksiiviverbit on yhdistetty **-kseh**-päätteisiin, jopa niin, ettei viitettä ole tehty *-heze*-asusta; vain jos ei *-kseh*-muotoa ole, on *-ttši*-asusta muodostettu hakusana: esim. **pintšissellättši**. Sen sijaan Sisä-Venäjän murteille tyypillinen refleksiiviverbi on omana artikkelinaan: esim. **uskaltoattšie**-hakusanan alla on tverinmurteinen asu *uššaldoatšie*. Punžinalla sama sana on hakusanoitettu seuraavasti: **uššalduačie**.

Lukijaa helpottamaan on laadittu viitehakusanoja, mutta toisaalta on pitänyt säästää tilaa, joten tarpeeksi ei niitä aina ole, ja ns. ryhmäviitteet eli katkaistut viitteet eivät välttämättä ole kovin havainnollisia. Karjalan kielen sanakirjan lukijoiden on syytä käyttää mielikuvitustaan sanojen haussa.

Käytetty kirjallisuus

- Fedotova V.* Kratkij frazeologičeskij slovar' karel'skogo jazyka. Petrozavodsk, 2001.
Genetz A. Tutkimus Venäjän Karjalan kielestä. Helsinki, 1880.
Karjalan kielen sanakirja 1. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 1. Helsinki, 1968.
Karjalan kielen sanakirja 2. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 2. Helsinki, 1974.
Karjalan kielen sanakirja 3. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 3. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 25. Helsinki, 1983.
Karjalan kielen sanakirja 4. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 4. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 25. Helsinki, 1993.

Karjalan kielen sanakirja 5. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 5. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 25. Helsinki, 1997.

Karjalan kielen sanakirja 6. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 6. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 25. Helsinki, 2005.

Kujola J. Lyydiläismurteiden sanakirja. Lexica Societatis Fenno-Ugricae IX. Helsinki, 1944.

Makarov G. Slovar' karel'skogo jazyka. Petrozavodsk, 1990.

Markianova L. & Boiko T. Karjal-ven'alaine sanakniigu. Petroskoi, 1996.

Punžna A. Slovar' karel'skogo jazyka. Petrozavodsk, 1994.

Zaikov P. & Rugojeva L. Karjalais-venäläini sanakirja. Petroskoi, 1999.

© *В. П. Федотова, Т. П. Бойко*
Петрозаводск

Собственно карельская лексика в диалектных словарях Финляндии и Карелии

Диалектный словарь собственно карельских говоров с толкованием на русском языке составляется с целью фиксации и введения в научный оборот карельской лексики, в которой отражается материальная и духовная культура карел Лоухского, Калевальского, Беломорского, Кемского, Медвежьегорского, Муезерского, Суоярвского районов. Всего охвачены 33 ареала Северной и Средней Карелии.

При работе над словарем мы использовали опыт составления известных диалектных словарей карельского языка Г. Н. Макарова, А. В. Пунжиной, учебных словарей Л. Ф. Маркиановой и Т. П. Бойко, П. М. Зайкова и Л. И. Ругоевой.

Настольной книгой для нашей работы является 6-томный словарь карельского языка «Karjalan kielen sanakirja» – труд, над которым финляндские ученые работали десятки лет, включающий материал собственно карельских и ливвиковских наречий, собранный в течение более 100 лет (2-я половина XIX и 1-я половина XX в.). Эту гигантскую работу невозможно переоценить.

Словарь «Karjalan kielen sanakirja» мы используем как канву, которая помогает не упустить слова, зафиксированные собирателями карельского материала из Финляндии, многие из которых мы в настоящее время уже не смогли бы найти в полевых условиях. Это касается прежде всего лексики, отражающей исчезнувшие культурные и материальные реалии, а также образной речи карел того времени, когда они в Карелии говорили по-карельски.

Опираясь на указанные работы, мы поставили задачу дать наиболее полное описание зафиксированной лексики собственно карельских говоров Карелии в их современном звучании; это будет отражением состояния с 1950-х гг. до наших дней. После Великой Отечественной войны изменилась демографическая ситуация в Карелии, многие деревни исчезли, а другие слились в поселения, в которых живут носители различных говоров, поэтому звучание карельской речи во многом унифицировалось. Возможно, поэтому наши материалы по некоторым параметрам отличаются от тех, что были зафиксированы собирателями в XIX – начале XX в.

Следует также заметить, что материалы словаря собраны главным образом путем магнитофонных записей; рукописные же образцы речи записаны носителями конкретных говоров, поэтому у нас есть возможность дать максимально точное звучание карельской речи.

Это касается и опубликованных источников, используемых в нашей работе. Коллективные монографии по материальной и духовной культуре сегозерских карел, образцы карельской речи из книги «Karjalan kielen näyteitä», изданной в г. Йозенсуу (Финляндия), и другие полностью построены на материалах магнитофонных записей. Из других публикаций мы также берем прежде всего сведения, зафиксированные на пленке, имея возможность проверить точность звучания там, где появляются сомнения.

Помощники и консультанты из носителей конкретных говоров (А. С. Степанова – по Гейколе, П. И. Лукина – по Юшкозеру, Е. И. Клементьев – по Ондозеру, Р. Ф. Клементьева – по Тикше) дополняют и подтверждают наши сведения по севернокарельским ареалам. Также нам систематически любезно предоставляет лексические материалы по севернокарельским ареалам сотрудник сектора языкознания Д. В. Кузьмин. По тунгудскому говору у нас есть обширная, хотя и неполная картотека Ф. Ф. Федорова, который длительное время работал в данном ареале. Таким образом, у нас имеются достоверные сведения по основным ареалам собственно карельской речи, проверенные путем неоднократного прослушивания магнитофонных записей, а также во время экспедиций в конкретные районы.

Представленный в «Словаре собственно карельских говоров Карелии» материал позволяет сделать некоторые выводы:

1. Говоры данной территории характеризуются общностью в основной его части и мало отличаются по базовой лексике от ливвиковских и тверских собственно карельских говоров.

Влияние ливвиковского и людиковского наречий на собственно карельскую лексику наблюдается там, где они непосредственно соприкасаются. Например, в сегозерских говорах слово *počči* ‘свинья’ встречается гораздо чаще, чем *šiga*; ливвиковское *päčči* ‘печка’ используется в падан-

ском говоре вместо собственно карельского *kiugua*; русское 'шанга' передается в некоторых сегозерских говорах общим с ливвиковским *si-pan'iekka*, во всех других собственно карельских говорах *šanki* (Калевала – Кестеньга), *šangi* (во всех других говорах), а также почти везде известно в данном случае слово *kal'itta*. С точки зрения лексики и звучания речи выделяется тунгудский говор своей близостью одновременно как с ливвиковскими, так и тверскими говорами, особенно с последними.

2. Словообразовательная система характеризуется общими чертами: это однородные по построению сложные слова, образованные путем словосложения. С помощью одинаковых суффиксов образуются моментативные, фреквентативные, каузативные глаголы, при этом первые, то есть моментативы и фреквентативы чрезвычайно богато представлены в тунгудском говоре.

Отглагольные имена образуются одинаково во всех говорах. Имеются горновые различия в образовании уменьшительно-ласкательных и отыменных прилагательных, а также в отыменных и притяжательных существительных на *ne – n'e – n'i*; *šil'män'e* в тунгудском, *šil'mäne* в паданском, *silman'i* в калевальско-кестеньгском; *pikkarain'e* (Тунгуда), *pikkarane* (Паданы), *pikkarain'i* (Калевала – Кестеньга), *pilvin'e* (Тунгуда), *pilvine* (Паданы), *pilvin'i* (Калевала – Кестеньга). Здесь сегозерский вариант схож с ливвиковским, тунгудский с тверским говором.

3. Говоры собственно карельского наречия имеют некоторые фонетические различия, что также сближает их с ливвиковскими говорами. Сильнее других говоров выделяются северные: калевальский, вокнаволоцкий и кестеньгский ареалы, которые в звучании характеризуются отсутствием звонкости согласных, там нет согласных звуков *b, d, g, z, ž*; во всех остальных ареалах в той или иной степени эти согласные имеются, в начале и в середине слова, как и в ливвиковском наречии.

4. Собственно карельское наречие в целом характеризуется одинаковым использованием шипящих и свистящих согласных, и шипящие встречаются намного чаще, чем свистящие, – это, очевидно, особенность собственно карельских говоров, отличающая их от ливвиковского наречия, где наблюдается обратная картина: свистящие более частотны. Своеобразно выглядят на этом фоне некоторые говоры паданского ареала и Поросозера. Здесь заметно более частое употребление свистящих, чем в других собственно карельских говорах, но часто бывает так, что один и тот же информант в одних и тех же словах использует и свистящие, и шипящие, что позволяет говорить о явном переходе от собственно карельского наречия к соседним ливвиковским и людиковским: *šil'mä ~ sil'mä, šil'it't'yä ~ sil'it't'yä*. Общим с ливвиковским является и наличие мягкого *d'* вместо *j*, здесь сближаются Ондозеро, Тунгуда и некоторые паданские говоры с ливвиковской Видлицей: *d'ogi* вместо *jogi*, в *d'ärvi* вместо *järvi*.

Что касается гласных звуков, то для большинства собственно карельских говоров характерен дифтонг *-ua ~ -yä* в начале и в конце слова, как и в ливвиковском наречии, но в некоторых говорах, как и в ливвиковском, на месте указанного дифтонга встречается *-oa, -ea, -iä*, этим отличаются также некоторые паданские и поросозерские говоры. В собственно карельском ондозерском говоре, как в ливвиковской Видлице, вместо дифтонгов *ua ~ yä* употребляются долгие гласные: *kačahtaa* вместо *kacahtua*.

Все указанные особенности фонетики найдут отражение в словаре собственно карельских говоров Карелии.

5. Иллюстративный материал к словарным статьям свидетельствует о том, что грамматическая структура говоров обладает общими характеристиками.

Падежные формы совпадают во всех ареалах, однако и тут есть исключение: в говоре дер. Чебино (Собене) могут встречаться как полные (собственно карельские), так и сокращенные (ливвиковско-людиковские) формы местных падежей в одних и тех же текстах. Общим является отсутствие отдельной формы аллатива на *-lle*, его значения везде передаются формой адессива на *-lla*.

Возвратные глаголы имеют отличия от общей картины в паданском и тунгудском ареалах, где наряду с формами на *tuo, työ kaccouduo* встречается форма *kaccuokse* 'смотреться'.

В качестве вывода хотелось бы сказать, что материал словаря собственно карельских говоров Карелии позволяет утверждать, что создание единого карельского литературного языка возможно.

Литература

- Духовная культура сегозерских карел конца XIX и начала XX в. Л., 1980.
- Зайков П., Ругова Л. Карельско-русский словарь (северно-карельские диалекты). Петрозаводск, 1999.
- Маркианова Л., Бойко Т. Карельско-русский словарь (ливвиковское наречие). Петрозаводск, 1996.
- Karjalan kielen sanakirja. Helsinki, I – 1968, II – 1974, III – 1983, IV – 1993, V – 1997, VI – 2005.
- Материальная культура и декоративно-прикладное искусство сегозерских карел конца XIX и начала XX в. Л., 1981.
- Словарь карельского языка (ливвиковский диалект) / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990.
- Словарь карельского языка (тверские говоры) / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994.
- Устная поэзия тунгудских карел / Изд. подгот. А. С. Степанова. Петрозаводск, 2000.

БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЛЕКСИКА И ОНОМАСТИКА КОНТАКТНОГО АРЕАЛА

© О. Н. Крылова
Санкт-Петербург

Знаковая символика женского севернорусского костюма

Одежда, как известно, почти у всех народов является не только средством защиты людей от воздействия окружающей среды, но и знаком принадлежности человека к той или иной социальной или половозрастной группе. Русский народный костюм не был исключением из этого правила.

Рассмотрение народной одежды в качестве своеобразного языка культуры впервые предложил П. Г. Богатырев, представив структуру народного костюма как особый вид семиотической системы. Исследователь выделил практическую, утилитарную, эстетическую, возрастную, социально-половую (функция костюма замужней женщины) и тесно связанную с ней моральную функцию, а также функцию праздничного костюма, обрядовую, профессиональную, функции, указывающие на род занятий, вероисповедание, и региональную функцию¹.

В состав севернорусского сарафанного комплекса входили: рубаха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, украшения, обувь.

Термин «сарафан» первоначально с XIV по XVII в. обозначал мужскую длинную распашную одежду. С XVI в. этим термином стали называть женскую накладную (надеваемую через голову) или распашную (на сквозной застежке спереди) одежду. В зависимости от материала, кроя или места бытования он мог называться атла'сником (*Атласник, самый лучший сарафан, из атласа шили*. Карг. Арх.), кума'чником (*Из кумача – кумачник, уборки внизу, потом ленточки, кружево. Сарафан гладкий, из кумача – кумачник*. Карг. Арх.), кле'точником (*А клеточник*

изо льна, тоже длинный сарафан, клеточник дононешнего носили, его в клетку ткали. Кирил. Волог., Онеж. Карел.), кра'сиком (Красик – это сарафан, его никто не сошьет сейчас. Пест. Новг. Красик-то еще моя бабка носила, мы-то красики не захватили. Белоз. Волог., Баб. Волог.), дубняко'м (Вышла на улицу в синем дубняке. Волог.) и др. В зажиточных семьях праздничные сарафаны шили из парчи (парчев'ик, парчо'вник), шелка (ше'лко'вик), бархата (ба'рхатник). Самыми завидными невестами считались девушки, носившие «золотые» сарафаны – вышитые золотными цветами по белой ткани².

Севернорусские сарафаны по покрою были разнообразны: косоклиный глухой; косоклиный распашной или со швом спереди; прямой, собранный на обшивке, с ляжками; сарафан с лифом.

Наиболее древним считается глухой косоклиный сарафан (шушу'н, мату'рник, маре'нник). На сгибе перегнутого пополам полотнища прорезали отверстие для головы. Дополнительные клинья соединяли перед и спинку сарафана. Первоначально наиболее старинные образцы сарафанов имели для фасона пришитые со спины длинные узкие рукава, зачастую фальшивые. Обычно их затыкали за пояс или связывали узлом на спине. Такие сарафаны сохранялись в быту псковских староверов и в Новгородской губернии до второй половины XIX в.

Косоклиный распашной сарафан (кли'нник, кита'ечник, фера'зь) состоял спереди из двух полотнищ, застегивающихся на медные, оловянные или серебряные пуговицы либо сшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Сильно расклешенный силуэт косоклиных сарафанов, вертикальные линии отделки подчеркивали стройность женской фигуры.

Более поздние круглые или прямые сарафаны относятся к третьему типу (кругля'к, кру'глый сарафан). Их шили из нескольких цельных прямых полотнищ, густо соборенных у верхнего края. Сборки прикрывались прямой обшивкой, к которой пришивали ляжки. Обычно круглые сарафаны украшались по подолу двумя-тремя полосами кружев, лент или позумента.

И, наконец, четвертый тип – это сарафан с лифом (ли'фник), пришедший в деревню из города. Здесь основной признак – наличие лифа в верхней части сарафана, облегающего грудь и спину или только спину, который пришивался к пышной соборенной юбке.

Особенности в одежде различных по зажиточности групп крестьянства в середине XIX в. выражались не столько в покрое и типе одежды, сколько в качестве тканей, наличии ценных украшений. Девушка, достигшая совершеннолетия, обязательно должна была иметь шелковый сарафан (ше'лковик: *Пасху носили шелковик*. Беломор. Карел.) или

ба'рхатник (*Сарафан из бархатной материи шили, бархатник*. Череп. Волог.). Шелковники, атласники, штофники и гарусники были дорогими, надевались по большим праздникам, и их количество у невесты указывало на уровень благосостояния семьи. Богатые девушки имели по несколько штук каждого вида сарафанов, невесты из семьи среднего состояния – только по одному. *Дала сундук окованный. В этом сундуке чего только нет! Штофники, парчовники, и золотом и серебром – всем наградила* (Медв. Карел.). Самые бедные девушки и женщины совсем не имели атласников и гарусников, и их самой нарядной одеждой были кумачники и ситечники. *У крещеных-то было аглечник да сатинник, агличник только богатые держали, а у бедных не было* (Пудож. Карел.). *Кто жили побогаче, те уж и кашамерники заведут* (Никол. Волог.).

«В бывшем Череповецком уезде Новгородской губернии, – как пишет М. К. Герасимов, – девушки в соответствии с их богатством или бедностью составляли отдельные хороводы в праздник: наиболее богатым был хоровод „бархатниц“, затем – хоровод девушек, одетых в „гарусники“ – сарафаны из шерстяной материи, а бедные собирались в хоровод из одетых в „ситцевики“»³.

Молодежь своему костюму уделяла очень большое внимание. Парни и девушки при встрече хвалили одежду друг друга. Девичьи разговоры сосредоточивались вокруг красивых нарядов подруг. Русские крестьяне говорили: «Курицу не накормить – девицу не нарядить». Наличие только одного праздничного сарафана у девушки брачного возраста считалось верхом неприличия. Ее родителей деревенское сообщество обычно строго осуждало за безразличие к дочери⁴.

Особое значение в народном костюме придавали цвету как средству наибольшей выразительности. Цвет играл существенную роль в народной одежде, сообщая определенную информацию о носителе данного костюма. При этом различие в цвете костюма воспринималось гораздо легче, чем изменения в крое или ткани, особенно на расстоянии. Цвет одежды как бы предупреждал собеседников, с кем они имеют дело и какую позицию нужно занять в отношении этого человека. У богатых невест в приданое входило до 3–5 десятков сарафанов: красные, которые носили молодыми, пестрые – для среднего возраста и синие (синяки) – для пожилого. Подвенечный сарафан нередко или черного или синего цвета, красный надевали на второй день после свадьбы (он как бы символизировал супружество).

Основная часть костюма русских крестьянок до начала XX в. – это длинная конопляная рубаха. Рубахи, которые носили с сарафаном, могли быть цельными: проходни'ца (В.-У., Тотем., Никол. Волог.); проходёнка, проходну'ха (Тотем. Волог.); однаста'н, однаста'нка (Волог.), ис-

це'льница, пропускни'ца (Пинеж. Арх.). Рубахи «исцеленницы» были распространены по рекам Мезени и Пинеге в первой половине и в середине XIX в.⁵ Рубахи составные чаще шили из разных тканей. Верхнюю часть (рукава, воротушку, грудку, оплечье) делали из более тонкой, часто покупной ткани, нижнюю часть (подставку) – из домотканины. Бытовали также рубахи из дорогих шелковых тканей, а позднее – из миткаля, ситца, коленкора, сатина, парчи.

В деревне дни сенокоса, окончания жатвы, первого выгона скота считались праздничными, крестьянки наряжались в специальные рубахи с богато украшенными подолами: подо'льница (*Если становина вышита, то это подольница*. Онеж. Карел.); поко'сница (Волог., Арх.); сенок'сница (*Сенокосницы были сморшатами, сено косили в них*. Волог.); наподо'льница (*К сенокосу девки и бабы готовят себе чистые наподольницы – рубахи с вышитыми по подолу из красной бумаги каймами или с обложенным кругом его лентами и кружевами*. Кадн. Волог.); жа'гельная рубашка (*Как рожь-то поспеет, выходили мы жать и одевали жательные рубашки. Женщины рубахи жательные имели, мужчины все в том же, что и дома*. Кириш. Ленингр.); страдову'шка (*Страдовушки, когда жать, рожь жати с красным узором страдовушка, а овес жать – с белым узором*. Сол. Новг.). Носили их с большим напуском под опояском – узким ярким пояском, под который подтыкали холщовый платок или полотенце для вытирания пота. Иногда этот наряд дополнялся передником либо юбкой. В северных губерниях покосные рубахи со второй половины XIX в. начинают шить с верхом из кумача и станом из белого холста, клетчатой пестряди или набойки. Широкая полоса тканого геометрического узора, украшавшего подолы, порой превышала 30 см. В более ранние времена она выполнялась только из красных ниток, позднее дополнилась вышивкой разноцветным гарсом.

С глубокой древности на Руси существовал обычай шить праздничные рубахи с очень длинными рукавами, собиравшимися у запястья красивыми складками. В праздничной и свадебной одежде Вологодской, Олонецкой, Архангельской губерний встречались рубахи с рукавами длиной до 100–120 см (долгорука'вки). В Олонецкой и Архангельской губерниях свадебные рубахи с такими длинными рукавами назывались убива'льницами⁶, пла'кальнями или маха'вками⁷, маха'льницами, так как уезжавшая под венец невеста, прощаясь с родными, причитала («убивалась») и размахивала длинными рукавами.

Рубаха непосредственно соприкасается с телом человека, и, чтобы обезопасить его, нужно было лишить злые силы возможности проник-

нуть внутрь одежды через отверстия (ворот, подол, рукава). Отпугнуть нечисть могла вышивка, в которой зашифрованы древние магические символы.

В северных губерниях вышивку выполняли хлопчатобумажными, шелковыми и золотными нитями. В узорах традиционными мотивами орнамента были изображения женской фигуры – символа плодородия, солярных знаков: кругов, крестов, свастики, усложненных ромбов, коня, оленя, птицы; дерева – символа вечно живой природы; двух птиц – голова к голове – символа счастливого брака.

Важной составной частью праздничного сарафанного комплекса была плечевая одежда – душегре'я (коротёна) – род короткого кафтана с рукавами или без рукавов: обжи'м, обжима'лка (*Сошью обжималку, это безрукавка на вате. Череп. Волог.*); лиф (*Ватной лиф носили, коротенькой и без рукавов, а грудь обожмет – вот и тепло. Онеж. Арх.*); ли'фик (*На плечи надевали лифик, не такой, как теперь. Белоз. Волог.*). Бытовала и совсем коротенькая безрукавка на лямках (перо', пёрышки, епа'нечка) с трубчатыми складками на спине. Особенно нарядные образцы такой одежды изготавливались из узорных шелковых тканей, парчи, бархата, сплошь расшитого золотными нитями. Для тепла душегрейки подбивали ватой. Распашные шугаи (тип жакета) с рукавом простегивали на вате, отложной воротник и рукава отделявали мехом: *А из бархата такой шугай шила, таких и нет теперь* (Пуд. Карел.).

Женский севернорусский костюм отличался от девичьего головным убором. Девушки полностью волосы не закрывали, а замужние женщины их тщательно убирали. Девушки до замужества носили повя'зку, поче'лок – девичий головной убор в виде широкой ленты, украшенной жемчугом, бисером, позументом. Этот головной убор закреплялся двумя тесемочками на затылке. Достигая совершеннолетия, девушка вплетала в косу ленту с бантом на конце в знак того, что ее можно сватать. Сговоренка, то есть просватанная девушка, надевала повязку с нате'мником – кружком или овалом, прикрывающим ей макушку. Это был переходный тип головного убора от девичьего к женскому. Просватанная невеста украшала косу длинной широкой лентой красного или желтого цвета. В день венчания или накануне невеста передавала ленту (девичью волю) своим подружкам. В Архангельской, Вологодской губерниях иногда косу убирали под длинный белый вязаный колпак, носивший название «честного». Наиболее распространенными и венчальными головными уборами на Русском Севере были также голодво'рец, вене'ц, кону'ра, кору'на. Они были дугообразной формы или в виде широкого обруча, обязательно с открытым верхом, который венчал венок из искусственных цветов или лент.

Важнейшим элементом свадьбы был ритуал надевания на голову новобрачной женского головного убора – повивание, окучивание, снятие покрова. Девичья прическа менялась на женскую: две косы укладывались вокруг головы и убирались под мо'ршень, бору'шку, являющиеся уже закрытыми уборами.

Крестьянки среднего возраста и старухи носили под платком пово'йники или косынки, молодые женщины по праздникам украшали голову кокошником.

Еще одной разновидностью северных женских головных уборов была шамшура – тип шапочки с твердым околышком или дном и завязками сзади. В большинстве губерний дорогие кокошники и шамшуры носили с платками, вышитыми золотными и серебряными нитями.

В тех губерниях, где основным головным убором девушек и женщин был платок, девушки завязывали его на голове иначе, чем женщины. Если женщины, например, складывали платок углом и завязывали его узлом под подбородком, то девушки концы платка завязывали на затылке. Девушки часто складывали платок в ленту и обвязывали его вокруг головы, опуская концы на спину, женщинам же так носить платок не полагалось. Девушки накидывали поверх костюма на плечи иногда до пяти платков разного размера, закладывая их концы за лямки сарафана, женщины могли накинуть один длинный платок, закалывая его на груди на булавку.

Главными днями, когда традиционный костюм являлся обязательным для девушки, были дни самых больших праздников и дни исполнения старинных обрядов. Так, девушки надевали традиционный костюм в Крещение, так как в этот день девушки брачного возраста «выставлялись на смотрины». Они катались на санях или «стояли столбами» на площадях, показывая себя и свою одежду потенциальным женихам и их родителям. Кроме того, традиционный костюм был обязателен для невесты и подружек во время свадеб. П. С. Ефименко писал, что там, где старинный наряд вышел из употребления, «во время свадеб, заплачки... невесты обязаны быть в повязке и штофной паре так, что у которой ее нет, та занимает на стороне»⁸.

Русский народный костюм на протяжении длительного времени (XVIII – середина XX в.) был относительно стабилен, что отмечалось практически всеми исследователями. Вместе с тем в течение двух с половиной столетий шел непрерывный процесс развития традиционной одежды. Одни вещи заменялись другими, менялись их покрой, цвет, материал, из которого они шились, изменялась манера ношения того или иного предмета одежды, включались новые, не типичные для традиционного костюма предметы. Особенно активными были изменения в покрое одеж-

ды: косоклинные сарафаны заменялись на прямые, вместо верхней одежды с прямой цельной спинкой появлялась верхняя одежда, отрезная по талии, со сборками вокруг талии, изменялись фасон и состав головных уборов. Так, в Олонецкой губернии ушли в прошлое «старинные сарафаны (кунтуши, кундыши, матурные шубы) с широкими ляжками, к которым сзади прикреплялись две ленты, называемые рукава... Сейчас эти сарафаны не носят. Сейчас сарафан похож на юбку. Он кроится из пяти-шести полотнищ, причем передние полотнища делаются длиннее ее задних и боковых... ляжки узкие, обшитые тесьмой. Сарафан стягивается поясом»⁹. В 80-е гг. XIX в. у девушек Олонецкой губернии в моду входит кафтан: «Как на новую моду, возникшую, впрочем, в самой деревне, можно указать на „пятишовки“ и „семишовки“. Они шьются на вате или кудели, покрываются сукном, кумачом, ситцем, кроются в талию, спереди без вытачек с широкой юбкой, доходящей до половины бедра. На спине и по бокам делаются пять или семь швов, которые отмечаются пятью или семью пуговицами, идущими вдоль талии»¹⁰.

В конце XIX в. получил распространение казачо'к (Карг. Арх.); каза'к (Кондоп. Карел.); каза'чка (Кем. Карел.); ба'ска (Чаг. Волог., Подп. Ленингр.) – длинная кофта, шитая по фигуре, с невысоким стоячим воротником, с рукавами, широкими вверху и узкими у кисти. Казачок застегивался спереди на пуговицы. Носили его с юбкой или сарафаном.

На рубеже XIX и начала XX в. в моду вошла городская па'ра – парная с сарафаном, а позднее с пышной юбкой приталенная кофта. Как правило, ее шили из одинаковой материи: *У невесты была пара [сарафан и кофта] одета* (Пуд. Карел.). Женский костюм, состоящий из юбки и кофты, в вологодских говорах получил название парёшка (*У ей парёшката баская*), па'рка (*Больно у тя парка-то седни добра. Где уж эдакую парку-то себе огоревала?* Волог. Волог.), па'рочка (*Сарафаны-то баские шили да кофты казачки были. Вот накинут такую парочку и на гулянье ходили.* К.-Г. Волог. *А если он придет к зиме, дак парочку купит, это платье, отдельно юбка и кофта.* Вашк., Баб. Волог., Карг. Арх., Онеж., Прион., Пуд. Карел., Подп. Ленингр.).

Исследования показывают, что семиотический статус костюма как группы функционально взаимосвязанных и взаимообусловленных предметов на протяжении XIX – начала XX в. продолжал оставаться очень высоким, обладал как утилитарной, так и знаковой прагматикой, то есть соответствовал и практическим и символическим требованиям.

¹ Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.

² Работнова И. П. Русская народная одежда. М., 1964.

³ Герасимов М. К. Некоторые обычаи, обряды, приметы и поговорки крестьян Череповецкого уезда Новгородской губернии // Этнографическое обозрение. 20. 1894. № 1. С. 121.

⁴ Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Л., 1988. С. 75–83.

⁵ Работнова И. П. Указ. соч. С. 12.

⁶ Работнова И. П., Вишневская В. М., Кожевникова Л. А. Народное искусство Архангельской области // Сб. трудов НИИХП. М., 1962. Вып. 1. С. 18.

⁷ Тазихина Л. В. Север Европейской части РСФСР // Крестьянская одежда населения Европейской России: XIX – начала XX в.: Определитель. М., 1972. С. 133.

⁸ Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии // Тр. этнографического отдела ИОЛЕАЭ. М., 1877. Кн. 5, вып. 1. С. 62

⁹ Миллер В. Ф. Систематическое описание коллекций Дашковского этнографического музея. М., 1983. Т. 3. С. 25.

¹⁰ Там же. С. 6.

Словари

Архангельский областной словарь. М., 1980–1999. Вып. 1–10.

Новгородский областной словарь. Новгород, 1992–2000. Вып. 1–13.

Словарь вологодских говоров. Вологда, 1983–2002. Вып. 1–9.

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб, 1994–2002. Вып. 1–5.

Словарь русских народных говоров. Л.; СПб, 1965–2004. Вып. 1–38.

© Г. М. Керн
Петрозаводск

Критерии идентификации саамской субстратной топонимии

Типологически и по своим лексическим и грамматическим показателям саамский язык наиболее близок к прибалтийско-финским языкам. Вместе с тем, в саамском языке имеется ряд признаков, отличающих его от других прибалтийско-финских языков. Говоря о переходе протосаамов на финно-угорскую речь и об отражении этого явления в фонетике саамского языка, Д. В. Бубрих писал: «Не подлежит сомнению, что лопари стали пользоваться одной из разновидностей финно-угорской речи только несколько тысячелетий назад – в лопарской фонетике отражаются „переход“, объясняющиеся переходом финно-угорской речи в новую среду (появление задержки артикуляции согласных при определенных условиях, исчезновение шипящих согласных, сокращение числа гласных и т. д.)»¹. Важным свидетельством дофинно-угорского периода в этнической истории саамов является слой лексики, не имеющий соответствий в

других уральских языках. По данным известного финского исследователя саамского языка и культуры Т. Итконена, в саамском языке до трети словарного запаса составляет лексика, не имеющая соответствий в других языках. «Если отграничить в саамском языке те слова, соответствия которым имеются в финно-угорских и самодийских языках, а также те, которые заимствованы из скандинавских и русского языков, то в нем остается до трети всего словарного состава, составляющего многотысячный слой лексем, которым невозможно найти соответствия ни в одном из других языков (помимо, может быть, тех, которые заимствованы из саамского, например, в финский)»².

Представленные лексемы отражают жизненно важные для саамов понятия не только окружающего ландшафта, природных явлений (природные объекты, явления природы, флора, фауна), но и базисные понятия человеческой деятельности (части тела человека, семейные отношения, психические и физические действия, хозяйственная и иная деятельность): 1) ландшафт, флора, фауна: *jemni* земля (примеры даются по кильдинскому диалекту), *njarrk* мыс, *čadz* вода, *vunntas* песок, *rovvi* кочка на болоте, *keddk* камень, *abbr* дождь, *pinnk* ветер, *roššn* рябина, *luemman* морошка, *sarr* черника, *jonng* брусника, *kumpar* гриб, *murr* дерево, *kettk* росомаха, *nugkeš* щука, *šappš* сиг, *allt* важенка, *konnt* олень дикий, *puaz* олень домашний; 2) хозяйственная деятельность: *sajjm* сеть, *cedz* краска для сетей, *ollk* вешала для сетей, *njamm* клей, *čujjke* ходить на лыжах, *kimnny* котел, *vjarr* суп; 3) соматическая лексика: *kuttk* сердце, *nirr* щека, *kajpp* подбородок, *čojjv* живот; 4) глаголы: *kippte* варить, *tullte* кипеть, *kirrte* лететь, *kuarkte* хвастать, *lujhke* плакать, *nisse* целоваться, *njuččke* прыгать, *čaccke* бросать, *tommte* узнавать; 5) другая лексика: *kuras* пустой, *modžes* красивый, *sejld* божество, *cigk* туман, *munnj* мороз и т. д.³

При компьютерной обработке свода саамской топонимии, собранной К. Никкулем в районе Печенги и насчитывающей 1555 топонимов, по частотности употребления в составе топонимов субстратные лексемы распределились следующим образом: *njarrk* мыс – 93, *suel* остров – 75, *koshk* сухой – 30, *uts* маленький – 29, *kuorb* пожога – 28, *moorast* гора, гряда – 27, *jonn* большой – 21 и т. д.⁴

Антропологически саамы в отличие от других прибалтийско-финских народов принадлежат к монголоидной расе, приближаясь по этому признаку к марийцам и удмуртам⁵.

Как известно, в прибалтийско-финских и саамском языках имеются балтийские (литво-латышские) заимствования⁶. В саамский язык они проникли через прибалтийско-финские языки.

Особенно велико было влияние на прибалтийско-финские и саамский языки германских (скандинавских) языков. По подсчетам ученых, в диа-

лектах саамского языка насчитывается до 3000 заимствований. Имеется огромная литература по данному вопросу. Р. Нисканен подготовила Библиографический указатель, насчитывающий свыше 600 работ⁷.

С XI в. саамы вошли в соприкосновение с русскими. Поскольку заимствования из русского языка на первоначальном этапе проходили на уровне диалектной речи, в саамский язык заимствовались слова, находящиеся на периферии русского литературного языка, например: *sule* бутылка (ср. рус. сулея – штоф, бутылка), *buhmarne* пасмурный (ср. рус. бухмарный – пасмурный, облачный), *domvei* надгробье (ср. рус. домовина – гроб), *sulem* ядовитый (ср. рус. сулема – ядовитый белый порошок), *koadte* брюки (ср. рус. гачи – штаны) и др. Древние русские заимствования настолько прочно вошли в саамскую речь, что подчиняются просодическому признаку – чередованию ступеней согласных.

Заимствованная лексика в определенной мере может пролить свет на относительную хронологию контактирования. Так, в прибалтийско-финских языках в свое время произошел переход $ti > si$, например, финское *silta* из балтийского (литовское) *tiltas*; в саамском языке в соответствующих словах такой переход также произошел, ср. саамск. (кильдиск.) *šallt* пол. Этот факт говорит о том, что саамские племена разошлись с прибалтийско-финскими **после того**, как в прибалтийско-финском и саамском языках произошел переход ti в si .

После распада прибалтийско-финско-саамской общности в прибалтийско-финских языках произошел переход $s > h$. Приведем примеры литво-латышских заимствований: фин. *halla* заморозки, ср. саамск. *sulln* изморось, фин. *lohi* лосось ср. саамск. *luss*, фин. *heinä* ср. саамск. *sujjn*, фин. *heimo* племя, ср. саамск. *sujjn* сход, собрание, фин. *pühä* святой, ср. саамск. *pass* и т. д. Как видно из примеров, в саамском языке такого перехода не произошло, то есть саамский и прибалтийско-финские языки разошлись **до того**, как в прибалтийско-финских языках этот переход совершился.

Таким образом, в настоящее время в зависимости от характера лексики, фонетических изменений, происходивших после распада прибалтийско-финско-саамской общности, имеются достаточно четкие критерии идентификации саамской топонимии. Поскольку ареал саамской топонимии распространен в различных этнических и культурно-исторических зонах, целесообразно, на наш взгляд, проанализировать «встроенность» саамской топонимии в язык-приемник, выявить специфику адаптации в каждом заимствующем языке. Априорно, учитывая обширность территории, можно утверждать, что хронологически эти процессы в каждой зоне не могли протекать одновременно и однотипно.

Условно можно выделить следующие зоны адаптации:

1. Территория Архангельской и отчасти Вологодской и Ленинградской областей или Европейский Север России. Здесь элементы саамской топонимии сохранились в адаптированном русском языке виде. «Живая» вепская топонимия функционирует в районах расселения вепсов Вологодской и Ленинградской областей. Поскольку наряду с саамской топонимией в данном ареале явственно прослеживается прибалтийско-финский пласт, возникает вопрос, была ли эта зона былого единства прибалтийских финнов и саамов или хронологически первыми насельниками были протосаамы.

2. Карелия. Исторические процессы взаимодействия саамов, карел и русских проходили здесь уже в период «писанной» истории и имеют документальные и иные свидетельства.

3. Финляндия. Саамская топонимия сохранилась в этом регионе, адаптированная диалектами северной группы прибалтийско-финских языков – карельским и финским. По существу, здесь проходили процессы, аналогичные карельским до прихода русских.

4. Кольский полуостров. Проникновение русских, в частности новгородцев, на территорию Кольского полуострова относится к первой половине XI в. К XV в. русские прочно осели на Терском берегу Кольского полуострова, где в это время от Кандалакши до Варзуги были поселения карел и, судя по топонимии, саамов⁸. Конечно, четкие границы между этими зонами провести невозможно.

Мы не рассматриваем территорию северной Скандинавии, поскольку не располагаем соответствующими материалами.

1. Европейский Север России. Как и в каждом исторически сложившемся регионе, наиболее древний страт этимологически не реконструирован. Следующим в хронологическом отношении можно считать слой саамской (лопарской) топонимии. Кому принадлежит эта топонимия – протосаамам или «финноугризированным» саамам – науке предстоит решить в будущем.

Выдвинутая еще в XIX в. А. И. Шегреном и М. А. Кастреном и нашедшая поддержку в работах М. Фасмера и А. И. Попова идея о пребывании саамов в бассейне Северной Двины получила дополнительную аргументацию в работах А. К. Матвеева.

В топонимии явственно прослеживаются следы как саамского, так и прибалтийско-финских языков. Собственно саамская топонимия идентифицируется субстратным слоем лексики. Приведенные А. К. Матвеевым материалы свидетельствуют, что саамская топонимия могла восприниматься как русским языком, так и прибалтийско-финскими. Такие топонимы, как Няльмозеро, Нюхчручей, Енгозеро,

Тохтозеро, могли возникнуть при прямом заимствовании из саамского, ср.: *njallm* устье; рот, *njuhħč* лебедь, *jonng* брусника, *tohht* гагара. Топонимы типа Чухченема, Лумплахта первоначально могли быть заимствованы прибалтийскими финнами у саамов (ср. саамск. *čuhħč* глухарь, *luemman* морошка и финское *net* из *niemi* мыс и *lahti* залив) и впоследствии русскими у прибалтийских финнов⁹.

Субстратные саамские топонимы в русском употреблении, естественно, прошли фонетическую и морфологическую адаптацию в соответствии с законами русского языка.

Важным свидетельством пребывания этноса на той или иной территории являются исторические источники, а также топонимы, в основе которых лежат этнонимы – названия национальных общностей.

О пребывании саамов на восточной окраине Европейского Севера России имеются косвенные сведения. Так, Т. Лукьянченко пишет: «Современное население п-ва Канин, так называемых канинских ненцев, еще в начале нашего века соседние русские и коми называли лопарями. Кроме того, некоторые особенности культуры канинских ненцев сходны с саамскими. Так, очень похожи головные уборы канинских ненцев и саамов. Лодка, которой пользуются канинские оленеводы во время перекочевок, напоминает по форме лопарскую кережу. Интересна также и ненецкая промысловая обувь – тоборки с отрезными голенищами, как бы пришитыми к саамским каньгам¹⁰.

Саамская топонимия в качестве субстрата функционирует в составе вепской топонимии в бассейне р. Ояти¹¹. Адаптированная русским языком, она представляет собой факт русской речи. Поскольку саамский язык структурно во многом совпадает с вепским, топонимические модели этих языков в большинстве своем идентичны. Интересно отметить, что саамские лексемы в составе вепского топонима не переводятся. При адаптации вепской топонимии русским языком перевод отдельных лексем – обычное явление.

2. Карелия. О пребывании саамов на территории Карелии помимо топонимических данных свидетельствуют письменные памятники, устные предания, археологические находки, этнографические сведения и этнонимия¹². Первоначальный письменный документ о саамах на территории Карелии имеется в записи святого Лазаря Мурманского, называемого также Муромским, который основал Успенскую церковь на Мурманском острове Онежского озера, чтобы обращать в христианство саамов, живущих неподалеку. Вот что он сообщает: «А живущие тогда именовались около озера Онега *Лопляне* и *Чудь*, страшные сыроядцы близ места сего живяху....»¹³ Как видно из записи, саамов (лопляне) и вепсов (чудь) уже идентифицировали как самостоятельные этносы.

Живая память народа донесла сведения о пребывании саамов на севере Карелии. Так, в 1947 г. В. Евсеев записал от сказительницы Марии Михеевой (род. в 1885 г. в дер. Алаярви ныне Калевальского района) два предания о пребывании саамов (лапландцев) в этих местах¹⁴. Из текстов можно узнать, что саамы «жили в землянках», «запускали невод», «строили запруды», были православными: «они осенили лицо крестным знамением».

Важным доказательством пребывания саамов в Карелии являются археологические памятники. Свообразными и характерными памятниками саамского этноса являются сейды. Сейдами, по утверждению Т. Итконена, саамы называли выделяющиеся по размерам или по форме камни или скалы, в которых, по их представлениям, жили боги или духи, а также пни и деревянные столбы, которые посвящали богам¹⁵ (подробно о сейдах в Карелии смотри статью И. С. Манюхина «Культовые места саамов в Карелии»¹⁶). В связи с сейдами интересно отметить, что рядом с этими культовыми местами, как правило, наблюдается скопление саамской топонимии.

Уместно также напомнить, что Д. В. Бубрих, занимаясь этнонимией Карелии, обратил внимание, что некоторые карелы своих северных соседей называли «лаппи»¹⁷.

В ономастике важно не только то, как называют тот или иной объект или этнос, но и кто называет. Как справедливо заметил известный исследователь топонимии А. И. Попов, «местные названия, связанные с племенными, возникают чаще всего в областях соприкосновения двух или нескольких племен»¹⁸. Племенные названия возможны только в том случае, когда один этнос четко идентифицирует себя по отношению к другому, причем это название часто может не совпадать с самоназванием этноса. Саамы себя называют *saam*, *saabme*.

А. И. Попов приводит извлеченные из «Писцовой книги Обонежской пятины» названия населенных пунктов с компонентом *лопь* на территории Карелии: «деревня Лопинская (погост Спасской в Кижях)», «Деревня в лопском конце на Куко-озери». Есть в писцовых книгах (Вотская пятина) и такие указания: «в Вотцкой пятине город Орешек... На Корельской стороне 12 дворов, а на Лопьской 72 двора»¹⁹.

Следы саамской топонимии равномерно распределены по всей территории Карелии. Причем сколки саамской топонимии, вкрапленные в русские названия, идентифицируются субстратной саамской апеллятивной лексикой, например: Ваджега (ср. саамск. *vuotttšu* болотистая местность с цепью озер; ср. также *vadž* важенка, самка оленя), Няльмозеро (ср. *njallm* устье, глотка), Навдьозеро (ср. *navvd* волк, зверь), Нюхчозеро (ср. *njuhħč* лебедь) и др.²⁰

Саамские лексические основы широко представлены в карельских топонимах. Собственно карельская топонимия поглотила саамскую. Наиболее полно саамские элементы сохранились в гидронимии. В. Лескинен приводит примеры: *Lužmandjogi* Лужма река (ср. *lussm* исток реки), *Nälmadjogi* Нялма река, *Lubosalma* Лубосалма пролив (*luobbal* проточное озеро). По утверждению В. Лескинена, в Карелии имеется около 800 гидронимов с саамскими вкраплениями²¹.

3. Финляндия. Исследование саамской топонимии Финляндии связано прежде всего с именем Т. Итконена. Уже в 1920 г. в журнале «*Virittäjä*» появилась его статья о саамских топонимах субстратного происхождения на территории распространения диалектов финского языка²². По утверждению Т. Итконена, если саамское слово или часть слова были знакомы, то оно переводилось на финский язык например: *Hietajärvi* – *Vuodasjäuri* (*hieta* – *vuodas* песок), *Jäniskoski* – *Njoammelkuošk* (*jänis* – *njuemmel* заяц), *Saariselkä* – *Sueločieltg* (*saari* – *suelo* остров). В 1926 г. в этом же журнале было опубликовано дополнение, содержащее 13 топонимов²³.

Т. Итконен провел уникальное по своей скрупулезности исследование, зафиксировав на карте Финляндии топонимы, обусловленные апеллятивной и этнонимной лексикой. Так, на территории Финляндии он выявил и зафиксировал на карте 575 топонимов с компонентом *lappi*. Причем, число таких топонимов в ходе дальнейших разысканий, по его мнению, будет увеличиваться. Автор утверждает, что все эти названия связаны с саамами не только как насельниками этих мест, но и торговцами и налогоплательщиками. На другой карте им отмечено до 900 топонимов с саамскими компонентами²⁴.

4. Кольский полуостров. Центральная, северная и восточная его части, по всей вероятности, напрямую адаптировались русской топонимией. На западной и южной (Терский берег) частях до прихода русских предположительно проживали карелы и финны²⁵.

Длительные контакты русских с саамами придали колорит русской топонимии Кольского полуострова. Несомненно, что саамы не были первыми насельниками полуострова. Так, Т. Итконен приводит до 80 употребляемых саамами на севере Финляндии топонимов, по его мнению, заимствованных от прежнего населения и не понятных саамам, например: *Anar*, *Jehkatš*, *Kuivi*, *Lemme*, *Nuvvus*, *Roiro* и др. Часть из них саамского происхождения, но со временем они могли исчезнуть, сократиться, износиться²⁶.

Адаптационные процессы в топонимии между родственными языками и разносистемными протекают различно. При взаимодействии русской и

саамской топонимии наблюдается не только значительный разброс моделей адаптации, но и различная степень фонетической, грамматической и лексической освоенности заимствованной топонимии.

Можно выделить следующие основные способы или модели освоения саамской топонимии русским языком. Первый – естественный и довольно распространенный – это передача звукового облика саамского топонима средствами русской фонетики в устной речи и русской графики на письме. Звуковой комплекс, воссоздающий саамский топоним, в русском восприятии, разумеется, не несет никакой информации (если собиратель топонимии или слушающий не владеет саамским языком), кроме как наименование определенного объекта. Это название-слово для русского неразложимо ни на отдельные лексемы, ни на морфемы. Примеры: Айтсуол – остров (ср. *ajhht* амбар, *suel* остров), Валеслухт – залив (ср. *vales* кит, *luht* залив), Ньюеммельчуолм – пролив (ср. *njuemmelj* заяц, *čuelljm* пролив) и т. д. Сюда можно отнести случаи транслитерации однокоренных саамских лексем: Поной – река (ср. *pienne* собака).

Второй способ адаптации саамской топонимии – полуперевод топонимов, в результате чего появляются так называемые гибридные образования. Переводится, как правило, детерминант, то есть слово, обозначающее вид объекта, а атрибут – определение – не переводится: Мончегуба – залив (ср. *modžes* красивый), Няльмозеро (ср. *njallm* пасть, устье) и т. д.

Наконец, употребительны случаи перевода всех компонентов топонима: *Vureč-luhht* – Вороний залив, *Karabnjarrk* – Корабельный наволок, *Nukkešjavvr* – Щучье озеро, *Supprinnt* – Осиновый берег, *Pienneluhht* – Собачья губа и т. д.

Различные способы адаптации зависят, естественно, от степени взаимного владения языками контактирующих сторон, от способа отразить значение лексем и структуру заимствуемой топонимии средствами своего языка, «встроить» их в свою систему.

Таким образом, при выявлении саамского субстрата необходимо, во-первых, четко идентифицировать хронологические пласты саамской апеллятивной лексики: 1) субстратный, не имеющий соответствий в современных живых языках, 2) прибалтийско-финско-саамский, 3) заимствованная лексика (литво-латвийская, германо-скандинавская, славянская). Во-вторых, следует учитывать специфику адаптации саамской топонимии родственными и иносистемными языками.

При выявлении саамского субстрата было бы полезным наложение сетки компонентов современной саамской топонимии района Петсамо на исследуемый ареал. При компьютерной обработке массива саамской топонимии района Петсамо (1555 топонимов) нами было выявлено 838 лексем (этимологизируемых и неизвестного происхождения) и определена частотность их употребления²⁷.

Данные топонимии могут помочь в разрешении вопроса о месте и относительной хронологии соприкосновения саамов с прибалтийскими финнами и вхождению их в финно-угорскую семью.

Существенные результаты могут быть достигнуты при сопряжении топонимии с археологическими памятниками и данными краниологии.

В. И. Хартанович, исследуя древние и современные антропологические типы Северо-Запада России и Фенноскандии, пришел к выводу, «что длительные контакты саамов и карел оставили следы не только в языке и культуре, но и в антропологическом облике обоих народов»²⁸. Поскольку саамы антропологически в отличие от прибалтийских финнов – европейцев принадлежат к монголоидной расе, краниологические находки являются наиболее существенными при идентификации этноса.

¹ Бубрих Д. В. О советском финно-угроведении // СЭ. 1949. № 2. С. 192.

² Itkonen T. I. Suomen lappalaiset vuoteen 1945. I. Porvoo–Helsinki, 1948. S. 165.

³ Op. cit. S. 165–167.

⁴ Керт Г. М. Применение компьютерных технологий в исследовании топонимии (прибалтийско-финская, русская). Петрозаводск, 2002.

⁵ Марк К. Ю. Соматология финнов и саамов // Финно-угорский сборник. Антропология. Археология. Этнография. М., 1982. С. 127.

⁶ Kalima J. Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. SKST 202. Helsinki, 1936.

⁷ Нисканен Р. А. Германские заимствования в прибалтийско-финских и саамском языках: Библиографический указатель // Прибалтийско-финское языкознание: Вопросы взаимодействия прибалтийско-финских языков с инносистемными языками. Л., 1971.

⁸ Ушаков И. Ф. Кольская земля. Мурманск, 1972.

⁹ Матвеев А. К. Этимологизация субстратных топонимов и моделирование компонентов топонимических систем // Вопросы языкознания. 1976. № 3. С. 65–66.

¹⁰ Лукьянченко Т. В. Этногенез саамов // Этногенез народов Севера. М., 1980. С. 28–40.

¹¹ Муллонен И. И. Гидронимия бассейна реки Ояти. Петрозаводск, 1988. С. 74–84.

¹² Керт Г. М. Саамские элементы в топонимии Карелии // Рябининские чтения – 95. Петрозаводск, 1997.

¹³ Харузин Н. Н. Русские лопари (Очерки прошлого и настоящего быта). М., 1890. С. 18.

¹⁴ Евсеев В. Я. Карельский фольклор. Новые записи. Вступительная статья, подготовка текстов и примечания В. Евсеева. Петрозаводск, 1947.

¹⁵ Itkonen T. I. Suomen lappalaiset vuoteen 1945. II. Porvoo–Helsinki, 1948. S. 310.

¹⁶ Манюхин И. С. Культурные места саамов в Карелии // Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С. 125–135.

¹⁷ Бубрих Д. В. Указ. соч. С. 192.

¹⁸ Попов А. И. Непочатый источник истории Карелии (Карельская топонимика) // Родные сердцу имена (Ономастика Карелии). Петрозаводск, 1993. С. 59.

¹⁹ Попов А. И. Указ. соч. С. 59–60.

²⁰ Керт Г. М. Некоторые саамские топонимические названия на территории КАССР // Вопросы языкознания. 1960. № 2. С. 86–92.

²¹ Лескинен В. О некоторых саамских гидронимах Карелии // Прибалтийско-финское языкознание: Вопросы фонетики, грамматики и лексикологии. Л., 1967. С. 79–88.

²² Itkonen T. I. Lappalaisperäisiä paikannimiä suomenkielen alueella // Virittäjä. 1920. № 1–2. S. 1–11.

²³ Itkonen T. I. Lisiä Keski- ja Etelä Suomen lappalaisperäiseen paikannimistöön // Virittäjä-Suomen. 1926. S. 33–35.

²⁴ Itkonen T. I. Suomen lappalaiset vuoteen 1945. I. 589 S. II 631 S. Porvoo–Helsinki, 1948. S. 97–107.

²⁵ Керт Г. М. Характер топонимии юго-западного ареала Кольского полуострова // Etudes Finno-Ougrienne. 1977. T. 14. S. 141–145; Он же. Субстратная топонимия Терского берега Кольского полуострова // Прибалтийско-финское языкознание: Вопросы лексикологии и лесикографии. Л., 1981. С. 64–68.

²⁶ Itkonen T. I. Suomen lappalaiset vuoteen 1945. II. Porvoo–Helsinki, 1948. S. 521–522.

²⁷ Керт Г. М. Применение компьютерных технологий в исследовании топонимии (прибалтийско-финская, русская). Петрозаводск, 2002. С. 145–167.

²⁸ Хартанович В. И. Древние и современные антропологические типы Северо-Запада России и Фенноскандии // Очерки исторической географии. СПб, 2001. С. 505.

© Н. Н. Мамонтова
Петрозаводск

К вопросу о нормализации карельских и русских географических названий Карелии

Географические названия, являясь своеобразными памятниками истории, языка и культуры народов, их создавших, отражают физико-географические особенности края, историю его заселения, условия жизни и основные занятия жителей, их мировоззрение, верования и многое другое. Однако основной функцией любого топонима была и остается адресная: названия возникают и существуют прежде всего для ориентирования на местности. Этим обусловлено их огромное практическое значение, особенно в жизни современного общества: для органов государственного управления, транспорта, связи, других учреждений и организаций, ведомств, да и для каждого, живущего на земле, так как крайне важно, чтобы адрес был точным.

Именно поэтому вопросы нормализации (упорядочения написания) русских и иноязычных топонимов, создание инструкций по русской передаче нерусских названий, нормативных словарей-справочников останутся актуальными для ряда территорий многонациональной России, включая Республику Карелия.

Инструкции и словари, как правило, утверждались органами власти и, получив статус нормативных документов, являлись обязательными для всех юридических и физических лиц бывшего Советского Союза.

Созданию инструкций и словарей, разработке рекомендаций по написанию и употреблению названий мест предшествует исследовательская работа. К настоящему времени существует ряд инструкций по передаче на русский язык нерусских топонимов, в том числе финно-угорских (удмуртских, марийских, мордовских, эстонских). Все они были утверждены Главным

управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР (с припиской: «Обязательны для всех ведомств и учреждений СССР») и согласованы с Президиумами Верховных Советов Эстонской ССР и соответствующих автономных республик¹.

В Карелии для передачи карельских, вепсских и финских географических названий на русский язык разработаны пока только «Правила написания названий населенных мест Карельской АССР», утвержденные Президиумом Верховного Совета КАССР 23 мая 1958 г.²

Эти правила определенным образом способствовали нормализации прежде всего названий населенных пунктов – ойконимов с учетом сложившихся давних традиций их употребления на русском языке. Названия поселений составляют особый топонимический пласт в силу исключительного характера именуемых объектов и той роли, которую они играют в жизни любого общества. Ойконимы чаще, чем все другие названия мест, употребляются жителями края и за его пределами, хотя зачастую они являются вторичными, производными от названий физико-географических объектов, при которых расположены: река и с. Шуя, река и пос. Суна; ср. также названия населенных пунктов: Сямозеро, Ведлозеро, Кизрека, Рыбрека, Вехручей, Ламбасручей, Выгостров, Юркостров, Виллагора, Соймигора, Койвусельга, Гомсельга, Черный Порог, Кривой Порог, Великая Губа, Пергуба, Верхняя Ламба, Ахвенламби, Святнаволок, Щукнаволок, Сяргилахта, Чуралахта и т. д.

Большая часть топонимов Карелии нерусского происхождения заимствована русским населением от местных жителей края устным путем в процессе непосредственного живого их общения. Письменные традиции передачи прибалтийско-финских ойконимов Карелии на русский язык складывались на протяжении длительного времени. Наиболее полно топонимия Карелии представлена в документах XV–XVIII вв., ценнейшими из которых являются писцовые книги. Обычной формой записи поселений в них является описание местоположения: деревня (починок, волостка) при таких-то реке, озере, горе, заливе и т. п. (следуют названия этих объектов) и далее перечисляется еще несколько поселений (без названий), расположенных по соседству: «поч. в Нялмонаволоке над Вемозером», «поч. на Суне под Кивачом порогом», «дер. у того же озера на Сал-острове». В некоторых случаях приводится местный ойконим после слова «словет»: «дер. на Олонце реке на низу словет на песку» (< кар. *liete* ‘песок’). Часто указывается имя владельца или первопоселенца: «дер. на Видлице Ермолкино посиденье...», «дер. Карпиково посиденье...» и т. д. В писцовых книгах XVIII в. число ойконимов в традиционном понимании возрастает: «волостка Ондозеро», «волостка Сяргозеро» и т. д., что свидетельствует о большей формализации названий поселений.

Следует отметить, что Карелия представляет собой особый регион, своеобразную естественную лабораторию процесса усвоения местных названий русским языком. При этом выделяются три зоны. В восточной (Заонежье, Беломорье, Пудожский край) этот процесс уже завершился, и можно говорить о прибалтийско-финско-саамском субстрате в топонимии: Водла, Вирма, Воренжа, Колежма, Кузаранда, Нигижма, Пегрема, Рагнукса, Сондалы, Сума, Челмужи, Яндомозеро. В Северо-Западном Приладожье, вошедшем в состав Карелии после военных действий 1939–1944 гг., неоднократно происходила смена населения, и сейчас практически здесь не осталось коренных местных жителей. Большинство топонимов Приладожья при передаче на русский язык транслитерированы, максимально приближены к оригиналу с сохранением прежней финской огласовки: Вааранкюля, Импилахти, Керисюръя, Лахденпохья, Леппясюрья, Мантсинсаари, Отсанлахти, Уусикюля, Хелюля, Хямекоски, Яккима и др. На территории, расположенной между двумя вышеупомянутыми, до сих пор проживают потомки древнего прибалтийско-финского населения. Топонимия ее существует на двух уровнях: официальном (на русском языке) и неофициальном (на языке местных жителей – карел и вепсов): Березовая Гора – Koivahanmägi, Вехручей – Vehkoja, Вокनावолок – Vuokkiniemi, Гушкала – Huškäl, Мунозеро – Mund'ärvi, Намоево – Nuamoilu, Лисья Сельга – Reboiselgü, Тигверы – Tihveri, Реболы – Repol'a, Юккогуба – Prokkol'a.

Несмотря на столь давние, устоявшиеся традиции усвоения местных названий русским языком с их фонетическим, морфологическим и лексическим типами адаптации, до сих пор имеют место случаи разного написания ойконимов, например, Кудама и Кудома, Таунан и Тоунан, Куркиёки и Пийтсийоки, Юргелица и Юргилица, Куокканиэми и Палониэми. Видимо, сказывается диалектная раздробленность карельского языка, бывшего до недавнего времени бесписьменным, неодинаковое восприятие этими диалектами влияния русского языка и, как следствие, – разное произношение и написание местных названий (например, озвончение глухих согласных), не совсем адекватная передача русским языком долгих гласных, гласных переднего ряда ä, ö, ü, дифтонгов и удвоенных согласных, сочетания гласных ie как ие и как из: Гимолы – Himol'a, Гомсельга – Honguselgü, Кереть – Kieretti, Паданы – Paatene, Пулонга – Puulonki. Являются ли названия Костомукса (Суоярвский район) и Костамукша (Калевальский район) отражением диалектных особенностей карельского языка или же результатом не совсем верного воспроизведения по-русски двух одинаковых названий?

В настоящее время к существующим проблемам передачи на русский язык карельских названий мест прибавились новые, привлёкшие особое внимание со стороны властных структур и общественности. Это связано непосредственно с воссозданием карельской письменности и

ростом национального самосознания карел³. На первый план выдвинулась проблема употребления на официальном уровне, наряду с русскими, исконных карельских названий в местах компактного проживания карельского населения, придания им статуса официальных. При этом следует учитывать, что на сегодня в Карелии существуют и развиваются два письменных языка: для карел-ливвиков и собственно карел (о карелах-людиках речь вообще не ведется), поэтому одинаковые карельские названия графически оформляются по-разному: Юляярви – *Üläjärvi* и *Yläjärvi*.

При нормализации карельских названий мест следует определиться, что считать официальной формой топонимов – полную (*Rugajärvi*, *Hiižijärvi*) или краткую, употребляемую гораздо чаще (*Rugarvi*, *Hiižärvi*). Высказывалось мнение, что «действительной официальной формой ойконима, как и всякого другого топонима, необходимо считать название, которым пользуется сам народ», но насколько оно правомерно⁴. А если в народе употребляется не одна, а несколько форм названия, какую из них выбрать в качестве основной (*Lindujärvi* или *Lindärvi* – для гидронима; *Lindujärvi*, *Lundujärvenküla* или *Lindärvi*, *Lindarvenküla* – для ойконима)? Как быть с диалектными вариантами целого ряда местных географических терминов, которые в качестве составной части представлены в названиях мест, например, *voara*, *vuara*, *vaara*, *vuaru* ‘гора, возвышенность’ или *šelkä*, *šelgä*, *selgä*, *selgü*, *sel'g(e)* и т. д. ‘кряж, возвышенность, холм, гора’; *sar*, *suari*, *suar'(i)*, *soar'i*, *šoari* ‘остров’⁵? Какие из них унифицировать с учетом существования в настоящее время двух письменных языков у карел? «Как для теоретического языкознания, так и для практических потребностей всегда остается актуальным вопрос выбора нормативной, наиболее стабильной формы топонима из ряда варьирующих модификаций»⁶. Возникают и другие проблемы нормализации карельских названий мест.

Особо следует сказать о топонимах Карелии, представленных на картах и атласах, которые в большом количестве издаются в последнее десятилетие разными организациями и турфирмами со множеством ошибок в написании названий, особенно физико-географических объектов⁷. Так, на территории Сямозерья (южная Карелия) одни и те же названия (одного происхождения) пишутся даже на одной карте на русском языке по-разному: н. п. Вендеры при оз. Вендюрском; р. Соуда и оз. Совдозеро; ур. Онгамукса при оз. Онга-Мукса; озера Ротчозеро и Ниж. Ротчезеро; р. Ротчозерка и Ротчезерка; н. п. Сяпчезеро при оз. Сяпчозеро; руч. Питкоя и Питкооя; н. п. Миккелица при оз. Миккильское; г. Муставаара, ср. н. п. Хаутаваара; р. Вилайоки, ср. н. п. Виллагора; оз. Мустуярви, бол. Мустусуо, руч. Мустоя и т. д.

Карельские названия, неадекватно переданные на русском языке, вносят определенный разнород и путаницу: оз. Сювеярви и Сювяяви (< кар.

Sivä/järvi ‘глубокое озеро’), оз. Хавгелампи (< кар. *Haugi/lambi* ‘щучье озеро’), бол. Очусуо [< кар. *Očču/suo* ‘переднее (находящееся перед чем-либо) болото’], Дегчилампи, Деученлампи, Йочъярви (< кар. *joučči, d’oučči, jowcen* ‘лебединое озеро’), н. п. Погьялахта (< кар. *Pohja/lahti* ‘северный залив’). Нередко встречаются явные описки, например, н. п. Эссоила, ст. Эсойло; г. Кутажма и р. Кутижма, н. п. Кутижма; Вехкусельга и Вехкимяги (< кар. *vehku* ‘вахта, водяной трилистник’), н. п. Хаутоваара и Хаутаваара (< кар. *haudu, hauta* ‘яма’ и *vuaru* ‘гора’); Талвесуо (< кар. *talvi* ‘зима’, *suo* ‘болото’), Суури Савнъярви и Суври Савнъярви (< кар. *Suuri Sävnjärvi* ‘Большое Язь-озеро’), Тервалампи и Тервуокоски [< кар. *terv(a, u)* ‘смола’, *koski* ‘порог (в реке, озере)’] и т. д.

Следует отметить, что у карел-ливвиков, проживающих на территории Сязозерья по соседству с карелами-людиками и суоярвскими карелами, для обозначения небольшого лесного озера (обычно непроточного) существует географический термин *lambi*, а для реки – *jogi, d’ogi*. Вместо соответствующих им русских терминов ламба, ёги, дёги в ряде названий на картах употреблено иное написание (лампи, ёки, йоки), что более соответствовало бы финскому источнику, но вряд ли это обстоятельство служит свидетельством пребывания финского населения на указанной территории. По всей видимости, подобное написание – отголосок того времени, когда финский язык, наряду с русским, выполнял роль второго официального языка в Карельской АССР. Ср. р. **Вилайоки** близ горы **Вилламяги** (< кар. *Villanjogi, Villanmagi*), а также Дёучой лампи (< кар. *D’oučoilambi*) и др.

Итак, становится очевидной необходимость давно назревшего упорядочения употребления географических названий Карелии как на русском языке, так и на карельском, вепском, финском языках. Следует проводить эту работу с широким обсуждением основных принципов нормализации топонимии Карелии, учитывая письменные нормы карельского и вепского языков, подготовив одновременно инструкцию по передаче карельских, вепских и финских названий мест на русском языке.

Необходимо также создание нормативного словаря-справочника географических названий Карелии не только на русском языке, но и с карельскими, вепскими, финскими соответствиями там, где они имеются⁸, в единой нормализованной форме, которая должна основываться на письменных традициях названных языков. В словаре должны быть указаны также тип объекта, его административная принадлежность, а в заключение следовало бы привести народные неофициальные формы и варианты названий. Такого справочника давно ждут работники средств массовой информации, почтовой связи, транспорта и других служб и ведомств.

После утверждения словаря и инструкций соответствующими органами власти географические названия Карелии должны быть обязательны для употребления всеми без исключения в том виде, в каком они будут представлены в словаре-справочнике.

¹ Инструкция по русской передаче географических названий Мордовской АССР. М., 1971; Инструкция по русской передаче географических названий Эстонской ССР. М., 1972; Инструкция по русской передаче географических названий Удмуртской АССР. М., 1973; Инструкция по русской передаче географических названий Марийской АССР. М., 1979.

² Карельская АССР. Административно-территориальное деление (на 1 января 1973 г.). Петрозаводск, 1973.

³ Все, что говорится о карельских названиях, относится в равной мере и к вепсской топонимии.

⁴ Рубцова З. В. О словарях названий населенных пунктов Витебской и Брестской областей БССР Е. И. Рапановича // Прикладная топонимика: Сб. научных трудов ЦНИИГАиК. Вып. 230. М., 1981. С. 113.

⁵ Мамонтова Н. Н., Муллонен И. И. Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии. Петрозаводск, 1991.

⁶ Рубцова З. В. Варьирование и норма белорусской и русской топонимии: Науч. доклад по опубликованным трудам, представленным к защите на соискание учен. степ. канд. филологических наук. М., 1993. С. 3.

⁷ Карельская АССР. Карты... М., 1984; Атлас Карельской АССР. М., 1989; Российская Федерация. Республика Карелия. Карты... на 18 листах состояния на 1980–1983 гг. М., 1993; Республика Карелия. Топографическая карта. М., 1997; Республика Карелия. Южная часть. 2004.

⁸ Ранее в 1928 и 1935 гг. были изданы: «Список населенных мест Карельской АССР (по материалам Переписи 1926 г.)» и «Список населенных мест Карельской АССР (по материалам Переписи 1933 г.)», где ойконимы приводились на русском, карельском или вепсском и финском языках, но, к сожалению, со множеством неточностей и ошибок.

© З. В. Рубцова
Москва

Историко-языковедческая незащищенность географических названий

Написание топонимов в отличие от нарицательных существительных нередко зависит не от современных орфографических норм, а от **официальной формы** географических названий. Так, написание *Вышний Волочок* (см. «Списки населенных мест Российской империи, т. 43. Тверская губерния», ПТРБ, 1862, по списку – № 4) полностью соответствует правилам современной орфографии, однако в официальных справочниках административно-территориального деления СССР с 1941 по 1983 г. и РСФСР по 1986 г. включительно значился *Вышний Волочек*, что автоматически свидетельствует о безударности суффикса **-ок** после шипящего согласного, которая опровергается утверждением, опубликованным в

пятом томе БСЭ (М., 1971. С. 575), совмещающим официальное написание с ударением: *Вышний Волочёк*.

Причина официального *-ек* на месте орфографически правильного *-ок* прозрачна. Написание после 1917 г. стало зависеть от людей, далеких от века Просвещения: под суффиксом *-ек* подразумевается *-ёк*. Поэтому по сию пору на всех картах Тверской области или России пишется *Вышний Волочек*. Так же город *Вышний Волочек* и пристань *Вышний Волочек* значатся в энциклопедическом справочнике «Тверская область» (Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1994), подготовленном администрацией и архивным отделом Тверской области.

Попутно следует заметить, что областные справочники административно-территориального деления, будучи официальными источниками, готовятся в основном без участия специалистов по русскому языку, исключительно на официальном уровне. По этой причине незащищенность географических названий касается прежде всего несоблюдения орфографических правил, которым обучают в средней школе. Эти правила нередко игнорируются конкретными областными чиновниками, взявшими на себя труд подготовить такой справочник: *Решоткино* – в одной области, *Решеткино* и *Решёткино* – в других; *Батагово* – в одной области, *Ботагово* – в другой (ударным в обоих случаях является, как показывают местные ответы, третий слог); написание *Рождествино* и *Рождествено*, *Спас* и *Спасс*, *Прусы* и *Пруссы*, *Тупицыно* и *Тупицино* и тому подобные орфографические противоречия характерны для современных российских справочников административно-территориального деления. К тому же некоторые из них недостаточно отредактированы также при сверке списков названий и алфавитных указателей к ним, вследствие чего встречаются противоречия в написании одних и тех же названий: в основном тексте справочника – *Голицыно*, *Трещина*, в алфавитном указателе они же соответственно – *Голицино* и *Терещина*.

Также вопреки принятым нормам используется или, напротив, отсутствует в написании названий населенных пунктов дефис: в одном и том же областном справочнике можно найти *Медное-Власово*, где «чёрточки» не должно быть, *Снопок Новый*, *Снопок Старый**. То же касается слитного или раздельного написания названий: в одном и том же источнике могут быть представлены такие противоречивые орфографические варианты, как *Новозыбинка* и *Ново-Загарье*, *Ново-Петрово*, *Старотеряево* и *Старо-*

* Где ее употребление оговорено специальными орфографическими правилами.

Черкасово. По-разному оформляются общеизвестные сокращения: *рп* (рабочий поселок), но *р.п.*, *пгт* (поселок городского типа), но *п.г.т.* и т. п.

Последствия неподготовленности тех, кто реально готовит справочники административно-территориального деления, касаются не только орфографии, но и лексики и словообразования. Кроме того, обращает на себя внимание внедрение небывалых прежде типов именования. В особенности это становится заметным, когда возникает необходимость предложить название вновь возникшему населенному пункту. Если прежние названия на Руси исконно были краткими, содержательными (*Азарово, Бель, Красная Горка, Репище* и т. п.), то ныне предлагаемые местными чиновниками наименования нередко каким образом не отвечают исторически сложившимся национальным традициям, например, в разных областях заняли свое место такие поселки, как *Центральное отделение совхоза «Маслово», Железнодорожная казарма 556 км* (шесть слов в имени данного поселка!), *Калужская опытная сельскохозяйственная станция, 20 лет Октября*, поселки *Всесоюзного электротехнического института им. Ленина, Октябрьского отделения совхоза «Пугачевский», Ферзиковского гравиинно-щебеночного комбината* и многие др.

Нет желания останавливаться на том, что подобные именования являются псевдоназваниями, отражая протокольную скуку повседневности. Важнее показать, что живой топонимический материал раскрывает отношение современного деревенского населения даже к таким церковным именам, как *Ильинский Погост*. Когда называют жителей этого села, то пользуются такими словами, как *ильинопогостцы*, но чаще – *гуслики*, поскольку населенный пункт расположен на речке *Гуслице* и так сказать сподручнее. Такое стремление к краткости названия с очевидностью проявляется в способах передачи информации о том, откуда родом жители села: из *Ильинского Погоста*, из *Ильинки*, из *Погоста*, то есть в устной речи два слова названия нередко заменяют одним – *Ильинка* или *Погост* (информация получена от местной средней школы в июле 1997 г.). Нет сомнений: когда слов, как в представленных официальных именах современных поселков стало больше двух, многословное название расподобилось с тем, каким в действительности пользуется местное население, в том числе жители самих поселков.

Некоторые картографические заблуждения также связаны с местной администрацией. Так, замена исторически засвидетельствованного названия речки *Нахабинка* (Московская область) неизвестным коренным жителям гидронимом *Грязева* поддерживается, как утверждают местные краеведы, на официальном уровне.

Удручает незащищенность географических названий при их устном использовании, в частности, дикторы нашего *настоящего*, по его самооценке, радио нередко произвольно изменяют ударение, не уточнив его по существующим словарям: *бомба на берегу реки Маны'ч* (программа «Новости» 16 декабря 2003 г.), но река *Ма'ныч*, озера *Ма'ныч* и *Ма'ныч-Гуди'ло* («Словарь названий гидрографических объектов России и других стран-членов СНГ». М., 1999. С. 241). Официальные справочники административно-территориального деления каждой конкретной территории, к сожалению, традиционно не указывают ударения, хотя именно местные филологи, специалисты в области топонимии, давно с успехом могли бы выполнить подобную работу, от которой заметно повысилась бы общая языковая культура.

Нормализации вновь возникающих географических названий в определенной степени способствует Межведомственная комиссия по географическим названиям, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 273. Из 29 ее участников один – языковед (директор Института русского языка РАН А. М. Молдован), остальные представляют различные ведомства России, в силу своих служебных задач соприкасающиеся с географическими названиями.

Работе Межведомственной комиссии помогают своими заключениями о поступающих предложениях сотрудники Картографического отдела ЦНИИ геодезии, аэросъемки и картографии им. Красовского, филологи. Примером такой помощи может служить следующий отзыв о желании администрации одной из областей присвоить своей вновь возникшей деревне наименование *Газонаполнительная станция*: «ЦНИИГАиК не может согласиться с присвоением данной деревне предложенного названия, поскольку географическому объекту присвоено наименование объекта газоснабжения. Подобное использование технической терминологии взамен наименования географического объекта не способствует его отличию от других объектов и их распознаванию, то есть противоречит одному из пунктов статьи 1 Федерального закона от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ „О наименованиях географических объектов“.

В соответствии с той же статьей Федерального закона рекомендуется „*выбор наиболее употребляемого наименования географического объекта...*“, поэтому в качестве варианта для обсуждения предлагаем наименование *Новождамирово*, так как газонаполнительная станция и ее администрация относились к территории дер. *Ждамирово*, вошедшей ныне в черту города. Предлагаемое название соответствует требованиям статей Федерального закона».

Однако иногда случается, что местная администрация не принимает решения Межведомственной комиссии. Так, в 1994 г. поступило предложение назвать вновь возникший населенный пункт словом *Проводник*. В своем заключении о названии ЦНИИГАиК и комиссия указали на многозначность слова: проводником чего будет географическое название – электрической энергии? поезда? идей? Оказалось последнее: имеется в виду проводник идей марксизма-ленинизма. Филологи обратили также внимание на словообразовательное совпадение вероятного названия жителей с именительным падежом предлагаемого «топонима»: житель – *проводник*? жительница – *проводница*? Было рекомендовано также выяснить у коренных жителей, как назывались объекты, находившиеся прежде на месте созданного ныне населенного пункта, и воспользоваться их именами. Но в готовящемся к изданию очередном областном справочнике появился *пос. Проводник...* Несмотря на очевидную многозначность слова большинство опрошенных интерпретирует его как поселок, образованный группой неких *проводников*.

Географические названия – часть языка, на котором мы говорим. Часть нашей Родины, ее истории и самосознания. Необходимо, чтобы официальные справочники административно-территориального деления подготавливали к изданию специалисты, обучавшиеся обращению с географическими названиями со студенческих лет. Если местная администрация не ведет диалога с филологами по поводу качества своей работы, найти с ней общий язык можно с помощью местной прессы.

Литература

Административно-территориальное деление Брянского края за 1916–1985 гг. Т. 1. Тула, 1987; Т. 2. Тула, 1989.

Административно-территориальное деление. Курская область. Курск, 1993.

Административно-территориальное деление Смоленской области: Справочник. Смоленск, 1993.

Калужская область. Административно-территориальное деление на 1 марта 1993 года. Калуга, 1993.

Орловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1976 года. Орел, 1976.

Попов С. А. Ойконимия Воронежской области в системе лингвокраеведческих дисциплин. Воронеж, 2003.

Справочник по административно-территориальному устройству Московской области. М., 1999.

Реконструкция нарицательной лексики на материале русской топонимии Карелии разноязычного происхождения

Нарицательная лексика играет заметную роль в образовании географических названий. В топонимии сохраняются многие территориально ограниченные слова, которые исчезли или находятся на пути исчезновения из нарицательной лексики говора. Большинство изменений в лексике говоров вызвано внеязыковыми причинами, когда слова исчезают в результате утраты реалий. В русской микротопонимии Карелии сохранился ряд подобных слов-архаизмов. Это лексика, связанная с подсечным земледелием, когда крестьяне выжигали и вырубали лес, корчевали пни для посевов. Многие из этих слов сохраняются только в топонимическом употреблении (*починок, суки, след, угол*). Топонимические материалы нередко указывают на более широкое распространение того или иного термина в прошлом (*дербина, новинка, новочисть, тереб*).

В микротопонимии употребляется значительное количество слов, которые не зафиксированы ни в словарях, ни в памятниках письменности. Не исключено, что некоторые из них выступали в роли русских географических или полеводческих терминов. В этом случае топонимия может быть источником лексических реконструкций.

Субстратные географические названия для реконструкции географической терминологии широко используются А. К. Матвеевым, О. А. Теуш, И. И. Муллонен¹. При этом справедливо утверждается, что реконструкцией является любая интерпретация субстратного названия как восходящего к географическому термину². Имеются примеры восстановления полеводческой лексики на базе наименований русского происхождения³.

В качестве источника лексических реконструкций в данной работе используются микротопонимы Заонежья и Пудожского района Карелии разноязычного происхождения, извлеченные из документов Национального архива – государственных актов на вечное пользование землей колхозами, материалы по ведению севооборота, закреплению сельскохозяйственных угодий, утверждения внешних границ землепользования колхозов 1930–1950 гг.⁴

Следует отметить, что подобные лексические реконструкции не являются надежными и обладают большей или меньшей степенью вероятности. Таковыми признаются реконструкции лексики, существовавшей ранее, но впоследствии утраченной⁵.

Вероятно, самыми ненадежными будут те реконструкции, которые опираются на единичные топонимические употребления. Так, название пахотного угодья у дер. Костинская Песчанского сельсовета Пудожского района **Верстянки** может восходить к нарицательному **верстянка* ‘песчано-каменистое место’. В медвежьегорских, пудожских, петрозаводских, онежских, тихвинских, череповецких, чудовских, устюженских говорах употребляются однокоренные слова *верста* и *гверста* ‘мелкий камень, щебень; дресва’ (СРНГ IV: 148; СРГК I: 331); в старорусском говоре *гверздянка* ‘участок мелкого леса, где рубят зимой дрова’ (НОС II: 10). Варианты *верста* и *верстянка* возникли в результате упрощения начального сочетания согласных, что связано с влиянием прибалтийско-финских языков, для которых, как и в других финно-угорских языках, характерно отсутствие групп согласных в абсолютном начале слова⁶.

Название сенокосного участка **Лужница** у дер. Карасозеро Заонежского района можно сопоставить с однокоренным *лужник*, бытующим в ярославских говорах в значении ‘небольшой луг, лужайка, лужок’, а в рязанских – ‘сырое болотистое место’ (СРНГ VII: 351). В заонежских говорах могло употребляться нарицательное **лужница* с предполагаемым значением ‘сырое место’. Ср. также **Копняг** – пахотное угодье Костинская, Пудожский район < **копняг* ‘место (какое?)’ – *копня* ‘копна хлеба или сена’ в вытегорских, вознесенских говорах, *копнище* ‘огороженное место в поле, на котором ставятся хлебные скирды’ в тотемских говорах (СРНГ XIV: 292); **Лобозняги** – сельскохозяйственный участок Типиницы, Заонежье < **лобозняг* ‘место (какое?)’ – *лобозник* ‘большое широколистное растение, растущее на пожнях’ в петрозаводских говорах (СРНГ XVII: 97); **Пурховье** – пахотное угодье Каршевская, Пудожский район < **пурховье* ‘место обитания птиц?’ – *пурховище* ‘излюбленное место обитания птиц’ в свердловских и вятских говорах (СРНГ XXXIII: 138); *пурхать* ‘порхать, перелетать’ в медвежьегорских и прионежских говорах (СРГК V: 352).

Высокая частотность в топонимическом употреблении позволяет говорить о более надежной реконструкции. Так, пудожские и заонежские названия **Мочальник** – пахотное угодье (Ялгандсельга Песчанского сельсовета), у **Мочальника** – сельскохозяйственное угодье, **Мочальничное поле** (Паяницы, Заонежье) могут восходить к нарицательному **мочальник* ‘место для мочения льна’. В лодейнопольских, подпорожских, кондопожских говорах употребляется однокоренное слово *мочало* ‘углубление, яма, приспособление для мочения льна, лыка и т. п.; мочило’ (СРГК III: 266).

Ненадежными могут быть реконструкции на базе составных наименований из определения и определяемого слова. Частотное употребление одной топо-

нимической лексемы с разными определителями может быть вызвано разделением сельскохозяйственного угодья между хозяевами.

В Заонежье зафиксированы наименования пахотных угодий со словами *позмя*, *позмь*: **Заанашкина Позмя**; **Государева Позмя**; **Малая Заанашкина Позмя** (Вегорукса); **Долгая Позмя**, **За Долгой Позмей** (Сибово); **Кривая Позмя**; **Заросшая Позмь** (Пегрема Великогубского сельсовета); **Филицкая Позмя** (Калозеро Космозерского сельсовета). То, что слова *позмя* и *позмь* могли употребляться в качестве нарицательных, подтверждает наличие однокоренного *позём*, зафиксированного в значениях ‘засаеваемый участок земли’ в плесецких и каргопольских говорах (СРГК V: 32), ‘усадыба, жилой дом, хозяйственные постройки, сад, огород’ – в олонекских говорах, ‘земельный участок, надел’ – в архангельских, нижегородских, московских говорах, ‘почва, земля’ – во владимирских, тверских, ленинградских (СРНГ XXVIII: 331). Вариант *позьмо* ‘усадыба’ и ‘участок земли, надел’ бытует в саратовских, уральских, казанских, пензенских, рязанских говорах (СРНГ XXVIII: 342).

Названия пахотных угодий **Руданга**; **Алешинская Руданга**; **Танинская Руданга** зафиксированы в дер. Заломаева Гора Отовозерского сельсовета Пудожского района. Слово *руданга* может быть связано с карельским *ruadua* ‘осваивать новые земли, вырубать лес под пашню, под луга’ (СКЯЛ: 314).

В Кузаранде отмечено название **Клипая Худа**, возможно, связанное с вепским глаголом *hutta* ‘палить подсеку’ (СВЯ: 136). Ср. *кляпóй* ‘изогнутый от корня, растущий наклонно, кривой’ в вологодских, архангельских, уральских, пермских говорах; *кляповый* и *клеповый* ‘ничего не значащий, негодный плохой’ в воронежских и ленинградских (СРНГ XIII: 333).

В Пудожском районе фиксируются названия **Фетихотина Роса** и **Ефимовская Роса** (деревни Купецкий Погост и Кильпога). Во владимирских и тверских говорах слово *роса* употребляется в сочетаниях в значении ‘сенокос в раннее утро (пока роса на траве не обсохла)’, ср.: *Нá росу уйти, пойти* ‘отправиться на сенокос’ (СРНГ XXXV: 181). В киришских говорах известно слово *росивина* ‘заброшенный, невозделываемый участок леса’ (СРГК V: 561). Возможно, слова *роса* и *росивина* в указанных значениях связаны с карельским ливвиковским *razi* ‘вырубленная два года назад, но не паленая подсека’, финским *rasi* ‘лес, срубленный при корчевании и оставшийся не сожженным’, вепским *razagat* ‘подсека, оставленная на второй год не спаленной и не очищенной’ (СКЯЛ: 300; СВЯ: 464; Фасмер III: 433). В говорах южного Прионежья зафиксировано диалектное *разаги*, заимствованное русскими из вепского⁷. В вологодских говорах известно слово *расáги* ‘подсека, поросшая мелким тонким

лесом и травой' (СРНГ XXXIV: 107). Как указывает А. К. Матвеев со ссылкой на Я. Калиму, переход прибалтийско-финского краткого *ä* в рус. *o* был характерен для периода ранних контактов (ср. *Korrela, lopp, lohta* при фин. *Karjala, Lappi, lahti*). В более поздних заимствованиях, к которым относится и слово *роса*, *ä* может быть отражено и как рус. *a*, и как рус. *o*⁸.

Таким образом, топонимические данные позволяют с разной долей вероятности реконструировать некоторые лексемы, не зафиксированные ни в говорах, ни в памятниках письменности (*верстынка, лужища, мочальник, позмя, пурховье* и др.). Некоторые из подобных слов могут иметь прибалтийско-финское происхождение (*роса, худа, руданга*).

¹ См., например: Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Ч. 1. Екатеринбург, 2001; Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: Проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск, 2002; Теуш О. А. К проблеме реконструкции географической терминологии по данным субстратной топонимии Русского Севера // Ономастика в кругу гуманитарных наук: Материалы междунар. науч. конф. Екатеринбург, 2005. С. 69–71.

² Теуш О. А. Указ. соч. С. 70.

³ Смирнова О. С. Топонимия как ниша для функционирования географических терминов и источник их реконструкции // В. И. Даль и русская региональная лексикология и лексикография: Материалы всерос. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения В. И. Даля. Ярославль, 2001. С. 140–147.

⁴ В работе использованы архивные материалы фондов 1067, 1843, 2341.

⁵ Теуш О. А. Указ. соч. С. 70.

⁶ Основы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и развития финно-угорских языков). М., 1974. С. 119; Матвеев А. К. Указ. соч. С. 127.

⁷ Мамонтова Н. Н., Муллонен И. И. Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии. Петрозаводск, 1991. С. 79; Мызников С. А. Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада. СПб, 2003. С. 136.

⁸ Матвеев А. К. Указ. соч. С. 33–34.

Словари

Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. Л., 1972 (далее – СВЯ). Новгородский областной словарь. Вып. 1–13. Новгород, 1992–2000 (далее – НОС).

Словарь карельского языка: Ливвиковский диалект / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990 (далее – СКЯЯ).

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1–6. СПб, 1993–2005 (далее – СРГК).

Словарь русских народных говоров. Вып. 1–37. Л.; СПб, 1965–2003 (далее – СРНГ).

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1967–1973 (далее – Фасмер).

Характеризующая функция русского личного имени

Личное имя является, образно говоря, звуковой оболочкой понятия Человек. Имя придает этому понятию реальные очертания, создает образ. Лингвистами хорошо изучена структура личных имен, история их образования. Культурологические исследования часто представляют русские имена в базовом составе русской лексики. Однако в русле семиологического направления личное имя редко рассматривается как семантическая структура, характеризующаяся денотативной двуплановостью, хотя хорошо известно, что многие личные имена имеют в составе своего значения интенсивно функционирующие семы, которые позволяют использовать словоформы в переносном характеризующем значении.

Возможно, это происходит потому, что, по словам В. В. Виноградова, «история собственного имени и процессы его превращения в нарицательное с определенным значением и яркой экспрессивной окраской очень сложны»¹. Современные исследователи, изучающие имена собственные в прагматическом аспекте, настаивают на включении ономастического материала в современные словари, утверждая, что собственное имя – «самая конкретная, а вместе с тем и самая абстрактная категория, дающая возможность на материале языковых контекстов проследить не только историю народа, его мировоззрение, но и превращение конкретного номинального значения в нарицательное понятие»².

Большое значение для решения проблем лексикологии, лексикографии и методики преподавания языка имеет изучение функционального аспекта антропонимики. Различаются экстенциональное употребление имени по отношению к человеку, за которым закреплено определенное личное имя, и интенциональное употребление личного имени по отношению к абстрактному понятию, концепту, символически обозначаемому этим именем (например, предательство – Иуда, злодейство – Каин, храбрость – Суворов, изобретательство – Кулибин). На протяжении многих веков определялись концепты, каждый из которых является ступенью культуры. В. Н. Телия обозначила зависимость развития образной семантики слова от идеоэтнического культурно-исторического опыта народа термином «культурная коннотация». «Реальность коннотативных признаков в живом функционировании языка проявляется в том, что коннотативные признаки часто обуславливают

способность переосмысления лексического значения в искомый смысл на основе ассоциативных связей»³. Эти связи отражают традиционные представления, верования и многовековой социальный опыт носителей языка.

Интенциональные концептуальные семы являются основанием для развития метафорического переноса Человек → Человек. Одной из базовых лексических групп, обслуживающих эту семантическую сферу, являются имена мифических существ, героев народных сказок и былин, исторических деятелей. Оценочные значения многих личных имен основаны на культурной коннотации, на устойчивом представлении о какой-либо характерной особенности реального или вымышленного лица. Эти имена принято называть прецедентными.

Большую часть этой группы слов составляли в недавнем прошлом имена библейских персонажей и героев сказок, былин (*Каин, Соломон, Аред; Баба Яга, Иван да Марья* и др.). На примере развития их семантического содержания можно убедиться в том, что образование вторичного характеризующего значения у личного имени часто происходит не однолинейно. Одно и то же имя в разговорных и художественных контекстах может развивать кардинально противоположные значения или вторичное, характеризующее человека значение, не связанное напрямую с первоначальным содержанием интенционала слова. Это происходит благодаря воздействующим на семантическое развитие слова особенностям менталитета русских людей. Семасиологами с недавнего времени выделяется так называемая социальная коннотация, которая иногда приводит к перекодировке семантического переноса. Так, имена многих библейских персонажей получили «второе рождение» в русских народных говорах, в городском просторечии. Например, очень продуктивным в разговорной среде оказалось имя *Лазаря*, библейского героя, нищего, попавшего в рай. Слово *лазарь* в христианской литературе является наименованием святого, а в разговорном русском языке оно изменило семантику, обозначает главным образом нищего, попрошайку⁴ и в различных регионах России получило значения: лицемер, ханжа, лживый человек, навязчивый, настойчивый в своих просьбах человек и ленивый, плохой ученик⁵.

Существуют функциональные различия в использовании личных имен. К древним временам восходит традиция заменять имя злого духа, очень важного в жизни человека лица или предмета, другим именем. Демона называли *Дёма*, а чертей – *дёмьины ребята*, соху ласково – *Андревна*. И, наоборот, традиционные имена иногда заменялись на онимоподобные словоформы, чтобы сбить с толку злых духов и оградиться от их сил (*Ненаш, Некрас* и др.).

Целью использования личного имени в фольклорных текстах (поговорках, загадках, частушках) могло быть шутивное обращение, каламбур. Способность личного имени характеризовать те или иные свойства человека в данных контекстах очень тесно связана с фонематическими ассоциациями личных имен и ключевых текстообразующих слов. Например, в поговорках: *Ерёма, Ерёма, сидел бы ты дома; Мели, Емеля, твоя неделя; В поле Маланья не для гулянья; Фекул губы надул; Пригожа, как Фетиньина рожка*⁶.

Наиболее распространенной целью использования личного имени в характеризующей функции является выражение эмоциональной оценки и воздействие на адресата речи. Имя, известное в своем переносном значении, характеризует человека с точки зрения общественных норм поведения и морали. Так, например, считалось, что с миром злых демонов связаны люди иного вероисповедания, относящиеся к лагерю врагов. Видимо, на близости этих концептов базируется синонимичность слов *магомет, аслам, оман* и *еретик*, которые в русских народных говорах обозначали злого, вредного, жестокого человека.

Активное употребление с давних времен и по сей день некоторых личных имен в характеризующем значении обусловлено языковой традицией, отражающей устойчивую общественную реакцию на сословную принадлежность человека. Например, издавна некоторые женские простонародные имена имеют в разговорном языке пренебрежительно-уничтожительную коннотацию (*Ненила, Матрена, Фетинья*). В противовес к ним имена *Марина, Милитриса* развивали значения, характеризующие богатых, важных, модно одетых женщин. Еще один пример. В XVII в. имя фольклорного персонажа *Ваня, Ванька (Ванька Каин)* ассоциировалось с человеком из простонародья, имеющим такие качества, как лихость, смелость и в то же время подлость, лживость. В дальнейшем преобладающей коннотацией этого имени стала глупость, лень и необразованность⁷.

Иногда первоначальная ассоциация, являющаяся первопричиной использования данного имени в характеризующей функции, со временем оказывается утеряна. Но за определенным именем остается прочно закрепленное то или иное характеризующее значение, например, в именах на букву Ф. По словам В. В. Виноградова, «не подлежит сомнению, что собственные имена, начинавшиеся когда-то чуждым восточным славянам звуком Ф, чаще всего получали презрительное и бранное значение (Фетюк из Феотих)»⁸. И в дальнейшем многие имена на букву Ф сохраняли потенциальную коннотацию пренебрежения (Фефёла, Фофан, Филимон, Филя). Устойчивость образных и звуковых ассоциаций имен демонстрируют употребляющиеся в настоящее время в языке современной молодежи слова *фефёла* – старомодная дурочка и *фофан* – дурак, тупица, глупец⁹.

Таким образом, подтверждается правомерность разделения понятия коннотации на взаимодополняющие адгерентную (основанную на внеязыковой ситуации) и ингерентную (устойчивую, заложенную в языковую память) коннотацию. В современном русском языке есть примеры закрепления коннотационных элементов за определенной словоформой благодаря сохранению восприятия личного имени вместе с латентным вторичным эмоционально-оценочным значением. Так, в современном молодежном сленге слова **вася, ваня, ванька, вова, петя, петька** имеют большой набор синонимичных характеризующих значений: парень, мужчина из деревни, посредственный человек, простак, дурак, человек неинтеллигентного вида, растяпа и др. Кроме того, отмечены устойчивые вариативные выражения **алюминиевый ваня, алюминиевый вова**, характеризующие очень глупого человека. Развитие некоторых слов уже вышло за пределы семантического поля Человек. В молодежном сленге слово **вася** имеет значения: ‘растяпа, лопух, дурак’ и ‘о чем-либо окончательно потерянном, бесполезном’ в контексте: *Ну, все, вася, пошли отсюда, пацаны*. Это говорит о постепенном стирании яркости, образности значений данного слова и в то же время о возможности дальнейшего развития его семантики на основе устойчивой коннотации, которая заменила собой ядерный элемент значения слова.

Обращает на себя внимание тот факт, что характеризующая функция закреплена за определенным банком личных имен. Именно эти имена регулярно употребляются в качестве эмоционально-оценочной характеристики человека. Благодаря закреплению характеризующей функции за определенными именами в русском языке развиваются фонематические варианты и отономастические дериваты – производные эмоционально насыщенные, оценочные слова. Например, именная словоформа Ваня является основой фонетических вариантов и производных слов с широкой палитрой эмоционально-оценочных значений в русских народных говорах: **ваньзя, ваньдзя, ваньжа** – простофиля, глупый, неловкий, неповоротливый человек.

Исследователи процессов современного словообразования отмечают продуктивность и в современном русском языке отантропонимического способа образования новых слов, связывая это с фактором усиления роли личности в жизни общества¹⁰. Особенностью использования данного способа словообразования является постоянное обновление банка корневых морфем.

Знание современной идеологии и культурных особенностей социальной среды, в которой используются языковые единицы, не всегда ведет прямым путем к пониманию семантических особенностей этих единиц.

«Известно, что в языке наряду с отражением живых идей современности громадную роль играют унаследованные от прошлого – иногда от очень далекого – технические средства выражения», – писал В. В. Виноградов. Как уже говорилось, потенциальная способность личного имени характеризовать те или иные свойства человека в речевых контекстах очень тесно связана с фонематическими ассоциациями личных имен. Если рассматривать это явление шире, то фонетические ассоциации оказываются с древнейших времен важным элементом для образной и семантической направленности развития слова, предопределяют возможность использования его в характеризующей функции. И эта область изучения еще не полностью освоена лингвистами-антропологами.

Возможно, существует и еще один уровень отбора лексики экспрессивного характера для переосмысления значений, лексики, отражающей эмоциональное состояние говорящего. Этот отбор происходит на фонетическом уровне лексем. Обращает на себя внимание тот факт, что слова, используемые для обозначения очень плохого, злого, вредного человека, имеют в своем фонетическом составе свистящие, шипящие, рычащие звуки: *Ирод, Сатана*. Для обозначения медлительного, неуклюжего, плохо соображающего человека часто употребляются слова с растягивающими звук гласными: *Вова, Ваня, Петя*. Для характеристики непослушного, плохо понимающего обращенную к нему речь, злого, враждебного обществу человека используются слова с четко ощутимыми фонетическими особенностями иноязычной лексики, например, слово, дающее презрительную характеристику выходцу из Средней Азии, *кимчиргыз*, образовано на основе непривычных русскому человеку звуковых сочетаний нерусского имени¹¹. В прошлом веке аналогичную функцию бранного слова выполняли слова *абыз, бахмет, осман*. Так говорили об угрюмом, неприветливом человеке, нелюдике, о том, кто производит впечатление темного, неразвитого человека. Следовательно, немаловажное значение для выбора того или иного слова для выполнения характеризующей функции имеет и фонетический облик, «словесный образ» наименования. Но эта проблема требует еще своего более глубокого исследования, материалом для которого может служить богатый в вариативном отношении лексический фонд русского языка.

¹ Виноградов В. В. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры // Вопросы языкознания. М., 1958. № 1. С. 21.

² Кондратьева Т. Н. Метаморфозы собственного имени. Казань, 1983. С. 3.

³ Телия В. Н. Типы языковых значений. М., 1981. С. 43.

⁴ Словарь современного русского литературного языка. Вып. 1–17. М., 1950–1965.

⁵ Словарь русских народных говоров. Вып. 1–39. СПб, 1965–2005.

⁶ Катерлина В. В. Личное имя собственное: национально-культурные особенности функционирования: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 1998. С. 8–10.

⁷ Кондратьева Т. Н. Указ. соч. С. 34.

⁸ Виноградов В. В. История слов. М., 1994. С. 304.

⁹ Левикова С. И. Большой словарь молодежного сленга. М., 2003.

¹⁰ Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца XX столетия. М., 1996. С. 99.

¹¹ Новое в русской лексике 1992. СПб, 2004.

© *Е. А. Пюльзю*
Петрозаводск

Экспрессивы со значением личностной характеристики в севернорусских говорах

Экспрессивы со значением личностной характеристики занимают особое место в лексике севернорусских говоров, так как непосредственно отражают этические и эстетические идеалы народа. Многие лингвисты, анализирующие тематическую группу «человек», экспрессивность слова связывают прежде всего с коннотативным компонентом лексического значения, в состав которого входит и оценка объекта действительности, и образное представление, и эмоциональная окрашенность (Ю. И. Чайкина, Т. В. Бахвалова, В. Н. Телия и др.)¹.

В лексической системе севернорусских говоров содержится довольно большое количество слов, сформированных путем семантической деривации. Образность, основанная на метонимическом или метафорическом переносе, является средством выражения экспрессивности². В этом отношении привлекают внимание слова прибалтийско-финского происхождения, отражающие характеристику нравственных качеств человека. Рассмотрим субстратную лексику сквозь призму мотивационных признаков.

Слова с компонентами финского, карельского и вепского происхождения входят в лексико-семантические группы: «болтливый человек», «ворчливый человек», «плакса», «неряшливый человек», «медлительный человек». В основе вторичной номинации лежат следующие признаки: «какое-либо действие», «физическое свойство», «черта характера человека», «сходство с тем или иным животным по внешним качествам, поведению», «сходство с растением», «сходство с природным явлением», «сходство с предметом» и др.

Самую большую группу слов, называющих болтливое, ворчливое, плаксивое человека, составляют звукоподражательные лексемы. В осно-

ве номинации находится подражание, во-первых, звукам, издаваемым животными, птицами, насекомыми или человеком, во-вторых, – каким-либо звукам окружающей действительности.

В кондопожских говорах употребляется существительное *булендушка*, *буляндушка* ‘та, которая говорит неправду’, образованное от глагола *булендать* ‘болтать, пустословить’. Ср. подпорожское *буландать* ‘тихо и невнятно говорить’ (СРГК, 1, 136–138)³, ленинградское *булендать* ‘булькать (о воде)’ (СРНГ, 3, 270)⁴. Лексемы *булендушка*, *булендать*, *буландать* содержат в своей семантике общий компонент ‘издавать определенные звуки’ и, скорее всего, являются этимологически прибалтийско-финскими. Ср. в финском языке: *pulista* ‘булькать’, ‘говорить неясно, бубнить, бормотать; болтать’ (ФРС, 486)⁵; в карельском: ливв. *bul’bettua* ‘булькать (о жидкости)’ (СКЯМ, 30)⁶; в вепсском: *bulbutada* ‘пустословить, болтать пустяки’ Пондала Бабаевского района Вологодской области (СВЯ, 50)⁷.

Подпорожским говорам известны однокоренные слова *пинега* ‘тот, который часто плачет; плакса’, *пинáйдать* ‘плакать’, *пíнендать* ‘тихо, негромко говорить’, ‘свистеть, пищать’, *пíнгамь* ‘свистеть, пищать’ (СРГК, 4, 513). Ср. также *пинчáть* ‘пищать’ в русских говорах Коми, *пíнить* ‘плакать’ в зауральских говорах (СРНГ, 27, 35). Лексемы с корнем *пин-* прибалтийско-финского происхождения. Ср. в вепсском языке: *piništa* ‘пищать’ Озёра Подпорожского района Ленинградской области; *pinkta* ‘пищать (о птицах)’ Шимозеро Вытегорского района Вологодской области (СВЯ, 419); в карельском языке: ливв. *pinineh* ‘писк’, *piništä* ‘пищать тонким голосом’ (СКЯМ, 268).

В кондопожских говорах бытует существительное *чíлайдун* ‘болтун’ (СРГК, 6, 790), образованное от глагола *чíлайдать*. В основе метафорического переноса лежит ‘сходство звуков, издаваемых человеком, со звоном колокольчика’. Ср. *чíлайдать* ‘звенеть’ в архангельских, *чíландать* ‘звонить в маленький колокольчик’ в олонечких говорах (Фасмер, 4, 361)⁸. Лексемы с данным корнем заимствованы из прибалтийско-финских языков: в карельском – ливв. *čilahuttua* ‘брякнуть, стукнуть’, ‘грязнуть, внезапно запеть’ (СКЯМ, 35); в вепсском – *čilaita* ‘бренчать, звенеть’, ‘журчать’, ‘тараторить’ Пондала Бабаевского района Вологодской области (СВЯ, 59).

Подобные изобразительные и звукоподражательные глаголы имеют суффиксы *-айда-* и *-анда-* прибалтийско-финского происхождения. Как отмечают А. С. Герд и З. М. Дубровина, «проникнув в русские говоры Карелии непосредственно из вепсского и карельского языков, глаголы на

-айда-ть (-анда-ть) с их вариантами стали излюбленной и универсальной моделью для заимствования вообще звукоподражательных и изобразительных глаголов, а также для образования подобных глаголов от исконно русских основ»⁹. Некоторые глаголы являются «результатом контаминации или двойного заимствования: рус. *лопотать* → вепс. *lopotada* ‘шлепать, хлопать, тараторить, лопотать’ → рус. *лобайдать*, *лобандать* ‘стучать, шуметь, кричать, громко говорить’; рус. *нюхать* → вепс. *ñi-haita* ‘нюхать’ → рус. *нюгайдать* ‘тихо говорить, мямлить, гнусавить’; рус. *бурчать* → вепс., олон.-карел. *hurišta* ‘бурчать в животе’ → рус. *бурайдать* ‘ворчать себе под нос’»¹⁰. Таким образом, рассматривая звукоподражательную лексику, следует говорить о взаимовлиянии русского и прибалтийско-финских языков.

В севернорусских говорах употребляются лексемы с мотивационными семами ‘физиологическая особенность человека’ и ‘черта характера человека’. Слово *у́кка* ‘молчаливый человек’ известно медвежьегорским говорам, ‘неповоротливый, неуклюжий человек’ – терским говорам (СРГК, 6, 596). Лексемы с корнем -укк- зафиксированы в словарях финского, карельского и вепсского языков. Ср.: вепс. *uk* ‘старик’ Пондала Бабаевского района Вологодской области, Озёра Подпорожского района Ленинградской области; *ukk* ‘старик’ Шокша Прионежского района; *ukkulin’e* ‘старикашка’ Шокша Прионежского района, Чикозеро Подпорожского района Ленинградской области (СВЯ, 599); ливв. *ukko* ‘старик’ (СКЯМ, 403); фин. *ukko* ‘старик’, ‘дед, дедушка’, ‘мужик, старик; батя’ (ФРС, 675). В основу метафорического переосмысления, на наш взгляд, положен признак ‘немогущий, слабый’, содержащийся в значении ‘старик’, в результате чего лексема *у́кка* в терских говорах приобрела семантику ‘неповоротливый, неуклюжий человек’.

Слово *чу́лко* ‘хитрый, ловкий человек’ известно каргопольским говорам (дер. Глазово – по записям автора). Данная лексема, возможно, связана с карельским *çuilakka*. Ср.: твер. *çuilakka* ‘пронырливый, вёрткий’, *çuilahtua* ‘шмыгнуть, сунуться, проникнуть куда-либо’, *çuilua* ‘метаться, соваться’ (СКЯП, 31)¹¹.

Реже в севернорусских говорах встречаются семантические дериваты с такими мотивационными признаками, как сходство человека с растением, деревом, животным или природным явлением.

В терских говорах лексема *кóппала* обозначает человека с веснушками (СРГК, 2, 419), в кемских и архангельских *кóппала* используется в качестве прозвища растрепанной длинноволосой женщины (СРНГ, 14, 281). Ср. *кóппала* ‘птица глухарка’ в беломорских, каргопольских говорах, *күппола* ‘то же’ в медвежьегорских (СРГК, 2, 419). Существительное

kóптала прибалтийско-финского происхождения: карел. *koppala* ‘глухарь’, фин. *koppalo* ‘то же’ или саам. кильд. *kuapel* ‘то же’ (Фасмер, 2, 317). В кемских, архангельских и терских говорах произошло переосмысление данного слова. В основе вторичной номинации лежит сходство человека с птицей по внешнему облику: ‘растрепанный, взъерошенный; пестрый’.

В вологодских говорах лексема *ня’йвинька* употребляется в значении ‘солнце, источник чего-нибудь прекрасного’, а также используется для экспрессивного наименования человека (СРНГ, 33, 11). Слова с корнем *няйв-* этимологически прибалтийско-финские. Ср.: вепс. *päiv* ‘день’ Пондала Бабаевского района Вологодской области, Радогоща Бокситогорского района Ленинградской области; *päiväin’e* ‘солнце, солнышко’ Пондала Бабаевского района Вологодской области, Пелдуши Подпорожского района Ленинградской области (СВЯ, 449); карел. ливв. *päivü* ‘солнце’ (СКЯМ, 293); фин. *päivä* ‘день, солнце’ (ФРС, 502).

Пудожским говорам известен фразеологический оборот *косая мя’нда* ‘капризный человек’ (СРГК). Лексема *мя’нда* имеет такие значения, как ‘редкослойная сосна’ в плесецких и кондопожских, ‘слой дерева между сердцевинной и корой’ в пудожских, прионежских и кондопожских, ‘об очень полном человеке’ в медвежьегорских, кирилловских (СРГК, 3, 284); ‘неплотный, рыхлый слой древесины, расположенный непосредственно под корой’ в беломорских, архангельских, северодвинских, вологодских, ‘низкорослый сосновый лес’ в архангельских, вологодских говорах (СРНГ, 19, 85). *Мя’нда* прибалтийско-финского происхождения: карел. *mändü*, фин. *mänty* ‘сосна’, эст. *mänd* ‘то же’ (Фасмер, 3, 30). Созданию метафорического значения ‘полный человек’ у слова *мя’нда* способствует признак ‘кряжистый’, а сема ‘капризный’ возникает на основе признака ‘рыхлый; плохого качества’. В устойчивом сочетании *косая мя’нда* образность формирует не только существительное, но и зависимый компонент – прилагательное *косая*.

Таким образом, исследование субстратной лексики, отражающей характеристику различных качеств человека, позволяет выявить особенности мировосприятия жителей Севера, а также увидеть тесную взаимосвязь, взаимовлияние карельского, вепсского, финского и русского языков.

¹ Телия В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция // Метафора в языке и тексте. М., 1988. С. 26–52; Бахвалова Т. В. Характеристика интеллектуальных способностей человека лексическими и фразеологическими средствами

языка на материале орловских говоров. Орел, 1993; Чайкина Ю. И. Семантика экспрессивов со значением личностной характеристики в лексико-семантической системе говора // Севернорусские говоры. Вып. 6. СПб, 1995. С. 43–49.

² Сафина Р. А., Борискова Л. А. Образность фразеологизмов, выражающих умственные способности человека, в немецком и русском языках // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы. Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казанского университета (Казань, 4–6 окт. 2004 г.): Тр. и материалы. Казань, 2004. С. 86–87.

³ Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1–6. СПб, 1994–2005 (далее – СРГК).

⁴ Словарь русских народных говоров. Вып. 1–38. М.; Л.; СПб, 1965–2004 (далее – СРНГ).

⁵ Финско-русский словарь / Сост. И. Вахрос, А. Щербаков. М., 1977 (далее – ФРС).

⁶ Словарь карельского языка (ливвиковский диалект) / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990 (далее – СКЯМ).

⁷ Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепского языка. Л., 1972 (далее – СВЯ).

⁸ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1964–1973 (далее – Фасмер).

⁹ Дубровина З. М., Герд А. С. Изобразительные и звукоподражательные глаголы прибалтийско-финского происхождения в русских говорах Карелии // Сов. финноугроведение. 15. 1979. 4. Таллин, 1979. С. 245.

¹⁰ Там же. С. 246.

¹¹ Словарь карельского языка (тверские говоры) / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994 (далее – СКЯП).

© Л. П. Михайлова
Петрозаводск

Внешний облик русского слова в зоне этноязыкового контактирования

Лексика северных и северо-западных русских говоров характеризуется генетической неоднородностью. В плане исследования истоков формирования лексической системы, ее своеобразия интерес представляет не только субстратная лексика, но и русские по происхождению слова, имеющие необычный фонематический состав в сравнении с лексикой как общеизвестной, так и бытующей на других территориях. Причины отличительных особенностей диалектной системы на разных ее уровнях кроются не только в сосуществовании в настоящее время разных этноязыковых коллективов, особенно в Карелии, а также в Ленинградской, Вологодской, Псковской областях. Это, на наш взгляд, может служить лишь поддерживающим фактором сохранения системы, сложившейся в глубокой древности. В процессе соприкосновения и взаимодействия языков разного строя выявились те элементы, которые были сильными и устойчивыми в своей системе и в наибольшей степени отличными от чужой. Несовпадающие признаки адаптирую-

щихся друг к другу систем, особенно на фонетическом уровне, оказались наиболее активными при проникновении в соседнюю среду. Несогласованность системных признаков русского и прибалтийско-финских языков обнаруживается прежде всего в составе гласных и согласных звуков, в характере начального слога в слове, в строении словоформы и т. п. Длительное сосуществование народов в новых условиях общения, при новой внешней детерминанте для каждого языка¹, приводит к возникновению общих языковых признаков, которыми ранее не обладала адаптирующаяся система, то есть происходит обмен интенциональными признаками передающей системы и превращение их в экстенциональные в принимающей системе.

К признакам прибалтийско-финского языка, обладающим интенциональной значимостью, на которые русская / славянская система могла осуществлять функциональный запрос², можно отнести следующие: начало слова без сочетаний согласных, абсолютное начало слова без звонких согласных³, депалатализацию согласных, выпадение *v*- в начале слова и др.⁴

Цель данной работы – показать некоторые особенности русской диалектной и прибалтийско-финской лексики, обусловленные взаимодействием языков.

В области гласных для говоров Заонежья и некоторых других севернорусских говоров характерен переход *'e > 'a* после мягких согласных с одновременной перетяжкой ударения на предшествующий, чаще всего на первый слог, что, возможно, связано с воздействием прибалтийско-финской системы на русскую, ср. древнейшее заимствование славянского слова **verteno* в финский *värttinä*. В русских говорах примером могут служить наряду с другими слова *ря'шуть* 'сломать, поломать, исковеркать, привести в негодность' Кондоп. (5: 617)⁵, ср. *решить* 'уничтожить, разрушить' Лод., Тихв., Медв., Пуд., Выг., Кирил., Карг., 'привести в негодность, испортить' Лод., Тихв., Подп., Пуд., Выг., Кирил., Карг. (5: 522); *ря'тливый* 'добрый, сердечный, душевный' Кад. (5: 616), ср. *ретливый* 'пылкий, горячий (о сердце)' Медв., родственное с *ретивый* 'вспыльчивый' Шексн. (5: 519).

В области согласных на синтагматическом уровне вместо исконных наблюдается появление звуков, усвоенных под непосредственным влиянием соседних языков. На данный факт обращали внимание многие лингвисты, в частности, на материале ярославских и костромских говоров, где обнаруживается мерянский субстрат, О. В. Востриков отмечает такие особенности, как замена звонких глухими в начале слова, озвончение согласных в интервокальном положении, отсутствие стечения согласных в начале слова и некоторые другие⁶. В русских говорах Карелии и соседних территорий на месте исконного [ж] наблюдается соответствие звуков

[ж] ~ [з] ~ [с], обусловленное рефлексамии прибалтийско-финского консонантизма: «вариативное бытование [з], [ж] на почве русских говоров отражает результаты различного субстратного влияния: карельского – [ž] или вепсского – [z] типа», варианты с [ž] и [z] имеются и в карельских диалектах⁷. Вариант с [с] является, по-видимому, рефлексом финского происхождения.

Остановимся на примере «путешествия» русского слова за пределы родной языковой стихии и возврата в новом звуковом облике. Среди названий рыболовных орудий и их частей в русских говорах бытуют слова с этимологическим корнем *реж* (< **rēd*), имеющим несколько вариантов.

1) *Режá* и *рэжа* ‘самая редкая рыболовная сеть (для крупной рыбы); редкаячайное полотно сети в различных орудиях лова’ Волж., Ярослав., Иван., Сталингр., Дон., Перм., Мезен. Арх., Пск., Волхов и Ильмень, Вельегон. Твер., *реж* ‘то же’ Беломор., Свердлов., Иркут., Перм., р. Урал, Волхов и Ильмень, *режь* ‘то же’ Север., Калинин., Тобол., Том., Кемер., *рѣжь* ‘то же’ Пинеж. Арх., с близкой денотативной соотнесенностью представлено *режь* – Волга, Дон, Урал, Арх., Пск., Новосибир. Приангарье, *режáк* – Астрах., Волга, Дон, Урал, Оренб., Арх., Беломор., Хабаров., Терск., *режáн* – Том., *режеvá* – Свердлов., *режóва* – Урал, *реже́нец*, *режи́нец* – Пск., *режи́на* – Осташк. Калинин., Волхов и Ильмень, *режóвица* – Север (СРНГ 35: 25–29), *режóвка* ‘рыболовная сеть’ Канд., *режь* ‘толстая нить, бечевка в рыболовной сети’, *режеви́ца* ‘отверстие в середине рыболовной сети’ Плес. (5: 508), ср. *редуха* ‘редкая рыболовная сеть’ Кирил. (5: 507). Слова с корнем *реж*- многочисленны и охватывают широкий ареал.

2) *Ряжь* ‘рыболовная сеть’ Пуд., Волог., *ря’жевая сеть* ‘рыболовная сеть меньше рамовой сети’ Медв. (5: 611), *ряж* ‘редкая, с крупными ячейками рыболовная сеть’ Галич. Костром., Ярослав., Свердлов., Новосибир. (СРНГ 35: 347), *ряжii* ‘крупная ячейка рыболовной сети’ Новг. (СРНГ 35: 349), *ря’жи* ‘часть невода, сети с мелкими ячейками’ Костром. (ЯОС 8: 145). Ареал бытования слов с *ряж*- ограничен севернорусскими говорами. Допустимо предполагать усвоение данного корня в связи с переходом ‘*e* > ‘*a*, известным на Севере и Северо-Западе. Ср. *рядь* ‘рыболовная сеть’ Пуд., *ряды’ш* ‘рыболовная сеть с крупными ячейками’ Медв. (5: 610).

3) *Риз*, *ри́зец*, *ризе́ц*, *ри́суи* ‘рыболовное орудие в виде сети, натянутой на деревянные обручи’, *ристе́ц*, *ри́стик* ‘ловушка для рыбы’, *ри́стик* ‘рыболовное орудие типа ризца, но меньших размеров’ Пск., *ри́зец*, *ризе́ц* ‘орудие типа мережи для лова снетков, но больших размеров’ Пск., Селигер, Брян. (СРНГ 35: 102, 106). Все слова с корнем *риз*-, *рис*- и его расширителем в виде согласного [т] известны лишь псковским говорам, за исключением слова *ризе́ц*,

имеющего несколько расширенный ареал. С учетом последнего можно предполагать, что они имеют непосредственную связь с эст. *riis* ‘сак, мережа’ (РЭС: 784), которое, в свою очередь, явилось заимствованием русского слова *режс*. В районе Волхова и Ильмена для обозначения хорошей рыбы – судака, леща и т. д. – известно слово *рiсся* (СРНГ 35: 106), которое предположительно можно отнести к этой же группе слов, если иметь в виду метонимический перенос: ‘крупная ячея сети’ > ‘крупная рыба, удерживаемая ячеей’.

Другие прибалтийско-финские языки также усвоили русские слова для обозначения рыболовной сети: фин. *riesa* ‘сеть’, карел. *grieza* ‘сеть’, олон. *riežu*, вепс. *řeža* ‘редкая сеть’ (SKES III: 779). Слово *grieza*, отмеченное в южных карельских говорах, имеет добавочное начальное *g-*, что можно объяснить гиперкоррекцией. Как видим, древнерусскому «ять» соответствует вепс. [e], фин. и карел. [ie], эст. [ii], что может свидетельствовать об усвоении русского слова в эпоху распада прибалтийско-финского языка-основы. Русские говоры Севера и Северо-Запада оставили у себя, во-первых, исконный вариант с гласным [e], как и на большей территории России, во-вторых, преобразованный под влиянием прибалтийско-финской фонетической системы вариант с [’a], в-третьих, подвергшиеся в иноязычной среде более значительной «переработке» слова с гласным [и] и согласными [з] или [с], заимствованные русскими говорами. В последнем случае речь идет о «возвращении на родину путешественников» с иноэтническими элементами во внешнем облике.

Сопоставление русской и прибалтийской лексики, отличающейся началом корня при совпадении семантики, может дать повод для размышления об исконности слова. В этом отношении небезынтересны слова с *дряб-* и *räb-, räp-*. Представим русский материал: *дрябь* ‘топь, трясина’ Олон. (СРНГ 8: 226), *дряб* ‘трясина’ Бокс., Подп., Баб., Канд., Кем., *дрябь* ‘то же’ Бокс., Подп., Баб., Кем., *дрябучина* ‘топкое место, трясина’ Онеж., *дря’блый* ‘нетвердый, болотистый, оседающий под ногами (о почве)’ Онеж. (СРГК 2: 7); в архангельских говорах – *дрябь* ‘топкое, вязкое, болотистое место, топкое болото’ Леш., Пин., Прим., ‘низменное сырое, поросшее лесом, кустарником место’ Прим., ‘густо заросшее место в лесу, чаща’ Мез., Пин., Шенк., *дрябочина* ‘топкое болото’ Онеж. (АОС 12: 324); в новгородских говорах ‘трясина, топкое болото’ – *дрябь* Бор., Валд., Под., Мош., *дря’бель* Ст., Новг., *дрябина* Мош., Бор., Дем., Люб., Мал., Мар., Ок., Парф., Под., Сол., Ст.; ‘жидкая, топкая грязь’ – *дрябь* Ок., Оп., *дря’бля* Ок. (НОС 2: 106); в псковских говорах – *дрябь* ‘непроезжее место’ Печ., *дря’на* ‘топкое место, трясина’ Вл. (ПОС 10: 23, 26). Заметим, что в слове *дря’на*, представляющем собой фонетическое и морфологическое изменение лексемы *дрябь*⁸, преобразование [б] > [п] может являться прибалтийско-финским рефлексом. Корень *дряб-* восходит к славянскому **dręb-* и является род-

ственным к *дрѣб-* < слав. **drēb-* при близости лит. *drėbėi* ‘дрожать’ (ЭССЯ 5: 112). Существенно наличие формы *дрѣбь* в близких значениях на территории Архангельской, Вологодской областей и Карелии⁹. Обращая внимание на исходные семантические признаки ‘топкость’, ‘труднопроходимость’, В. Л. Васильев определяет ступени семантического развития ‘болото’ > ‘лес’ при исчезновении признака ‘топкость’: ‘топкое место’ > ‘топкое место, поросшее кустарником, частым лесом’ > ‘кустарник; частый, густой лес’¹⁰. Данный тип семантических цепей отражает закономерные семантические процессы, происходящие в славянской географической терминологии¹¹.

Прибалтийско-финский материал, сходный в семантическом отношении и отражающий частичное совпадение фонематического состава (*дряб-* ~ *räb-, räp-*), менее объемён: ливв. *räbe(jikkō)* ‘редколесье с чахлами деревьями; молодой частый лес’, фин. *räpeikkō* ‘кустарник, молодая поросль’, зап.-фин. *rääpiö* ‘непроходимое место, топь’, с которым соотносится арх. *рябы* ‘малорослый лес на болоте или в тундре’ и, по предположению Н. Н. Мамонтовой, И. И. Муллонен, утраченное велс. **räbeh* (**räbez*), ставшее производящей основой для лодейнопольского *рябега* ‘сырая болотистая низина в лесу’¹².

Совпадение территории бытования, семантики слов в русском и прибалтийско-финских языках даёт основание предполагать в качестве исходного русское *дряб-*, утратившее при вхождении в соседнюю языковую среду начальный согласный (*räb-*), изменившее в финском языке звонкий согласный на глухой (*räp-*) и в отдельных случаях усвоившее лишь последнее звено семантической цепи.

Приведенные факты служат яркой иллюстрацией сложных процессов, происходящих в зоне контактов разных этносов на севере европейской части России, – адаптации одной системы к другой, взаимообмен языковыми особенностями.

¹ Мельников Г. П. Системная типология языков: Принципы, методы, модели. М., 2003. С. 74.

² Мельников Г. П. Указ. соч. С. 38.

³ Основы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и развития финно-угорских языков). М., 1974. С. 119, 125.

⁴ Основы финно-угорского языкознания (прибалтийско-финские, саамский и мордовские языки). М., 1975. С. 31–33.

⁵ Географические пометы используемых словарей сохраняются. Данные СРГК ограничиваются указанием лишь номера выпуска и страницы.

⁶ Востриков О. В. Финно-угорский субстрат в русском языке. Свердловск, 1990. С. 35.

⁷ Мызников С. А. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада: Этимологический и лингвогеографический анализ. СПб, 2004. С. 360.

⁸ Васильев В. Л. Новгородская географическая терминология (Ареально-семиологические очерки). Великий Новгород, 2001. С. 147.

⁹ Васильев В. Л. Указ. соч. С. 145. Заметим, что на с. 249 на карте № 14 «Фиксация МГТ от корня *dgeb-» знаки, относящиеся к древь и дряпа, переставлены местами, что следует учитывать при определении ареала.

¹⁰ Васильев В. Л. Указ. соч. С. 147.

¹¹ Толстой Н. И. Славянская географическая терминология (семасиологические этюды). М., 1969. С. 244.

¹² Мамонтова Н., Муллонен И. Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии. Петрозаводск, 1991. С. 82.

Словари

Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецовой. Вып. 1–12. М., 1980–2004 (далее – АОС).

Новгородский областной словарь / Отв. ред. В. П. Строгова. Вып. 1–13. Новгород, 1992–2000 (далее – НОС).

Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–15. Л.; СПб, 1967–2004 (далее – ПОС).

Русско-эстонский словарь / Сост. Т. Кузик. Ревель, 1903 (далее – РЭС).

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд. Т. 1–6. СПб, 1994–2005 (далее – СРГК).

Словарь русских народных говоров. Т. 1–38. М.; Л.; СПб, 1965–2005 (далее – СРНГ).

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1–31. М., 1974–2005 (далее – ЭССЯ).

Ярославский областной словарь. Вып. 1–10. Ярославль, 1981–1991 (далее – ЯОС).

Suomen kielen etymologinen sanakirja. Helsinki, 1965–1981. Osa 1–7 (далее – SKES).

© *О. М. Жаринова*
Петрозаводск

Названия домашних животных в карельском языке

Собака является первым животным, которое человек приручил еще в каменном веке. Уже в период уральской языковой общности она была домашним животным финно-угров. О том, что древние племена корелы, занимающиеся охотой и рыболовством, имели в хозяйстве собак, свидетельствуют останки, найденные на приладожских стоянках. Охота с помощью собаки запечатлена в одной из сцен наскальных изображений¹.

Карельское название собаки *koira*, *koiru*, *koir(e)* относится к числу древнейших финно-угорских слов. Оно встречается практически во всех

родственных языках: фин. *koira, koiras* ‘собака, самец’ / вепс. *koig* / вод. *koira* / эст. *koeg* / лив. *kuoir* ‘собака’ / коми *kir, kir-pon, kires* ‘самец, пёс’ / манс. *ker, xar* ‘самец, самец оленя, жеребец’ / хант. *kar, xor, xar* / венг. *here* ‘самец’ / ненец. *xora* ‘самец, бык, жеребец’ / нган. *kuru* ‘самец, бык’ / энец. *kura* ‘бык’ / сельк. *gor* ‘самец’ / км *kora* ‘бык, самец’. Слово предположительно образовано от основы **koj(e)* ‘самец, мужчина’, сравни *saam kuojja* ‘муж, мужчина’ / манс. *hoj, kuj, xuj* ‘самец, мужской’ / хант. *ku, kuj-, hoj* ‘мужчина’². Изменилось лишь значение: в прибалтийско-финских языках *koira* обозначает в основном собаку как вид, в обско-угорских и самодийских языках оно обозначает самца. Изначально основа обозначала особь мужского пола вообще, затем произошло сужение родополового значения до конкретного вида животного *koira* ‘собака’.

Названия щенка *penikka, rentu* являются дериватами древнего финно-угорского слова *peni* (**pena*), которое в отличие от *koiga* сразу стало обозначать собаку: фин. *peni* ‘собака, слово для подзыва щенка’ / эст. диал. *peni, pini* ‘собака’ / лив. *piñ* / саам. *baená, pienni* / морд. *pine, pinä* / мар. *pi, pij* / коми *pon* / удм. *puni, punu* ‘собака’³. В настоящее время форма *peni* ‘собака’ практически не употребляется.

Еще одно древнее название собаки в карельском языке *kutti, kudžu* имеет два значения: *kutti* (в детской речи *kut’a, kut’u*) означает собаку и встречается в основном в собственно-карельском наречии. Вариант *kudžu*, где гемината *tt* перешла в аффрикату *dž*, более распространен в ливвиковском наречии в значении ‘щенок’. Наличие междометий призыва собаки *куть* (*куть-куть-куть*) в русских диалектах, а также фонетических вариантов славянских языков **kut-, kuč-, kus* позволяет сделать вывод об ономастопозитическом характере этого названия⁴.

Что касается крупного рогатого скота, то, по свидетельству исторических и археологических данных, он был заимствован в одомашненном состоянии еще в VI–V вв. до н. э. в Поволжье, на территории проживания древних финно-угров. Начало массового содержания скота относится к концу III – началу II в. до н. э., когда волосовская культура испытала сильное влияние пришлых земледельческо-скотоводческих племен – балановских, являвшихся носителями индоевропейских языков, и абашевских, носителей индоиранских языков. Балановским племенам – предкам балтийских народов – были известны все виды домашних животных.

В начале III тыс. до н. э. начинается интенсивное заселение территории Карелии финно-угорскими переселенцами с верховьев Волги и Волго-Окского междуречья. Их основными занятиями, безусловно, были охота, рыболовство и собирательство, однако навыки в разведении ряда домашних животных, прежде всего свиней, крупного и мелкого рогатого

скота, у них уже присутствуют. Об этом свидетельствуют такие древние финно-угорские названия в карельском языке, как *sika* (*sigä*) ‘свинья’, *lehmä* ‘корова’, относящиеся к финно-мордовскому пласту лексики, индоиранские заимствования *porsas* ‘поросёнок’, *varža* ‘жеребенок’, *vaza* ‘телёнок’, индоевропейские: *uuhi* ‘овца, ярочка’, *noaras* ‘самка’. Индоиранские заимствования считаются в финно-угроведении самыми древними, что позволяет рассматривать их как адстратную лексику.

II тыс. до н. э. датируются контакты прибалтийско-финских племен с балтийским населением, свидетельством чему служат такие балтийские заимствования, как *hieho* ‘нетель, молодая корова’, *härkä* ‘бык’, *oinas* ‘баран’, *vuonna* ‘ягненок’. К германским заимствованиям (I тыс. до н. э.) относится название овцы *lammas*, ставшее видовым и практически вытеснившее впоследствии индоевропейское *uuhi*, а также название жеребца *piete*. К более позднему относятся заимствования из шведского языка *pässä* ‘баран’, *ruuna* ‘мерин’, *tamma*, *mera* ‘кобыла’, славянские заимствования *huritta* ‘собака’, *bokko*, *bošši* ‘баран’, *žiivattu* ‘животное’.

Некоторые заимствования претерпели в карельском языке существенные изменения. Так, от индоиранского названия поросенка *porsas* при помощи деминутивного суффикса -čči образовалось наиболее распространенное карельское название свиньи *počči*; от балтийского заимствования *härkä* ‘бык’ опять же при помощи деминутивного суффикса -kki – карельское название *häkki*. Дериватами от славянского *boran* ‘баран’ являются соответствующие карельские названия *bokki*, *bokko*, *bošši*, где суффиксы -kki, -kko, -šši также являются деминутивными. При этом согласный г, наличествующий в основах *porsas*, *härkä*, *boran*, выпадает в карельских вариантах *počči*, *häkki*, *bošši*, *bokko* как несовместимый с деминутивными суффиксами.

Зоонимами прибалтийско-финского праязыка являются *sälgü* ‘жеребенок’, *hebo* ‘лошадь (возможно, германское заимствование)’, *karičča* ‘ярочка, молодая овца’. Пракарельским следует считать, на наш взгляд, название с половозрастной характеристикой *lähtömä* ‘нетель’, употребляемое наряду с балтийским заимствованием *hieho*.

Содержание скота для древних карел было новым видом деятельности. Знакомство с тем или иным видом домашнего животного сопровождалось, как видно, языковым заимствованием. В целом же животноводство у карел получило развитие, что подтверждают и языковые данные. Карелы разводили в основном крупный рогатый скот (нами зафиксировано 40 названий, в том числе составных), овец (44 названия), свиней (25 названий). Овцеводство, согласно Писцовым книгам, было развито значительно сильнее, чем свиноводство,

на всем Европейском Севере. У карел, как и у вепсов, свинья была редким домашним животным. Свиней выращивали преимущественно в городах, а овец – в деревнях. В XIX – начале XX в., по свидетельству этнографов, карелы (кроме олонецких) не употребляли в пищу свинину, более важное место занимали продукты овцеводства⁵.

Наибольшее количество названий приходится на лошадь (70 названий). Это объясняется тем, что в XIV в. население северо-западного Приладожья, «кобыличкой корилы», как названо в летописи, занималось разведением и продажей коней. В доисторическое время и в раннем средневековье на Карельском перешейке (бассейн р. Вуоксы) были распространены стада полудиких лошадей местной породы. Древние карелы приручали их и поставляли в Финляндию и Европу.

Таким образом, названия домашних животных относятся к древнейшему слою карельской лексики. Для них характерна устойчивость значений. Несмотря на долгий исторический путь развития, они мало изменились с точки зрения семантики: во всех наречиях и говорах обозначают одни и те же реалии, несут одинаковую половозрастную характеристику.

¹ Очерки истории Карелии. Петрозаводск, 1957. Т. 1. С. 93.

² Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. SKST 556. Helsinki, 1992. 1. S. 385.

³ Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. SKST 556. Helsinki, 1994. 2. S. 335.

⁴ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. 2. С. 433–434.

⁵ Кочкуркина С. И. Древняя Корела. Л., 1982. С. 154.

БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

© С. В. Коробейникова
Петрозаводск

Стилистика и эстетика языка как один из важных разделов преподавания основ перевода в школе

Методика преподавания перевода в школе рассматривает этот предмет только как вспомогательный при изучении иностранного языка, то есть больший упор делается на практическую часть вопроса. Но нужна ли в школе теория перевода (естественно, не оторванная от практики) как самостоятельная дисциплина?

Заниматься практикой перевода, не зная его теории, так же невозможно, как и быть врачом, не зная анатомии и физиологии. Анатомия и физиология изучает процессы и явления, протекающие в человеческом организме, а медицина, будучи прикладной наукой, содержит в себе систему правил и рекомендаций, которые должен знать доктор, чтобы вылечить человека. «Таким же образом, – как отмечал Л. С. Бархударов, – теория перевода, если мы хотим, чтобы она имела какую-то практическую ценность, должна не просто устанавливать закономерности процесса перевода, но и должна предписывать переводчику какие-то нормы или правила, следуя которым он может добиваться на практике желаемых результатов»¹.

Существует комплекс дисциплин, изучающих перевод под различными углами зрения, центральной и основной частью которого является лингвистическая теория перевода, вокруг нее уже группируются литературоведческое, психологическое, кибернетико-математическое направления и др. Здесь можно упомянуть о макро- и микролингвистике.

В задачу микролингвистики входит изучение, по словам Фердинанда де Соссюра, «языка в самом себе и для себя», то есть узколингвистические

дисциплины – грамматика, фонетика, лексикология и семасиология (над этим работают на уроках финского языка). К макролингвистике же относятся те направления в языкознании, которые изучают язык в связи с факторами, лежащими вне языка. Это психоллингвистика, социоллингвистика (взаимодействие языка и социальных факторов), этнолингвистика (язык и культурно-этнографический фактор), лингвистическая география и т. д.

В этой связи кажется естественным отнесение теории перевода в школе к области макролингвистики. Создание качественного не только художественного, но и технического перевода невозможно без учета всех или почти всех ранее перечисленных факторов.

Конечно, нельзя представлять теорию перевода как набор рецептов и команд, следовать которым переводчик (школьник) обязан неукоснительно. В ее задачу входит описание закономерности перехода от языка оригинала к языку перевода и некоторым образом моделирование перевода.

Наивно полагать, что, владея более или менее двумя языками, человек в состоянии сделать перевод, который можно будет считать достойным внимания. Можно передать содержание, но это все равно, что изложить «Анну Каренину» в комиксах. Красота и сила слова оригинала уничтожаются нерадивым переводчиком.

Старшеклассники, занимающиеся на уроках переводом с финского языка на русский, часто просто, во-первых, недостаточно хорошо владеют родным языком, во-вторых, не знают, к какому жанру относится текст, предложенный им для перевода, не представляют аудитории, на которую направленно содержание текста, и т. д.

Учитель, преподающий теорию и практику перевода в школе, должен понимать, что в первую очередь необходимо привлечь внимание учеников к законам русского языка в связи с переводческой деятельностью, поскольку, несмотря на то что на уроках литературы перечисленным аспектам уделяется некоторое время, школьники, в силу возрастных особенностей, не всегда могут сделать перенос полученных знаний из одного курса в другой.

Так как перевод преподается старшеклассникам в течение двух или трех лет (с 9 по 11 класс или в 10 и 11 классах после того, как ученики окажутся на определенном языковом уровне), наиболее оптимально начать обучение с самых простых во всех отношениях текстов. Постепенно возможно знакомство с разножанровыми текстами, с текстами, направленными на разновозрастную аудиторию, с техническими, юридическими и экономическими текстами и документами, не содержащими особых трудностей.

Наиболее интересным оказывается для школьников перевод художественного текста, причем не только отрывка, но и небольшого законченного текста с интересным сюжетом. В этом случае результат своей работы ученик может «дать почитать» родителям и друзьям. Конечно, подбор текстов – сложная работа для учителя, но мы бы рекомендовали все же не увлекаться переводными (произведениями русской литературной классики) или адаптированными текстами из учебных пособий. Гораздо более эффективной, хотя и более трудоемкой, будет работа с аутентичным текстом.

В качестве примера можно привести работу десятиклассников по переводу небольшого отрывка романа М. Лассила «За спичками».

1. Учитель беседует с учениками о времени, когда был написан роман, о его авторе, об исторической действительности.

2. Школьники получают представление о социальной среде и времени, в котором живут герои романа, знакомятся с текстом произведения.

3. Обсуждаются психологические особенности героев, то, как речь может иллюстрировать характер личности (здесь, как и на предыдущих этапах, есть богатейшая возможность для использования ТСО – это видеofilm, записи народных песен, картины художников, фольклор от анекдотов до колыбельных песен; важно заинтересовать ребят тематикой произведения, над которой они будут работать).

4. Если в тексте есть прямая речь, предлагаются и совместно обсуждаются варианты ее перевода, подбирается русскоязычная лексика, наиболее соответствующая мысли автора.

5. Обязательно вспоминаются соответствующие разделы теоретического курса, так как на данном этапе школьники еще учатся соотносить теорию с практикой.

Лишь после всего перечисленного можно приступить к самостоятельной работе над небольшим, в три–четыре предложения, отрывком из произведения. По окончании работы ребята сравнивают результаты, отмечают ошибки, неточности, недочеты. И, наконец, переводят уже довольно большой отрывок, затем сравнивают то, что получилось, с переводом М. Зощенко.

На это уходит не один урок, требуется длительное время и заинтересованность.

Ранее уже упоминалось о нейролингвистике. Что может представлять ее на уроке? Это музыка. Она настраивает на определенную волну, а волны настроения, в свою очередь, поднимают из глубины памяти определенные лексические блоки. Финская и карельская классическая музыка (Я. Сибелиус, Г. Синиало) помогает одиннадцатиклассникам работать над поэтическим переводом.

Важность определенного психологического настроения неоспорима при переводе поэзии. Замечательно передан патриотический и романтический дух стихотворения А. Киви «Suomenmaa» в переводе ученика 11 класса А. Сало:

Мая куннастен ja лааксоен,
ми он tuo кауноинен?
Tuo хоштеес кесäpäивин,
tuo лоистеес pohjan тулиен,
täа talven, сувен ihана,
ми онпи soma мая?

Страна равнин, страна озер,
Что может быть тебя милей?
Сияет лето... Из цветов
Ковер нарядный. Зимних дней
Мороз бодрящий. И весна!
Где лучше этой есть страна?

Конечно, правильно подобранный учителем музыкально-ассоциативный ряд далеко не единственное условие для создания более или менее удачного перевода. На лекциях учащиеся повторяют материал уроков литературы, где они познакомились с системой стихосложения и стихотворным размером. Большую сложность для ребят представляет беглость ударения в русском языке по сравнению с фиксированным ударением в финском (первый слог). При переводе стихотворения Я. Виртанена ученики почувствовали, как сложно соблюдать размер оригинала:

Мени кесä lämмин,
Syksy tänне еhtii.
Paistaa heliämмин
Kuiva keltalehti.
Lehdet пуиста riippii
syksytuuli vinha,
Varkan lailla hiippii
Talvi hurte-inha.

Пролетело лето,
Наступила осень.
Злой осенний ветер
Желтый лист уносит.
Спящие деревья
Покрывает иней,
Принося с собою
Синий вечер зимний.

Завершив работу, ребята знакомятся с переводом этого же стихотворения А. Мишина.

Теперь, благодаря техническим возможностям, учащиеся старших классов большинства школ, где углубленно изучается финский язык, могут работать и над устным переводом, то есть смотреть, слушать и переводить речь носителей языка в различных ситуациях, что дает большую практику в изучении финского языка. Ребята учатся правильно говорить на родном языке, чувствовать стиль и ситуацию. Чувство стиля для переводчика так же важно, как слух для музыканта. Чувство стиля обостряется, если постоянно тренироваться. Упражнений такого плана довольно много, например, построение синонимической цепочки, причем разбитой на стили речи:

Стиль	Научный	Нейтральный	Возвышенный	Разговорный
Слово Идти	Следовать	Идти	Шествовать	Топать

Заполнять таблицу можно самостоятельно или с помощью словаря синонимов. Заголовки столбцов можно менять по своему усмотрению, в зависимости от того, какая цель преследуется. Это могут быть названия различных социальных ступеней, диалектов, эпох, возрастных групп и т. д. В столбце, озаглавленном «слово», может быть любая часть речи, даже фраза.

Возможен «перевод» из стиля в стиль, то есть нечто романтическое записать в виде полицейского протокола или обычные действия за обедом описать научными терминами и т. д.

Эти и подобные упражнения сродни записной книжке или личному словарю переводчика, куда можно впоследствии обращаться в поисках лучшего варианта слова.

Можно взять отрывки из популярных переводных детективов, любовных романов, туристических проспектов, найти недостаток (неправильный подбор слова, канцеляризм, несоответствие стилю) и исправить его.

Например:

Пантера	атаковала	девушку.
	набросилась на	
Хитрость	дала положительный результат.	
	удалась.	

1. У меня были какие-то знания по археологии.	1. Я кое-что понимал в археологии.
2. ...глядя на великолепное зрелище морского простора...	2. ...любуюсь морским простором...
3. Это вызывало у меня раздражение.	3. Я злился.

Конечно, сводить эстетику речи только к художественной литературе, значит считать технический текст и технический перевод не имеющим отношения к литературе вообще. Некоторые ученые-лингвисты и переводчики-практики говорят, что в наше время для написания научной статьи не нужно вообще уметь писать, достаточно иметь в своем распоряжении лишь некоторый, весьма ограниченный, набор языковых средств, который сводится к стандартным клише².

Хотя без клише тоже обойтись невозможно, их надо знать, так как клише русского языка не переводятся на финский калькой, а имеют свой аналог (так же, как и идиомы) и наоборот.

Терминология не менее важна для переводчика. Конечно, очень помогает технический словарь, но это далеко не панацея. Важно уметь оперировать имеющимся багажом и, самое главное, разбираться хоть немного в сути тек-

ста, который переводишь. Школьнику порой трудно правильно перевести технический текст не столько потому, что он не достаточно владеет языком, а просто потому, что он не понимает сути переводимого.

Здесь уместно вспомнить Паскаля: «Когда читатель открывает научную книгу и убеждается, что в ней изложено все просто и ясно, он удивляется: ожидая встречи с важным и чопорным автором, он знакомится с обыкновенным человеком». Конечно, здесь не имеется в виду научная литература, адресованная узкому кругу специалистов, но перевод такого рода литературы и не входит в задачи школьного курса теории перевода. Но, благодаря знакомству с данным курсом, учащиеся всегда помнят о том, что они переводят с финского языка на русский, а не на тарабарский. Так что «проблема эстетики языка, – по утверждению Р. А. Будагова, – это проблема не только стиля художественной литературы, но и проблема научного стиля изложения, проблема общелитературного языка»³.

Обучаясь основам перевода в школе, старшеклассники, с одной стороны, должны научиться переключаться с законов языка одного народа на законы другого языка. Кроме того, курс ставит перед собой цель воспитать в ребятах понимание того, что процесс перевода не является механическим, а требует не меньшего творчества, знаний и таланта, чем создание оригинала. Работая над переводом разнообразных текстов, школьники расширяют свой кругозор, учатся понимать другой народ, приобретают знания по психологии и социологии, науке и технике, увеличивают словарный запас как родного, так и изучаемого языка, учатся видеть мир глазами другого человека и приобретают драгоценный опыт перевода, который им понадобится в будущем.

¹ Бархударов Л. С. Язык и перевод. М., 1989.

² Будагов Р. А. Человек и его язык. М., 1974.

³ Там же.

© И. П. Козьяр
Петрозаводск

Влияние русского языка на лексику финского языка в Республике Карелия (на материале финноязычных газет и журналов 1960–1980 гг.)

Финский язык в Карелии как язык административной, культурной и просветительской деятельности имеет историю не многим более 80 лет. На первый взгляд, может показаться странным, что в республике, где русские и карелы составляют большую часть населения, финский язык

так много значит. Однако это явление имеет долгую и порой противоречивую историю. Этапы развития финского языка в Карелии были напрямую связаны с политической и социальной обстановкой в республике. С 1920 по 1980 г. финский язык в Карелии находился в отрыве от своей культурной традиции. Связь с Финляндией прекратилась с установлением советской власти. Находясь в иноязычной среде, финский язык претерпел большое влияние, прежде всего русского языка. Оно проявлялось на морфологическом, синтаксическом и лексическом уровне. Попытаемся показать лексические изменения в финском языке Карелии на материалах газет и журналов, а также выявить их причины.

Развитие и бытование финского языка в республике можно разделить на следующие периоды:

– 1920–1937 гг. Образование КТК и объявление финского языка вторым государственным. 1920–30-е гг. – самый масштабный и плодотворный период в становлении финского языка. Именно в эти годы издавалось наибольшее количество финноязычной периодики, во многих школах и техникумах обучение проводилось на финском языке. И в эти годы влияние русского языка на словообразование было очень сильным. Во-первых, в советской действительности наблюдалось много новых явлений. Во-вторых, русский язык оказывал давление как язык идеологии. В 1937 г. всякая деятельность на финском языке была прекращена.

– 1941–1955 гг. После окончания Советско-Финляндской войны Карельская АССР была преобразована в Карело-Финскую ССР. Начался новый этап финнизации Карелии. Государственными языками в республике стали русский и финский. Преподавание карельского языка в школах было отменено, финский язык вновь возвращен в школы с карельским составом учащихся. Однако осуществить языковую программу в полном объеме не удалось, так как репрессии уничтожили финноязычную интеллигенцию, разрушили все основы развития финского языка, созданные в течение предшествующего периода. В 1954 г. введены ограничения на обучение финскому языку в школах. Он начал преподаваться как предмет в тех районах, где проживали карелы и финны. В эти годы издавался журнал «Punalippu» («Красное знамя») с перерывом на военные годы и газета «Totuus» («Правда»). Основные усилия были направлены на продолжение работы, несмотря на минимальные возможности. Наследие старшего поколения перешло к младшему, лексика изменилась незначительно.

– 1956–1980 гг. в истории Республики Карелия являют собой особый период как политической, так и социальной жизни. Даже в развитии финноязычной литературы выделяется именно этот временной отрезок как

качественно новый этап ее развития. 7 ноября 1956 г. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика преобразуется в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Финский язык сохраняет положение второго государственного языка. Однако его обязательное изучение в школах детьми карел и финнов было отменено, подготовка специалистов в области финского языка и литературы прекращена. В 1963 г. изучение финского языка в Петрозаводском государственном университете было возобновлено. Постановлением Совета Министров Карельской АССР с 1966/67 учебного года для желающих вводится изучение финского языка в 16 общеобразовательных школах республики.

В апреле 1957 г. принято решение о начале издания финноязычной газеты «Neuvosto-Karjala» («Советская Карелия»), хотя она, только под другим названием – «Karjalan Kommuuni» («Карельская Коммуна»)¹, издавалась уже с 1920 г.

Еще одним печатным изданием на финском языке в эти годы был журнал «Punalippu», в котором печатались художественно-публицистические произведения. Этим ограничивалась карельская финноязычная пресса.

Развитие газетного финского языка в республике определялось в этот период двумя основными факторами. Во-первых, основную массу авторов составляли уже не сами выходцы из Финляндии, многие из которых погибли в годы репрессий или на войне, а их дети. Для них родным языком был финский, но сказывалось и влияние русского языка. В конце 1950- и в 1960-х гг. поколение журналистов формировалось из карельских и ингерманландских авторов. Прочно ставшие на ноги карельские поэты и писатели Я. Ругоев, Т. Сумманен, Н. Лайне, Н. Яккола, А. Тимонен, О. Степанов активно печатались в журнале «Punalippu». Их финский язык испытывал влияние карельского языка, но это, как нам кажется, только обогащало и вносило свой колорит, делая язык их произведений неповторимым. Больше всего это проявлялось в прямой речи героев:

– A mitäpä siun mielestä pitäisi ruatua? Terentjev kysyi ja istuutui Hotejevin viereen.

– Nostua länget vuarnah. Ei tästä kuitenki tolkkuo tule (Punalippu. 6/60. S. 25).

– Terve, prihat! (Punalippu. 3/75. S. 17).

– Tytöillä ei ollut tapanaan järjestellä illatsuja eikä muitakaan kutsuja (Punalippu. 3/75. S. 17).

Вторым определяющим фактором является то, что именно в эти годы расширяется сотрудничество с Финляндией. 4 июня 1948 г. Финляндия заключила с СССР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи; в сентябре 1955 г. этот договор был продлен на 20 лет.

20 aprillia 1971 g. meжу Finlandiä ja СССР подписан Договор о развитии экономического, технического и промышленного сотрудничества. Отношение к Финляндии становится дружественным. Растет интерес к культуре этой страны. В журнале «Punalippu» печатаются произведения финских авторов (П. Хаанпяя, В. Катая, А. Нордгрэн, В. Линна), тогда как за все предшествующие годы был опубликован только лишь в 1948 г. роман М. Лассила «Воскресший из мертвых»².

Это, с одной стороны, дало карельским авторам возможность, хоть и малую, развивать и совершенствовать свой финский язык, а с другой, заставляло постоянно работать. Ведь уже со второй половины 1950-х гг. «Punalippu» и с 1970-х гг. «Neuvosto-Karjala» распространялись в Финляндии, причем тираж был в несколько раз больше, чем в Карелии³.

Интерес со стороны финских читателей требовал соблюдения чистоты языка. Количество русизмов в этот период значительно уменьшилось. Это обуславливалось исчезновением самих явлений советской жизни 1920–30 гг., названия которых напрямую заимствовались из русского языка. Хотя остались такие, как *kolhoosi, prikaati, prikatiiri, sosialistinen kilpailu, plakaatti*. Для новых понятий, например, в области космических достижений, старались найти соответствие в финском языке или пользовались семантическими кальками – дань советскому народу.

Kosmonautti jatkaa samaa luodin matkaa (Punalippu. 3/75. S. 37).

Tässä talossa on maailman ensimmäisen avaruuslentäjän kotimuseo (Neuvosto-Karjala. 16.08.70. S. 2).

Maaliskuun 27. päivänä 1964 Neuvostoliitossa laukaistiin avaruuteen keinotekoinen Maan sputnik «Kosmos 27» (Neuvosto-Karjala. 29.03.64. S. 1).

Maan keinokiertoisten startteja (Neuvosto-Karjala. 16.08.70. S. 2).

Neuvostoliitosta lähetettiin maailman ensimmäinen Maan keinotekoinen seuralainen sputnik (Neuvosto-Karjala. 16.08.70. S. 2).

Neuvostoavaruusilmailu (Punalippu. 6/61. S. 63).

Kosmonauttiikan nykytila (Neuvosto-Karjala. 29.03.64. S. 1).

Alus oli päässyt radalleen, lavelle avaruuden valtatielle (Punalippu. 6/61. S. 68).

Kosmisen avaruuden ja ilmakehän ylimpien kerrosten tutkimus (Neuvosto-Karjala. 1963).

Lähti kosmukseen kolmas avaruusaluksistamme (Punalippu. 6/61. S. 63).

Mikä hetki hyvänsä meidät voitiin lähettää Baikonurin avaruuslentokentälle (Punalippu. 6/61. S. 68).

Miehistö on valmis starttiin. Kohta lähdetään kosmodromille (Neuvosto-Karjala. 1976).

Развитие науки и техники в этот период происходит очень быстро. *Kinopirtit* заменяются на *elokuvateatterit* или *elokuvit*, всюду возводятся *kulttuuritalot* tai – *palatsit*. В жизни сельского хозяйства появляются *valtiotilat*, *aputaloudet*, *farmit*. И человеку помогает уже не *Ekskavaattori*, а *kaivinkone*. *Rajoonit* заменяются на *piirikunnat*.

Из бытовой техники в домах появляется *televisio* или *telkkari*, *jäähdytyskaappi*, *viisariton pöytäkello*, *jossa ajan näyttää numerotaulu*, *sähkökäyttöinen mehunpuserrin*.

Televisiossa on kaksi ohjelmaa eli kanavaa. В названии передач такие примеры:

Dekkari, juniorien kansainvälinen jääkiekko-ottelu, sarjafilmi, dokumenttiefilmi, päivän kuvaruutu.

В социальной сфере происходят заметные сдвиги вперед:

Vuosina 1959–60 rakennettiin Karjalassa 389.000 neliometriä asuntoalaa (Punalippu. 6/61. S. 88).

Marraskuun 1.päivästä aletaan maksaa avustusta vähempivaraisten perheiden lapsille (Neuvosto-Karjala. 2.10.74. S. 1).

Uutta äitiysavustusten maksussa (Neuvosto-Karjala. 3.03.74. S. 2).

Päätös toimenpiteistä ... elinolopalvelujen laajentamiseksi Karjalan ASNT:ssa (Neuvosto-Karjala. 30.09.70. S. 2).

Neuvostoliiton teollisuuslaitosten yhteydessä toimii nykyään 1.800 yöparantolaa (Neuvosto-Karjala. 20.09.70. S. 1).

Ammattiliittojärjestöllä on lomakotipaikkoja aina riittävästi (Punalippu. 6/61. S. 89).

Встречавшиеся ранее аббревиатуры SSSR ja RSFSR заменились на SNTL ja VSFNT.

Интересный случай перевода названия улиц в рассказе о рабочем ЛПМК в журнале «Punalippu» (6/60):

Ajoin Solomannin viertotietä ja sitten Lokakuun katua.

Mutta sinne on pitkä matka Toukokuun 1. päivän viertotien varrella.

Однако праздник 1 мая уже называется *Vappu*.

Были и не совсем удачные словообразования:

Runsajäseninen taidemiesryhmä (Punalippu. 4/61. S. 117).

Miten valmistetaan suurprosenttista selluloosaa (Punalippu. 4/61. S. 92).

Informaatiotiedonanto (Neuvosto-Karjala. 12.01.61. S. 1).

Hänellä oli mukavuusasunto kaikkine...kulttuuriesineineen (Punalippu. 3/75. S. 56).

Monta, monta kohtaamistilaisuutta on jo ollut... (Punalippu. 6/61. S. 86).

На наш взгляд, в это время сложились весьма благоприятные условия для подъема финского языка. Все больше приоткрывалась дверь в Фин-

ляндию, и это помогло бы возобновить культурную традицию финского языка, исправить некоторые недочеты. С нашей стороны был накоплен большой пласт неологизмов, относившихся к советскому периоду, и опыт сохранения культуры языка в необычайно суровых условиях. Но, к сожалению, так не произошло. Многие носители языка, получив возможность, переехали в Финляндию, а экономический кризис страны отвлек внимание от национальных проблем. Все это привело к тому результату, который мы сейчас имеем.

¹ Алто Э. Л. Советские финноязычные журналы 1920–1980. Петрозаводск, 1989. С. 142.

² Там же. С. 139.

³ Sundelin Anu. Taistelijä, rakentaja, valistaja. Petroskoi, 2000. S. 53–56.

© А. А. Полин
Петрозаводск

Отражение постсоветских реалий в финноязычных СМИ Республики Карелия

Каждый естественный язык являет собой определенный способ восприятия и организации мира, отражает особенности каждой данной формы языкового мышления, выраженного семантической сетью понятий, характерных для данного конкретного языка¹. В данном аспекте совершенно уникальным представляется нам финский язык Республики Карелия и, в качестве его частного варианта, язык финноязычной прессы республики. Специфика СМИ заключается в том, что они вынуждены максимально быстро реагировать на малейшие изменения в общественно-политической жизни. В нашей статье мы бы хотели остановиться на языке региональной газеты «Карьялан Саномат». Вновь возникающие общественно-политические явления, подчас характерные исключительно для российской действительности, должны немедленно найти свое языковое отражение в языке газеты. Как правило, пресса Финляндии реагирует на подобные явления нашей действительности лишь спустя некоторое время, а следовательно, в процессе первичного ввода новых лексем-неологизмов этот источник не может оказать существенного влияния. Таким образом, очевидно, что постперестроечный период, оставивший глубокий след в жизни нашего общества, в нашем сознании, не мог не найти своего отражения и на уровне языка, особенно в его наиболее неогенной сфере – лексике.

Довольно широко в текстах «Карьялан Саномат» представлена группа так называемых «нестойких» неологизмов, иногда определяемых терми-

ном «окказионализмы» (лат. *occasionalis* ‘случайный’), по мнению автора, столь же неопределенным и неустойчивым, как и они сами. Крайне интересным примером подобной лексики, на наш взгляд, является слово «*debilokratia*»² («дебилократия»). Используемая в финноязычном контексте данная лексическая единица, очевидно, представляет собой результат прямого калькирования из русского языка, в котором данный термин также не является кодифицированным (например, рус. *бандократизм*). Реализована русская модель словообразования путем сложения двух корней с помощью соединительной гласной «о». Совершенно нехарактерная согласная в начале слова свидетельствует о полной «неадаптации» слова на фонетическом уровне средствами финского языка, подчеркивая его и без того очевидную чуждость. Важным показательным аспектом употребления данного неологизма является его прагматический аспект. Среди пласта новой лексики, ориентированной на выполнение прагматической функции, данное слово выделяется как оценочно-характеризующая единица. Подобные языковые единицы занимают важное место в системе прагматических средств языка, целевым назначением которых, без всякого сомнения, является воздействие на психику человека, его мысли, чувства и, в результате, регулирование его социального и индивидуального поведения. Подобная эмоциональная оценка входит в коннотативный компонент, с которым, в свою очередь, и коррелирует прагматическая отмеченность слова³.

Классические модели суффиксального словообразования⁴ представляют собой следующие слова, являющиеся некоторыми символами и своеобразным языковым отражением эпохи: *macdonaldisoituminen*⁵ ‘макдональдизация’, *länsimaistaa*⁶ ‘вестернизировать, озападничивать’, ‘*elokuulaiset-91*»⁷ (участники путча августа 1991 г.), образованные с помощью продуктивных суффиксов финского языка с соблюдением всех правил. Особенный интерес представляет слово *macdonaldisoituminen*, корнем которого является калькированное заимствование из английского языка, американизм, не соответствующий ни фонетическому, ни морфологическому строю финского языка; несмотря на этот факт, дальнейший процесс словообразования происходит в полном соответствии с финской языковой моделью.

В парадигме слова «ваучер», окончательного вошедшего в лексикон нашего населения в эпоху печально знаменитой приватизации, наиболее отчетливо прослеживается некоторая языковая неразбериха в определении одного и того же явления. Для наименования соответствующей ценной бумаги в русском языке функционировали, по крайней мере, два наименования: «приватизационный чек» и (менее официальное) «ваучер» (от англ. *voucher* – расписка, подтверждающий документ)⁸. В газе-

те «Карьялан Саномат» за этот период мы находим эквиваленты для обеих лексем: *privatisointishekki*⁹ и *voucher*¹⁰. Слово *privatisointi* образовано в соответствии с нормами и правилами финского словообразования в плане ассимиляции иноязычной лексики (ср. *to criticize – kritisoida*; *to liberalize – liberalisoida – liberalisointi*; *to privatize – privatisoida – privatisointi*). Лексема «voucher» была напрямую заимствована из английского языка без каких-либо изменений на морфологическом уровне. Однако и в этом случае, оставаясь верными принципам финского языкового пуризма, желая оставаться в рамках финской языковой словообразовательной традиции, авторы издания решили в дальнейшем передавать тот же самый смысл средствами самого финского языка: *privatisointi – yksityistäminen* ‘приватизация’; *privatisointishekki eli voucher – yksityistämishekki*¹¹.

Существуют также примеры функционирования равноправных синонимов, образованных средствами самого финского языка. Так, например, выражение *прожиточный минимум* было оформлено в языке газеты как *elinkustannusminimi*¹², а также *toimeentulominimi*¹³. В данном случае, на наш взгляд, даже будучи субъективным, трудно отдать предпочтение какому-либо из вариантов. Однако и в подобных случаях нельзя быть однозначным. Так, например, пара *pyhäkoulu*¹⁴ и *sunnuntaikoulu*¹⁵ ‘воскресная школа’ образована средствами исключительно финского языка. Однако очевидно, что вторая лексема – калька с русского языка, в то время как первая является старым финским словом. В данной ситуации не представляет труда предсказать судьбу неологизма-кальки.

Даже при поверхностном анализе отобранного материала становится очевидным, что наиболее продуктивным морфолого-семиологическим способом образования новой лексики является словосложение – когда из двух или более уже имеющих слов образуется путем их объединения новое сложное слово (напр., *asuntomarkkinat* ‘рынок квартир’, *ihmisoikeusvaltuutettu* ‘уполномоченный по правам человека’, *itsemurhaterroristi* ‘террорист-смертник’, *perhebudjetti* ‘семейный бюджет’ и др.). Своего рода рекордами по количеству корней можно считать следующие неологизмы, состоящие из четырех корневых слов: *peruskulutushyödykekori*¹⁶ ‘продовольственная корзина’ и *perustuslakituomioistuim*¹⁷ ‘конституционный суд’.

Рост лексики семиологическим путем является, на наш взгляд, очевидным доказательством реализации закона экономии языковых усилий, или закона языковой экономии. Со вступлением России в пространство рыночной экономики в стране появились относительно новые явления и

понятия, которые, по существу, новыми не являлись. Однако после 70 лет изоляции от всего мира многие вещи актуализировались в несколько иной, характерной только для новой России форме. Так, одно время крайне популярной была профессия «челнока». Русское слово образовано путем вторичной номинации. В данном случае при образовании финского эквивалента наиболее простым путем представляется элементарное калькирование. Однако на страницах газеты мы неожиданно находим использованную в качестве эквивалента финскую лексему *laukkukauppias*¹⁸ ‘коробейник’. В дореволюционной России коробейниками называли ‘торговцев, вразнос продающих галантерейные товары, мелкие вещи, необходимые в крестьянском быту’¹⁹. В XIX в. в Финляндии были широко известны карельские коробейники, которых называли *laukkukauppiaat*, или *laukkurit*. Они занимались (чаще всего нелегально) приграничной торговлей с Финляндией. Интересно, что два языка для обозначения одного и того же явления пошли разными путями. Авторы финноязычной газеты использовали уже существующее слово с близкой семантикой; другими словами, уже существующее вновь вошло в языковой оборот, актуализировав и несколько изменив первоначальное значение. Русский же язык отказался от старого слова и ввел другое, уже существующее, образовав в рамках его семантики новое значение, в основу которого лег метафорический перенос.

В постперестроечный период с некоторыми проблемами столкнулась и Российская Армия. Слово зеркало беззаконий, поработивших общественные отношения на всех уровнях, армия погрузилась во мрак «дедовщины», которая вряд ли могла уступить какому-либо общественному явлению в своей жестокости и бессмысленности. Для определения данного явления в языке республиканской прессы появился лексический эквивалент *simputus*²⁰. Слово в финском языке далеко не новое, перевод которого звучит как «(грубая) муштровка». Толковый словарь С. И. Ожегова дает следующую дефиницию лексемы: муштра – ‘суровая система воспитания, обучения (первонач. военного)’²¹. Очевидно, что подобное определение могло бы полноценно охарактеризовать уставные отношения солдат в Советской Армии. Однако то, с чем столкнулось руководство Российской Армии, никак не подпадает под данное определение. Дедовщина – ‘в армии: неравноправное и оскорбительное поведение старослужащих по отношению к молодым солдатам, новобранцам’²². Даже это определение с трудом вмещает ту жестокость и беспринципность, с которой реализуются так называемые неуставные отношения в современной Российской Армии. Следовательно, из сказанного мы можем сделать лишь два вывода. С одной стороны, лексема *simputus* могла быть использована намеренно, из лояльности к власти,

что позволило авторам быть в большей мере сдержанными и корректными в эмоциональной и социальной оценке данного явления. В этом случае данная лексема не получила дополнительного значения, а была употреблена в старом, актуализированном. С другой стороны, мы имеем дело с семантическим дериватом, когда уже имеющееся в употреблении слово приобрело новое значение, о котором говорилось выше. В финском языке Финляндии нет прямого аналога данного слова, так как нет и аналога самого понятия. В этом смысле примечательно и показательно, что исконно финское слово употребляется для обозначения исключительно русского явления, обретая новую семантику, которую оно никогда не получило бы в финском языке. Это финская лексема с семантикой, относящейся к русской картине мира.

Фундаментальные геополитические преобразования, связанные с развалом советского государства, привели к тому, что в лексиконе сначала политиков, а затем и простых граждан появились два абсолютно новых термина, характерных только для русского языка в конкретном историческом контексте: «страны ближнего и дальнего зарубежья». Благодаря уже имеющимся моделям финского словообразования редакторам газеты не составило труда ввести новые термины и в состав финского языка Карелии: *lähiulkomaat* и *kaukoulkomaat*²³ (ср. *lähikylä* ‘ближняя (соседняя) деревня’, *lähikatu* ‘ближняя (соседняя) улица’, *lähimailla* ‘вблизи, неподалеку’; *kaukojuna* ‘поезд дальнего следования’, *kaukojohto* ‘линия дальней связи’, *kaukomaat* ‘далекая страна’). Однако введением только этих лексем решение круга проблем, связанных с новым геополитическим контекстом, не ограничивалось. Как, например, быть с теми русскими, которые всю жизнь проживали на территории Советского Союза и в одно мгновение оказались русскими, живущими за пределами России? Несмотря на то что на уровне русского языка это явление не нашло своего прямого отражения, на страницах финноязычной газеты мы находим слово *ulkovenäläinen*²⁴, которое образовано по типу слова *ulkosuomalainen* (финн, проживающий за пределами исторической Родины).

Таким образом, из рассмотренных примеров видно, что рост лексики происходит как морфолого-семиологическим (безусловное преимущество словосложения), так и семиологическим путем. Наряду с искусственным созданием лексем, когда для уже существующего понятия вводят новое слово, довольно ощутимы и тенденции спонтанного процесса заимствования. Даже при поверхностном анализе материала становится очевидным, что при образовании новой лексики довольно существенно влияние как русского языка, так и финского языка Финляндии, что подтверждает специфику языка газеты. Беря во внимание этот факт, нельзя, однако, не

заметить, что, спустя некоторое время, предпочтение отдается варианту, процесс образования которого максимально остается в традиции классического финского словообразования.

-
- ¹ Леви-Строс К. Структурная антропология. В. В. Иванов. М., 2001. С. 308–313.
² Karjalan Sanomat. 1992. 24. helmikuuta.
³ Азнаурова Э. С. Прагматика художественного слова. Ташкент, 1988. С. 17; Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. С. 18–19.
⁴ Iso suomen kielioppi / Päätoim. A. Hakulinen SKST, 950. Helsinki, 2004. S. 179–188 (далее – ISK).
⁵ Karjalan Sanomat. 1994. 3. joulukuuta.
⁶ Karjalan Sanomat. 1993. 12. kesäkuuta.
⁷ Karjalan Sanomat. 1993. 21. lokakuuta.
⁸ Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения. СПб, 1998 (далее – ТСРЯ).
⁹ Karjalan Sanomat. 1992. 26. elokuuta.
¹⁰ Karjalan Sanomat. 1992. 12. marraskuuta.
¹¹ Karjalan Sanomat. 1994. 15. helmikuuta.
¹² Karjalan Sanomat. 1992. 25. elokuuta.
¹³ Karjalan Sanomat. 1995. 4. helmikuuta.
¹⁴ Karjalan Sanomat. 1992. 10. lokakuuta.
¹⁵ Karjalan Sanomat. 1993. 14. lokakuuta.
¹⁶ Karjalan Sanomat. 1995. 4. helmikuuta.
¹⁷ Karjalan Sanomat. 1995. 8. huhtikuuta.
¹⁸ Karjalan Sanomat. 1994. 28. huhtikuuta.
¹⁹ Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 1990.
²⁰ Karjalan Sanomat. 1994. 2. kesäkuuta.
²¹ Ожегов С. И. Указ. соч.
²² Там же.
²³ Karjalan Sanomat. 1994. 26. heinäkuuta.
²⁴ Karjalan Sanomat. 1994. 16. elokuuta.

© О. Ю. Жукова
Петрозаводск

Образ дома в вепских обрядовых плачах

Как известно, свадебные и похоронные причитания – часть «переходных» ритуалов, связанных с изменением статуса индивида¹. Девушка-невеста навсегда уходит из девичества в замужнюю жизнь. Умерший человек уходит к своим предкам, в другой мир.

Семантической сущностью обрядов является само перемещение. Мотив ухода, расставания постоянно присутствует в причитаниях. К покойному обращаются:

muga aigalaz sinä kerazitoi i kogozitoi – «так рано ты собрался»,
nügüde sindei kaimdamei – «теперь тебя провожаем»,

lähted sinä verhale vilule randaizele – «уходишь ты на чужой холодный бережок» или *edaheizele vilule randaizele* – «на дальний холодный бережок».

Под этим иносказательным именованием места перемещения (характерного и свадебным, и похоронным плачам) подразумевается «отдаленное пространство». В фольклорной традиции «неизвестное», «чужое» всегда «дальнее». Наблюдается разделение сфер своего и чужого.

Дом является одним из символов той жизни, которую человек покидает.

В плачах его именуют *korged kodine* – «высокий дом» (устойчивое сочетание с постоянным эпитетом). Для языка вепских причитаний характерны устоявшиеся словесные формулы (атрибутивные сочетания), складывающиеся с учетом традиционных способов каждый раз в новое произведение.

Мать невесты причитывает:

*Libed linduizem,
säditei i sobitei
Kalhize sobeižihe,
Čomihe sadoizihe,
Jälgmeižen coman da ehtkoizen-se
Ičein korttas da kodizes-se...*²

Милая моя пташечка,
Нарядилась и оделась
В дорогие одежды,
В красивые наряды,
В последний хороший вечерок
В своем высоком доме...

В свадебных причитаниях добавляют *roditel'ski korged kodine*.

Поэтизируя родительский дом, его именуют русскоязычными заимствованиями в сочетании с тем же прилагательным *korged*:

korktad horominaized – «высокие хоромы»,
korged gornicaine – «высокая горница».

Метафорическая замена термина дом: *läm pezaine* – «теплое гнездышко», соотносится с метафорической заменой термина невеста: *libed linduine* – «милая пташечка».

*...manen ičēn laskvan mamkon
lamas pezāžes...*³

...ухожу из теплого гнездышка
своей ласковой матушки...

Также говоря о доме, используют сочетание *čoma cogaine* – «красивый, хороший уголок». Здесь может подразумеваться передний «красный» угол как образ всего дома.

*Kut minä kaicelin (minun vouktan
voudeižen)
Kalhen kazvattajaizen korttas kodizes
I kalhen kandjoihuden comas co-
gaizes*⁴.

Как я оберегала (мою белую волюшку)
в высоком доме дорогого вырос-
тившего
и в красном углу дорогой выно-
сившей.

В причети рисуется идеальный, правильный, дом. Части дома и предметы интерьера характеризуются изобразительными или выразительными (эмоционально-положительными) эпитетами.

Важный предмет в интерьере дома – стол. В плачах *dubovijad stolaized* – «дубовые столы». Это устойчивое сочетание заимствовано из русского фольклора, где широко распространено и имеет значение «правильности», «добротности». Данный изобразительный эпитет встречается и в именовании других частей дома:

dubovijad pordhaized – «дубовые крылечки»,

dubovijad verežed – «дубовые двери»,

dubovi lavaine – «дубовый пол».

Окно называют *izo iknaine* – «милое окошечко». Постоянный эпитет *izo* имеет явно выразительный характер и необходим для соблюдения аллитерации в сочетании, свойственной языку вепского фольклора.

Окно – часть правильного дома, «по отсутствию окна дом живого человека противопоставляется гробу как посмертному жилищу»⁵.

Tegiba sinii kodizen,
*Da ii tehtud izod iknašt...*⁶

Сделали тебе домик,
Да не сделали милого окошка...

Ele iknaižid i ele uksuzid,
*Mugomha panemei da kodizhe...*⁷

Нет окошек и нет дверей,
В такой кладем тебя домик...

Окно – «нерегламентированный вход в дом, через него осуществляется связь с внешним миром»⁸. Душа умершего в образе птицы возвращается к окну дома.

Kändouteške sinä libedaks linduizeks,
Isteske sinä minun izoho iknaižehe-
*se...*⁹

Обернись милой пташечкой,
Сядь ты на мое милое окошечко...

Одним из наиболее почитаемых предметов в интерьере дома была печь. Она выражает оппозицию «жизнь – смерть» в проявлении «теплый – холодный». Поэтому характеризует печь ее главное свойство: *lām päčine* – «теплая печечка».

«Печь рассматривалась как „жилище“ домашнего огня, поэтому в народных представлениях на нее переносились черты и свойства, приписываемые этой стихии»¹⁰.

У вепсов существует обычай касаться руками печи после возвращения с кладбища в день похорон. Толкования существуют разные, но все сводится к избавлению, очищению от нехороших последствий¹¹. Защитная символика огня через предметы, связанные с процессами протапливания печи, применялась во многих обрядах у мно-

гих народов¹². Так, в одном из описаний вепсской свадьбы говорится: «невесту ведут в баню преимущественно ее подруги с песнями, звеня сковородами и заслонками»¹³. Также при выносе покойника: как только поднимали гроб, на его место бросали кочергу, действие имело оберегательную функцию¹⁴.

Дом – это место обитания домашних духов. Дом и сам порой представляется живым организмом: когда в дом пришла беда, смерть:

pimizuiba izod ikneized – «потемнели милые окошки». Сопереживает он и чувствам невесты:

Entä mikš tanambei

Likutas i lambutas,

*Nene lavalahkoized roditel'skijad...*¹⁵

Не знаю, почему сегодня

Двигаются и прогибаются,

Эти половицы родительские...

Таким образом, «правильный» дом, в котором *dubovijad stolaized* – «дубовые столы», *izod iknaižed* – «милые окошки», *tazo lavaine* – «ровный пол», *läm räčine* – «теплая печь», имеет функцию защиты от нехорошего влияния другого, чужого мира.

Уходя в другой мир, человек прощается с домом и со всей прошлой жизнью:

Prostiske izoiš ikneizispei,

Lamas päčizespei,

Dubovijois vereizispei,

*Da comas cogaizespei...*¹⁶

Прощайся с милыми окошечками,

С теплой печечкой,

С дубовыми дверцами,

Да с красивым уголком...

¹ Невская Л. Г. Балто-славянское причитание (реконструкция семантической структуры). М., 1993. С. 56.

² Язык и народ (Тексты и комментарии). СПб, 2002. С. 60.

³ Образцы вепсской речи / Сост. М. И. Зайцева, М. И. Муллонен. Л., 1969. С. 256.

⁴ Там же. С. 103.

⁵ Невская Л. Г. Указ. соч. С. 77.

⁶ Полевые материалы автора.

⁷ Фонотека Петрозаводской консерватории. Ед. хр. 313/8005.

⁸ Невская Л. Г. Указ. соч. С. 77.

⁹ Полевые материалы автора.

¹⁰ Винокурова И. Ю. Огонь в мифологии вепсов // Вепсы. Петрозаводск, 1999. С. 161.

¹¹ Строгальщикова З. И. Погребальная обрядность вепсов // Этнокультурные процессы в Карелии. Петрозаводск, 1986. С. 78.

¹² Логинов К. К. Интерьер крестьянской избы в обрядности и верованиях заонежан // Заонежский сборник. Петрозаводск, 1992.

¹³ С-ов П. «Оятские лапти» («Картина с натуры») // Олонекский сб. Петрозаводск, 1894. Вып. 3. С. 400.

¹⁴ Строгальщикова З. И. Указ. соч. С. 72.

¹⁵ Полевые материалы автора.

¹⁶ Полевые материалы автора.

Семантическая классификация обобщительно-определятельных местоимений*

Обобщительно-определятельные местоимения – это особый разряд местоименных слов карельского языка, выделяемый не всеми исследователями-языковедами.

Так, А. Генетц¹, Е. В. Ахтия², Г. Н. Макаров³, П. М. Зайков⁴ объединяют в один разряд как неопределенные, так и обобщительно-определятельные местоимения.

Между тем В. Д. Рягоев⁵ и Л. Ф. Маркианова⁶ выявляют в карельском языке как неопределенные, так и определятельные местоимения. Главное отличие между указанными группами местоимений В. Д. Рягоев видит в их функциях: «функция определятельных местоимений заключается в выделении определенного, ограниченного числа предметов из неопределенного множества: *jogahin'e tuo omalla ris't äellä sorokan 'каждая (невеста) приносит своей крестной сороку (женский головной убор замужней женщины)'*; *muduannet hüivät talot lahjottii 'некоторые хорошие дома дарили'*⁷, в то время как неопределенные местоимения указывают на неопределенные, невыясненные предмет, лицо, место и т. д.: *ket to hänel'l'ä avutetaa 'кто-то ему помогает'*; *jo varuš/šat mü't'üt't'ä n'ibui't' ruumenda 'уже и приготовишь какой-нибудь мякны'*.

Приведем еще два мнения, высказанные в связи с определением сущности обобщительно-определятельных местоимений. Так, В. И. Лыткин считает, что обобщительно-определятельные местоимения выделяются в особый разряд как слова, являющиеся обобщенно-качественными определителями⁸. В то же время М. А. Шелякин подчеркивает, что обобщительно-определятельные местоимения указывают на отдельный предмет, который говорящий объединяет с другими предметами по широким, категориальным, а не качественным признакам. Он считает, что значение обобщительно-определятельных местоимений обладает, с одной стороны, элементом обобщенной указательности, а с другой стороны, элементом качественной неконкретизированности предмета⁹.

Выделение в отдельные группы неопределенных и обобщительно-определятельных местоимений представляется нам вполне логичным. Все неопределенные местоимения указывают на предметы, лица, место, вре-

* Статья подготовлена к публикации на средства Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 04-04-00276а.

мя, которые для говорящего не обладают конкретной, индивидуальной определенностью. Специфика обобщительно-определятельных местоимений состоит в том, что они указывают на отдельный предмет (или предметы), который (которые) говорящий объединяет с другими предметами по широким, категориальным признакам.

Семантика обобщительно-определятельных местоимений довольно разнообразна и многогранна. Одни из них обозначают парные предметы (*molommat* 'оба', *kumpiki* 'оба, и тот, и другой'), другие – идентичность (*sama* 'тот же самый'), третьи – совокупность предметов (*kaikki* 'все') и т. д.

В карельском языке выявляются следующие семантические группы обобщительно-определятельных местоимений:

1. Консессивные. Местоимения данной группы имеют уступительное значение и не содержат окончательного выбора, более того, говорящему безразличен результат выбора. Эту группу составляют:

а) образованные от вопросительных при помощи частиц *hot, hod, hos, hoz* 'хоть', заимствованных из русского языка (выявляются во всех наречиях): *hot* (*hod*), *hoz, hos, hoš*) *mi* 'хоть что, что угодно, какой угодно, хоть сколько, сколько угодно'; *hoš, hot ken* 'хоть кто, кто угодно'; *hoš, hot* *kumpani, kudai* 'хоть который, который угодно'; *hod* (*hot*) *hos* *mitiüš, mittuine, mitus, mitte* 'хоть какой, какой угодно':

собств.-кар. Вокнаволок: *šiuu ois pitän hoš kumpaseh šituo heponi* (КНС, 1963, 375) 'тебе нужно было к которому угодно (дереву) привязать лошадь'; ливв. Коткозеро: *rua hod midä, ei nimidä sanota* 'делай что угодно, ничего не скажут'; люд. Мунозеро: *hebo hüpnii aidas hot mit't'es* (LS, 1944, 75) 'лошадь перепрыгнет через какой угодно забор';

б) образованные от вопросительных при помощи частицы *l'uiubo* 'угодно', заимствованной из русского языка (выявляются в тверских диалектах собственно-карельского наречия): *mil'uiubo* 'что угодно, сколько угодно'; *kenl'uiubo* 'кто угодно':

собств.-кар. тверск.: *Nasto kun luvettelou, abeuttau kenen l'uiubo* (СКЯ, 1994, 9) 'Настя, когда причитывает, кого угодно до слез доведет';

в) образованные от вопросительных при помощи аффиксальной частицы глагольного происхождения *tahto* 'угодно' (выявляются в ливвиковском и людиковском наречиях): *kentaht* 'кто угодно', *mittuinetahto, mit-tetahto* 'какой угодно':

ливв. Тулмозеро: *olgah miittuine tahto* (ККН, 1934, 30) 'пусть будет какой угодно'; люд. Мунозеро: *muid nimiid ota mitte tahto vai Van'kad elä ota* (LS, 1944, 266) 'другими именами назови какими угодно, только Ванькой не назови'; *ole ken taht, vedä iäre* (LS, 1944, 165) 'будь кем угодно, отвези обратно'.

Примыкая к глаголу в форме императива, местоимение с частицей *tahto* чаще всего является обобщительно-определятельным, поскольку именно в этом случае данная частица выступает в значении 'угодно' и, следовательно, образует обобщительно-определятельное местоимение, а не семантически близкое к нему неопределенное местоимение с омонимичной частицей со значением '-нибудь': ср. неопр. *sie kentahto on 'там кто-то есть'* и обобщ.-опр. *olgah sie kentahto 'пусть там будет кто угодно'*. Таким образом, неопределенная или обобщительно-определятельная семантика местоимений с частицей *tahto* обусловлена синтаксически;

г) образованные от вопросительных при помощи слова *vaikka* 'хоть' (выявляются в собственно-карельском наречии): *vaikka mityš 'хоть какой, какой угодно'*:

собств.-кар. Оуланга: *Markke-rukka še kuto meän kyläššä vaikka mityttü löityö* (KKS, 1983, 327) 'Маркке этот плел в нашей деревне **какую** **угодно** берестяную обувь'.

2. Тотальные, обозначающие в той или иной мере определенный предмет, количество, обстоятельство:

а) образованные от вопросительных при помощи аффиксальных частиц *-ki*, *-gi* и выступающие в значении 'каждый, оба' (*kuki, kudaigi*) или 'всякий, разный' (*mittuinegi, miitusgi*) (выявляются во всех наречиях карельского языка):

собств.-кар. Панозеро: *käyköä kuki milma muistelomah miun hauvan peällä* (ККО, 1907, 6) '**каждый** приходите на мою могилу вспоминать меня'; ливв. Сямозеро: *kudaigi suadih hyväšti dengoa* (KKS, 1974, 477) '**оба (каждый)** получили достаточно денег'; люд. Святозеро: *pajatettih kous miituttegä rajot* (ФСЛР, 1975, 216) 'пели когда **какие (=какие угодно, разные)** песни';

б) *joka* (в северных диалектах собственно-карельского наречия), *joga* (в южных диалектах собственно-карельского наречия и в ливвиковском наречии), *d'oga* (в видлицком и ведлозерском говорах ливвиковского наречия и в людиковском наречии), *jogo* (в тверских диалектах собственно-карельского наречия) и образованные от них при помощи именного словообразовательного суффикса *jokahini, jogahi(i)ne, d'ogahine* 'каждый'.

Семантическая особенность местоимений *joga, jogahine* заключается в том, что они указывают на отдельные элементы (предметы), из которых состоит какое-нибудь множество, и которые однородны по отношению к свойствам всего данного множества: сочетание *jogahine ristikanzu* 'каждый человек' означает, что отдельный человек является одним из подобных людей, из которых состоит все множество. Таким образом, употребляя данные местоимения, мы выделяем отдельный предмет из ряда по-

добных, целого множества предметов и тем самым распространяем наши высказывания на все множество:

собств.-кар. Вокнаволок: *se oli joka päivä sreäppimini* (KKS, 1968, 504) '**каждый** день была стряпня'; Тунгуда: *jogahizella oli moata* (KKS, 1968, 505) '**у каждого** была земля'; ливв. Тулмозеро: *joga langaine erikseh* (KKN, 1934, 28) '**каждая** ниточка отдельно'; Видлица: *d'ogahiine otti min sai* (KKS, 1968, 505) '**каждый** взял столько (рыбы), сколько сам поймал'; люд. Галезеро: *d'oga kohtas* (LL, 1967, 91) '**в каждом** месте'; Мунозеро: *d'ogahizel on mozgut piäs* (LS, 1944, 35) '**у каждого** есть голова на плечах'.

Для усиления значения к местоимению *joka* (*joga*) иногда присоединяется прилагательное *ainavo* (*ainavoine*, *ainut*, *ainuo*), обозначающее 'один, единственный':

собств.-кар. Ухта: *jok ainuot suutkat varsan suau* (KKN, 1936, 144) '**каждые** сутки рождает жеребенка'; ливв. Видлица: *d'ogainavon on tuldan kerähdöh* (KKS, 1968, 504) '**каждому** надо прийти на собрание';

в) *kaikki, kai* 'все, всё', *kaikin* 'все'; *koko, kogo* 'весь'.

Местоимения *kai, kaikki* 'все, всё', *kaikin* 'все' указывают на целостный класс предметов, состоящих из однородных или разнородных предметов и любой по объему. Таким образом, эти местоимения имеют собирательное значение, указывая на совокупность явлений или полноту охвата чего-либо.

Местоимение *kaikin* 'все' используется, когда речь идет о группе людей:

kaikki (собств.-кар.), *kai* (ливв., люд.), 'все, всё, весь', *kaikin* (ливв., люд.) 'все':

собств.-кар. Паданы: *kai jo mändih* (KKN, 1936, 40) '**все** уже ушли'; ливв. Коткозеро: *kai ruavot sudrei mendih* (ОКР, 1969, 149) '**все** работы были напрасные'; люд. Святозеро: *pagettih kaikin iäre* (ФСЛР, 1975, 209) '**убежали все** прочь'.

Местоимение *koko* (*kogo*) имеет значение 'весь, целый'. В людиковском наречии местоимение такого типа отсутствует;

koko (сев. собств.-кар.), *kogo* (южн. и тверск. собств.-кар.; ливв.):

собств.-кар. Ругозеро: *söi kogo leivän* (KKS, 1974, 287) '**съел весь** хлеб'; ливв. Рыпушкалицы: *kogo rovus ei olluh mostu* (KKS, 1974, 287) '**во всей** семье не было такого (как он)';

г) *molommat, molomma, molemmat, mollembat, molotit, molletit, mollei, molen* 'оба'. Семантика этих местоимений близка семантике числительных: *оба*=два; *molommat, molemmat* (собств.-кар.), *molomma* (падан.), *molemmat* (тверск.), *mollembat* (ливв.), *molemba, molembad* (люд.):

собств.-кар. Контокки: *vei molommat laivat* (KKS, 1974, 342) '**угнал оба** корабля'; ливв. Рыпушкалицы: *tulou mollembat vellet čoarín luo* (KKN,

1934, 12) 'приходят **оба** брата к царю'; люд. Галезеро: *molebad oldih Iivanad* (LL, 1967, 89) '**оба** были Иваны';

mol(l)otit, molletit (ливв., люд.), *mollotiin* (люд.):

ливв. Ведлозеро: *molletit* суоу (КНС, 1967, 241) '**обоих** съест'; люд. Святозеро: *molloitit sizäret vahnembe i nuorembe* (ФСЛР, 1975, 235) '**обе** сестры – старшая и младшая';

molen, molommin (собств.-кар.), *molemmin* (тверск.), *mollei* (ливв., люд.), *mollembin* (люд.):

собств.-кар. Реболы: *ruvettih moata molen* (KKN, 1932, 59) '**легли спать оба**'; ливв. Ведлозеро: *toatto da moato kuollah mollei* (KKN, 1934, 35) '**мать и отец оба** умирают'; люд. Мунозеро: *rubettih mollei itkemäh* (LS, 1944, 242) '**оба** начали плакать'.

3. Противопоставительные: *toini, toine, miu* 'другой', *üksi...toine* 'один...другой':

toini (собств.-кар.), *toine* (ливв., люд.):

собств.-кар. Поросозеро: *muzikka pisti toizen muzikan veičellä* (LL, 1967, 31) '**музик пырнул другого** мужика ножом'; ливв. Коткозеро: *lastu jätetäh toizeh taloih* (ОКР, 1969, 158) '**ребенка оставляют в другом** доме'; люд. Святозеро: *lähtöu toizeh gosudarstvah* (ФСЛР, 1975, 230) '**отправляется в другое** государство'.

«Парное» местоимение карельского языка *üksi...toine*, реже *toine...toine* (только в северных диалектах собственно-карельского наречия) в значении 'один...другой' имеет более четко выраженное противопоставительное значение, чем выступающее единожды (в коми-пермяцком языке подобное местоимение В. И. Лыткин относит к разряду противопоставительных):

собств.-кар. Паданы: *üksi poiga varraštaiu toizelda hebozen* (KKN, 1936, 44) '**один** парень крадет у **другого** лошадь'; ливв. Ведлозеро: *yhtel piutui pravoslavnoidu vieruo miuoi, a toizel piutui Syväinteröin akan tytär* (КНС, 1967, 141) '**одному** попалась жена православной веры, а **другому** – дочка Сюоятар'; люд. *šhted on kuivad lodmad, toized on vezilodmad* (LS, 1944, 209) '**одни** низины сухие, **другие** – сырые':

собств.-кар. Поросозеро: *muut jo on mäny* (KKN, 1936, 30) '**другие** уже ушли'; ливв. Рыпушкалицы: *annetah lehmän peä, miuudu lihua ei anneta* (КНС, 1967, 282) '**дают** коровью голову, **другого** мяса не дают'; люд. Святозеро: *a muid ei olnu* (ОЛР, 1978, 72) '**а других** не было'.

4. Обозначающие схожесть или идентичность: *sama, samani, samaine*, 'такой же, тот же самый'. Для усиления утверждения к местоименному слову *samaine* (реже к *sama*) довольно часто примыкает местоимение *se* 'тот', иногда *üksi* 'один':

собств.-кар. Ухта: *se samani musikka tuli vastah 'тот же самый мужик пришел навстречу'*; ливв. Ведлозеро: *riiutui sih samah linnah, kudamah pidi mennä* (КНС, 1967, 179) '*попал в тот самый город, в который ему было нужно*'; люд. Мунозеро: *sen päivän saman tuli 'в тот самый пришел'*.

Иногда в значении '*такой же, тот же самый*' выступает местоимение *uksī* '*один, некто*', что, вероятно, объясняется семантикой числительного *uksī* '*один*': собств.-кар. Ухта: *en ole opastun yhessä koht olomah* (ККН, 1936, 142) '*я не привык находиться в одном и том же месте*'.

¹ Genetz A. Tutkimus Venäjän karjalan kielestä. Helsinki, 1880. S. 206; Genetz A. Tutkimus Aunuksen kielestä. Helsinki, 1883–84. S. 159.

² Ahtia E. V. Karjalan kielioppi. Äänne- ja sanaoppi. Suojärvi, 1936. S. 70–72.

³ Макаров Г. Н. Карельский язык // Языки народов СССР: Финно-угорские и самодийские языки. М., 1966. С. 69.

⁴ Зайков П. М. Грамматика карельского языка. Петрозаводск, 1999. С. 61–62.

⁵ Рягоев В. Д. Тихвинский говор карельского языка. Л., 1977. С. 102–110.

⁶ Markianova L. Livvin murdehen morfolougii. Petroskoi, 1993. S. 76.

⁷ Рягоев В. Д. Указ. соч. С. 108–109.

⁸ Коми-пермяцкий язык. Кудымкар, 1962. С. 243.

⁹ Шелякин М. А. Русские местоимения. Тарту, 1986. С. 82.

Литература

Карельские народные сказки / Изд. подгот. У. С. Конкка. Л., 1963 (далее – КНС, 1963).

Карельские народные сказки / Изд. подгот. У. С. Конкка и А. С. Тупицина. Л., 1967 (далее – КНС, 1967).

Образцы карельской речи / Сост. В. Д. Рягоев, Г. Н. Макаров. Л., 1969 (далее – ОКР).

Образцы людиковской речи / Сост. А. П. Баранцев. Петрозаводск, 1978 (далее – ОЛР).

Баранцев А. П. Фонологические средства людиковской речи. Л., 1975 (далее – ФСЛР).

Karjalan kieltä ja kansankulttuuria. Julkaisseet H. ja P. Virtaranta. Helsinki, 1990 (далее – ККК).

Karjalan kielen näytteitä. Julkaisut E. Leskinen. Helsinki, 1932, 1934, 1936 (далее – ККН).

Ojansuu H. Karjalan kielen opas. Kielennäytteitä, sanakirja ja äänneopillisia esimerkkejä. Helsinki, 1907 (далее – ККО).

Karjalan kielen sanakirja. Päätoimittaja P. Virtaranta. SUS. Helsinki (далее – ККС).

Lähisukukielten lukemisto. Toimittanut P. Virtaranta. Helsinki, 1967 (далее – LL).

Lähisukukielet. Näytteitä uralilaisista kielistä 3. Toimittaneet P. Virtaranta ja S. Suhonen. Helsinki, 1978 (далее – LS).

Suojanen M. Indefiniittipronominien teoriaa. Lisensiaattityö. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos. 1971.

Suojanen M. Mikael Agrikolan teosten indefiniittipronomit: totalitiivit. Helsinki, 1977.

Прибалтийско-финские послелогои на ливвиковско-карельской почве

Наряду с падежами в финно-угорских языках всегда использовались послелогои, которые дополняли падежную систему, выражая локальные или грамматические связи. Послелогои встречаются в большом количестве во всех финно-угорских языках, даже в тех, которые имеют многообразную падежную систему. Иными словами, системы падежей и послелогов не находятся по отношению друг к другу в комплиментарном отношении, а, скорее, наоборот.

Послелогои в финно-угорских языках образуются чаще всего из существительных, реже – от глаголов. Л. Хакулинен также считает, что «...послелогои и предлоги по происхождению представляют собой в финском языке формы, входившие в прежние или современные именные или глагольные парадигмы...»¹ Поэтому послелогои, хотя и классифицируются как неизменяемый класс слов, на практике в финно-угорских языках обладают формами некоторых падежей, а послелогои, указывающие на место, часто имеют ряд локальных падежей, которые относительно карельского языка (ливвиковское наречие) выделены, например, и в работе Л. Маркиановой² (например, кар. *al*, *alpäi*, *alle*, *alači* и т. д.). Естественно, они не могут иметь полной падежной парадигмы. Частичная падежная флексия подтверждает идею о субстантивном происхождении послелогов.

Самыми первичными считаются те послелогои, которые выражают основополагающие связи (например, кар. *edeh* ‘перед’, *tuakse* ‘позади’, *piäl* ‘на’, *al* ‘под, внизу’, *rinnal* ‘рядом, около’ и т. д.). Предполагается, что они восходят к существительным, обозначающим части тела человека, например, *piäl* ‘над’ (ср. кар. *piä* ‘голова’), *rinnal* ‘рядом, около’ (ср. кар. *rindu*, *rinta* ‘грудь’), *koival* ‘около’ (ср. кар. *korvu* ‘ухо’) и т. д. Тем не менее высказывается мысль и о том, что древнейшие слова с местным значением в финно-угорских языках не восходят к названиям частей тела, а их первоначальный смысл был абстрагирован, обозначая лишь некое пространство, например, *ala* < **alak*³ ‘нижняя часть, находящийся внизу, нижний и т. д.’, *taka* < **taçak(-)*⁴ ‘задняя часть, находящийся внизу, задний’ и т. д.⁵

Что касается послелогов карельского языка, то их развитие проходило в двух направлениях: 1) они сохранились в качестве послелогов, соответствия которым имеются и в других родственных языках (*al* ‘под’, *piäl* ‘над’, *tagua* ‘за’, *sijal* ‘вместо’, *vastah* ‘против, навстречу’, *ümbäri* ‘вокруг’ и т. д.); 2) некоторые из них вошли в границы слова, превратившись в

часть падежного окончания (*minu-nke* ‘со мной’, *mečä-späi* ‘из леса’, *lattie-lpäi* ‘с пола’, *üö-ssäh* ‘до ночи’, *mičoi-lluo* ‘к жене’ и т. д.). Сами послелого достаточно активно упоотребляются при уточнении и дополнении значений синтаксических конструкций. Послелого карельского языка (ливвиковское наречие) можно разделить на четыре главные группы, внутри которых они наиболее употребительны:

1. Послелого, ориентированные в пространстве: **al (ual)**, например, *A toine stola on varustettu, erinomaine stola neččih, orren ual* (Vuoh’tarvi) ‘А другой стол, особый, уже накрыт под воронцом’⁶; *Kiven al kirguw, aitan al ambuw* (Sammatus) ‘Под камнем поскрипывает, под амбаром постреливает’⁷; *Istutetah jumaloin ual* (Vuot’arvi) ‘Усаживают (ее) под иконы’⁸; **ies (iez)**, например, *Nügöi plitoil keitetäh, enne päčin ies keitetih* (Säämäjärvi)⁹; ‘Теперь на плитах готовят, а раньше перед печью (в печи) варили’; *Koiš päčin ies da pello maltaimmo i kirjatah ruadua* (Ul’öine) ‘Дома возле печки да и на поле умели и без грамоты работать’¹⁰; *Päčin iez voibi pastoa, voibi niidü riehtiläl keitellä* (Vieljärvi)¹¹ ‘В печи (перед печью) можно печь, можно и на сковороде жарить’; **piäl**: например, *Lapsen pani polvem piäl* (Säämäjärvi)¹² ‘Ребенка положила на колено’; *Ewle se muamo, kudai lapsen suaw, on se muamo, kudai vačan piäl magaitaw* (Sammatus) ‘Не та мать, которая родила, а та, что выпестовала да грудью выкормила’¹³; **rinnal**, например, *Mejän rinnal eli, El’midjärves, elmind’ärviläin oli* (Vuoh’tarvi) ‘Рядом с нами жила в Эльмисярви, эльмисярвская была’¹⁴; *Ihan olen koin rinnal* ‘Совсем рядом с домом нахожусь’; **ümbäri**, например, *Riboitammo halmehes ümbäri i jänöi heittaw käwdäh* (Mägräd’d’arvi) ‘Разбрасаем вокруг участка, и заяц отвадится ходить (на репу)’¹⁵; *A koivuloiz ümbäri nenga otetah sidä tuohtu* (Vitele) ‘А с берез так бересту отдирают’¹⁶ и т. д.

2. Послелого, указывающие на время **aigah (aigua, aijakse)**, например, *Voinan aigah kačo se luajittih* ‘Это сделали во время войны’; *Pedrunpäin aigah otetah* ‘Во время Петрова дня берут’; **peräh (peräs)**, например, *Sit üheksän ned’älin peräs sula goih mua* (Vehkuselgü) ‘Через девять недель земля будет талая’¹⁷; *Vuvven peräs rod’ih kolhozu* ‘Через год сформировался колхоз’; **piäliči**, например, *Aijas piäliči häi nouzi* ‘Через некоторое время он поднялся’, *Häi kävüü sinne päiväs piäliči*¹⁸ ‘Он придет туда через день’ и т. д.

3. Послелого, указывающие на субъектные отношения: **kel**, например, *Mahan kel onhai akku* (Säämäjärvi)¹⁹ ‘Жена-то с животом (беременная)’; *Da kiis’el’in kel süödih* (Säämäjärvi)²⁰ ‘И с киселем ели’; *Sit tahtahan kel süödih* (Säämäjärvi)²¹ ‘Затем с тестом ели’; **tilas**, например, *Tuatan tilas kalastamah kävüü roigu*²² ‘Вместо отца рыбачить отправился сын’; *Voizitgo mennä minun tilas*²³ ‘Можешь пойти вместо меня’; **niškoi**, например, *Ostua leibiä iččeh*

niškoi ‘Покупать хлеб для себя’; *Pagin oli sinuh niškoi* ‘Речь шла о тебе’; *näh*, например, *Meijän kolhozu oli Anuksen rajonas parahimbie žiivatoin kačondah näh* ‘Наш колхоз в Олонецком районе был из лучших по животноводству’²⁴; *Eihäi ilmai sanottu moižih näh* ‘Не зря ведь про таких говаривали’²⁵ и т. д.

4. Послелогои, указывающие на причинно-следственную связь, например, *täh*, *Emmogo nähnüh nimidä sen täh* ‘Из-за этого ничего не видели’; *Emmo lähte pühapäivän täh* ‘Не поехали в воскресенье’; *valdua Vázündän valdua brihačču uinoi hedi*²⁶ ‘Мальчик уснул быстро из-за того, что устал’, *sijas* *uksen sijas* ‘вместо двери’; *Uksi oli luajittu gorničan ikkunan sijah* ‘Дверь была сделана вместо окна горницы’ и т. д.

Исследователи полагают, что класс послелогов в финно-угорских языках открыт. Об этом свидетельствует тот факт, что в языках появляются послелогои, которые не имеют соответствий в родственных языках, то есть эти послелогои – результат самостоятельного развития языков и диалектов. Карельский язык не исключение. В нем, как и в других родственных языках, отдельные падежные формы имен существительных, теряя знаменательное значение, постепенно переходят в класс послелогов (*aigua*, *niškoi*, *tilas*, *valdua*, *jütüö* и т. д.) и таким образом пополняют его.

¹ Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка. Ч. I. М., 1953. С. 69.

² Markianova L. Karjalan kielioppi. Petroskoi, 2002. S. 186–187 (далее – Markianova).

³ Suomen sanojen alkuperä. SKS. Helsinki, 1995–2001, osa I. S. 66 (далее – SSA).

⁴ SSA, osa III. S. 257.

⁵ Saarinen S. Die Nominalkategorie und das Postpositionssystem der Wolgasprachen // Congressus Decimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Pars I. Joshkar-Ola, 2005. S. 161–172.

⁶ Рягов В., Макаров Г. Образцы карельской речи (говоры ливвиковского диалекта карельского языка). Л., 1969. С. 230 (далее – Рягов).

⁷ Там же. С. 64.

⁸ Там же. С. 226.

⁹ Näytteitä karjalan kielestä; Joensuu-Petrozavodsk, 1994. S. 280 (далее – NKK).

¹⁰ Рягов. С. 105.

¹¹ NKK. S. 286.

¹² Ibid. S. 273.

¹³ Рягов. С. 68.

¹⁴ Там же. С. 245.

¹⁵ Там же. С. 114.

¹⁶ NKK. S. 299.

¹⁷ Рягов. С. 218.

¹⁸ Markianova. Op. cit. S. 187.

¹⁹ NKK. S. 273.

²⁰ Ibid. S. 281.

²¹ Ibid. S. 281.

²² Markianova. Op. cit. S. 187.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid. S. 106.

²⁵ Ibid. S. 82.

²⁶ Ibid. S. 187.

Отглагольные суффиксы имен существительных в диалектах карельского языка

Морфологический способ словообразования в карельском языке является продуктивным способом пополнения класса имен существительных и прилагательных.

В работах по именному словообразованию в финно-угорских языках отдельно рассматриваются две группы суффиксов: отыменные и отглагольные. Такое деление оправдано и для карельского языка. Однако есть случаи, когда один и тот же суффикс используется при образовании имен существительных как от имен, так и от глаголов. К таковым, например, можно отнести суффикс существительных *-us / -üs-*, посредством которого образуются существительные со значением качества или свойства, например, *rahus* 'зло' (< *raha* 'плохой'), *čomus* 'красота' (< *čoma* 'красивый') и существительные со значением названия или результата действия, например, *kivissys* 'боль' (< *kivisteä* 'болеть'), *niäritüs* 'поддразнивание' (< *niäritteä* 'дразнить'). Суффиксы имен существительных *-os / -ös-, -es-, -as / -äs* также могут выступать как после именных, так и глагольных основ, например, *külvös* 'посев' (< *külvö* 'посев'), *ostos* 'покупка' (< *ostua* 'покупать'), *jalas* 'полоз' (< *jalka* 'нога'), *syöttiläs* 'побирушка' (< *syötellä* 'кормить'), *kives* 'грузило' (< *kivi* 'камень'), *muanites* 'обман' (< *muanittua* 'обманывать').

Еще в прауральский период одни и те же суффиксы могли присоединяться как к глагольным, так и именным основам. Это объясняется тем, что в тот отдаленный период сами глагол и имя были еще менее четко разделены, чем в современных финно-угорских языках*.

Рассмотрим употребление и основные функции некоторых продуктивных deverбальных суффиксов существительных в диалектах карельского языка.

Суффикс *-ja / -jä-, -ju / -jü-, -i* – один из самых продуктивных, выражающих деятеля, суффиксов карельского языка. По диалектам он имеет разную фонетическую форму:

1) *-ja / -jä* выступает в говорах собственно-карельского наречия: *kaččoja* 'смотреть' (< *kaččuо* 'зритель'), *hieroja* 'массажист' (< *hieruo* 'массажист'), *mečästjä* 'охотник' (< *mečästyä* 'охотиться'), *itettäjä*

* Бубрих Д. В. Историческая морфология финского языка. М.; Л., 1955. С. 118–119.

‘плакальщица’ (< itettyä ‘заставлять плакать’), *varastaja* ‘вор’ (< varastoa ‘воровать’), *kyndäjä* ‘пахарь’ (< kyndeä ‘пахать’), *tervoaja* ‘тот, кто смолит’ (< *tervata* ‘смолить’).

2) -ju / -jü, -i выступает в ливвиковском наречии, причем к глагольным основам, заканчивающимся на дифтонг, будет присоединяться суффикс -ju / -jü: *leikkaju* ‘жнец’ (< *leikata* ‘жать хлеба’), *süöjü* ‘едок’ (< *süvvä* ‘есть’), *kezriäjü* ‘пряжа’ (< *kezrätä* ‘прясть’), тогда как с остальными основами параллельно употребляются две формы, например, *tuöndäi* ~ *tüöndäjü* ‘тот, кто отправляет’ (< *tuöndiä* ‘отправлять’), *kandai* ~ *kandaju* ‘несущий, тот, кто несет’ (< *kandua* ‘нести’), *süöttäi* ~ *süöttäjü* ‘кормилец’ (< *süöttiä* ‘кормить’), *kävelli* ~ *kävelijü* ‘идуший’ (< *kävellä* ‘ходить’), *ongittai* ~ *ongittaju* ‘рыболов-удильщик’ (< *ongittua* ‘удить’), *tagoi* ~ *tagoju* ‘кузнец’ (< *taguo* ‘ковать’).

3) -i выступает в диалектах людиковского наречия: *kožiččii* ‘жених, сватающийся’ (< *kožita* ‘свататься’), *matkadai* ‘ходок’ (< *matkata* ‘идти’), *püüdäi* ‘тот, кто ловит рыбу, птицу и пр.’ (< *püütä* ‘ловить рыбу, птицу и пр.’), *pakiččii* ‘нищий’ (< *pakita* ‘просить; побираться’), *niittäi* ‘косарь’ (< *niittää* ‘косить’), *elläi* ‘житель’ (< *el’ädä* ‘жить’).

При присоединении суффикса к основам на -e конечная гласная последней будет чередоваться с -i, например, *lukie* ‘читать’ (*luke-*) > *lukija* ‘читатель’, *kävellä* ‘ходить’ (*kävele-*) > *kävelii* ‘идуший’, *langeilla* ‘падать’ (*langeile-*) > *langeilii* ‘эпилептик, припадочный’, *kuunnella* ‘слушать’ (*kuundele-*) > *kuundelii* ‘слушатель’, *kožita* ‘сватать’ (*kožiče-*) > *kožiččii* ‘жених, сватающийся’.

Без сомнения, рассматриваемый словообразовательный аффикс является одним из самых продуктивных в карельском языке. При его помощи образуются производные почти от всех типов глагольных основ. Таким образом, суффикс независим от морфологических ограничений. Однако семантическое ограничение несколько сужает его использование. Новые слова посредством данного суффикса не образуются от безличных глаголов, к таковым, например, относятся: *hämärdüü*, *himoittai*, *kivistäü*, *säräittäü*, *haikostuttai*, *tuulou*, *vihmuu*, *kajostah*, *nukuttau*, *juotattai*, *tarviččou*, *pidäü*.

Продуктивность суффикса -ja / -jä, -ju / -jü, -i легко прослеживается и на новообразованиях, например, *uvvistai* ‘реформатор’, *ohjailii* ‘организатор’, *perustai* ‘основатель’, *omistai* ‘обладатель’, *luottai* ‘доверитель’, *ahtuaju* ‘грузчик’, *tallendai* ‘вкладчик’, *kuluttai* ‘потребитель’.

Основным словообразовательным значением рассматриваемого суффикса является выражение деятеля. Именно в этом значении он выступает и в других близкородственных языках. Приведем несколько

примеров: фин. *saaja* ‘получатель’, *myyjä* ‘продавец’, *laulaja* ‘певец’,
вепс. *astui* ‘идуший’, *omblii* ‘швея’, *pajatai* ‘певец’, *istui* ‘сидящий’, эст.
laulja ‘певец’, *andja* ‘дающий’, *kündja* ‘пахарь’, лив. *andaji* ‘дающий’,
juokšiji ‘бегун’, *salai* ‘вор, крадущий’, *kindai* ‘пахарь’.

Посредством словообразовательного аффикса -*min’i*, -*min’e*, -*mine*,
-*miine* образуются отглагольные производные со значением действия
или же результата действия. Как видно из предыдущего, данный
суффикс в диалектах карельского языка также имеет разную
фонетическую форму:

1) -*min’i* употребляется в севернокарельских, юшкозерском и
тунгудском диалектах: *oraštumin’i* ‘учеба’ (< *oraštuo* ‘учиться’), *läsimin’i*
‘болезнь’ (< *läsie* ‘болеть’), *kutomin’i* ‘вязание’ (< *kutuo* ‘вязать’),
kes’röämin’i ‘пряжение, материал для прядения’ (< *kesrätä* ‘прять’),
ampumin’i ‘стрельба’ (< *ampuo* ‘стрелять’), *šoutamin’i* ‘гребля’ (< *šoutoa*
‘грести’), *ruohtimin’i* ‘смелость’ (< *ruohtie* ‘осмеливаться’), *ammultamin’i*
‘черпание’ (< *ammultoa* ‘черпать’);

2) -*min’e* употребляется в южнокарельских, панозерском и
подуземском диалектах собственно-карельского наречия и в людиковском
наречии: *jauhomin’e* ‘помол, то, что подлежит помолу’ (< *jauhuo* ‘молоть’),
vedämin’e ‘ноша’ (< *vedeä* ‘возить’), *tagomin’e* ‘ковка’ (< *tagoa* ‘ковать’),
rygimin’e ‘кашель’ (< *rygie* ‘кашлять’), *tuomin’e* ‘гостинцы’ (< *tuoda*
‘привозить’);

3) в паданском диалекте параллельно употребляются два варианта
суффикса -*min’e* и -*mine*: *syömine* ‘еда’ (< *syvvä* ‘есть’), *keit’t’ämin’e*
‘варка; варево’ (< *keit’t’eä* ‘варить’). Как свидетельствует собранный
лингвистический материал, в северных деревнях паданского ареала
суффикс содержит палатализованный вариант *n’e*, тогда как в южных
населенных пунктах используется -*mine*;

4) суффикс -*mine* выступает в ведлозерском, сязозерском,
тулмозерском, видлицком диалектах ливвиковского наречия: *nägemine*
‘зрелище’ (< *nähtä* ‘видеть’), *nieglomine* ‘вязание, то, что вяжут’ (< *niegluo*
‘вязать’), *kalastamine* ‘лов рыбы’ (< *kalastoa* ‘рыбачить’), *andamine*
‘давание’ (< *andua* ‘давать’), *ostamine* ‘покупка’ (< *ostua* ‘покупать’);

5) суффикс -*miine* употребляется в коткозерском, рыпушкальском,
неккульском диалектах: *jawhomiine* ‘помол; то, что подлежит помолу или
уже смололи’ (< *jawhuo* ‘молоть’), *kündämiine* ‘пахота’ (< *kündiä*
‘пахать’), *kurimiine* ‘курение; курево, табак, то, что курят’ (< *kurie*
‘курить’), *puimiine* ‘молотьба; хлеб, подлежащий молотьбе’ (< *puija*
‘молотить’), *kandamiine* ‘ношение; ноша’ (< *kandua* ‘нести’), *tagomiine*
‘ковка’ (< *taguo* ‘ковать’).

Производные с рассматриваемым аффиксом образуют отглагольные имена действия, например, *magaittamine* ‘усыпление’, *lugemine* ‘чтение’, *kävelemine* ‘ходьба, хождение’, а также результат или следствие действия, например, *ostamin’i* ‘покупка’, *rügimin’e* ‘кашель’, *juomin’e* ‘питье’, *kezriämine* ‘материал для прядения’, *kandamiine* ‘ноша’, *kurimiine* ‘курево’, *tuomin’e* ‘гостинцы’.

Рассматриваемый аффикс продуктивен во всех говорах карельского языка. С его помощью образуются отглагольные производные почти от всех типов глаголов, то есть он так же, как и предыдущий суффикс, независим от морфологических ограничений и не образует новых слов от различных глаголов.

Суффикс широко известен в прибалтийско-финских языках в той же самой функции. Приведем некоторые примеры: фин. *lukeminen* ‘чтение’, *kysyminen* ‘спрашивание’, вепс. *astmine* ‘ходьба’, *kirjutamine* ‘написание’, *rügimine* ‘кашель’, *pezemine* ‘мытье’, эст. *lugemine* ‘чтение’, *küsimine* ‘спрашивание’, *sõõmine* ‘еда’, лив. *ki`zzimi* ‘опрашивание’, *pan`mi* ‘укладывание’, *jagami* ‘деление’.

Не менее уступающим по продуктивности предыдущему суффиксу является отглагольный суффикс -nta, -nda, -ndu, -nd:

1) -nta выступает в севернокарельских диалектах собственно-карельского наречия: *kapalointa* ‘пеленование’ (< *kapaloija* ‘пеленовать’), *košenta* ‘сватовство’ (< *košie* ‘свататься’), *leikintä* ‘игра’ (< *leikkie* ‘игра’), *paimennenta* ‘пастьба’ (< *paimentua* ‘пасти’), *aššunta* ‘ходьба’ (< *aštu* ‘идти’), *leikkoanta* ‘рубка; жатва’ (< *leikata* ‘рубить; жать’);

2) -nda употребляется в переходных и южнокарельских диалектах: *l’yön’d’ä* ‘битье’ (< *l’yv’v’ä* ‘бить’), *kažvanda* ‘рост’ (< *kažvoa* ‘расти’), *valanda* ‘литье’ (< *valoa* ‘лить’), *vejän’d’ä* ‘перевозка’ (< *ved’iä* ‘возить’), *ammunda* ‘стрельба’ (< *ambuoa* ‘стрелять’), *šouvanda* ‘гребля’ (< *šoudoa* ‘грести’).

3) -ndu выступает в диалектах ливвиковского наречия: *piendu* ‘носка’ (< *pidiä* ‘носить’), *kehitändü* ‘предложение’ (< *kehittä* ‘предлагать’), *varrastandu* ‘воровство’ (< *varrastua* ‘воровать’), *pakičendu* ‘прошение; просьба’ (< *pakita* ‘просить’), *jürizendü* ‘грохот’ (< *jüristä* ‘гремять, гроыхать’), *kižuandu* ‘игра’ (< *kižata* ‘играть’), *kiirehtändü* ‘спешка’ (< *kiirehtiä* ‘спешить’).

4) -nd используется в диалектах людиковского наречия: *ambund* ‘стрельба’ (< *ambuda* ‘стрелять’), *d’ürizend* ‘грохот’ (< *d’ürista* ‘гремять, гроыхать’), *eländ* ‘проживание’ (< *el’ädä* ‘жить’), *lähtend* ‘уход’ (< *l’ähtä* ‘отправляться’), *kündänd* ‘пахота’ (< *kündädä* ‘пахать’), *čakkadand* ‘ругань’ (< *čakata* ‘ругаться’), *tulend* ‘приход’ (< *tulla* ‘приходить’).

Данный суффикс независим от морфологических ограничений, он сочетается с любыми по строению глаголами, одно- (*šüöndä, lüöndü, suandu*), двух- (*uššönda, väzündü, virund*) и многосложными (*paimeenna, koiraitandu, starinoičendu*).

Основным семантическим значением рассматриваемых отглагольных производных является выражение названия действия, например, *karjunta* ‘крик, кричание’, *valanda* ‘литье’, *lebäüändä* ‘отдых’, *kyzyndä* ‘спрашиваение’, *külvändü* ‘сев’.

Параллели этому суффиксу имеются и в близкородственных прибалтийско-финских языках. Приведем примеры: фин. *etsintä* ‘поиск’, *uusinta* ‘обновление’, *harkinta* ‘обдумывание’, вепс. *tulend* ‘приход’, *astund* ‘ходьба’, *nevond* ‘совет’, *joksend* ‘бег’, эст. *kaevand* ‘результат раскопок’, *lisand* ‘добавление’. По семантике рассматриваемые отглагольные производные карельского языка не отличаются от таковых родственных языков. Можно отметить лишь то, что в карельском языке суффикс *-nta* (*-nda, -ndu, -nd*) продуктивнее, нежели в финском, где он сочетается с глаголами первого и пятого типов (за некоторыми исключениями): *toiminta* < *toimia*, *pesintä* < *pesiä*, *lääkintä* < *lääkitä*, *valinta* < *valita*.

Литература

Вяри Э. Продуктивные суффиксы имен в ливском языке // Вопросы финно-угорского языкознания. 3. М., 1965.

Зайков П. М. Грамматика карельского языка. Петрозаводск, 1999.

Майтинская К. Е. Венгерский язык. Ч. 2. Грамматическое словообразование. М., 1959.

Макаров Г. Н. Образцы карельской речи. Л., 1969.

Макаров Г. Н., Рягов В. Д. Образцы карельской речи. Л., 1963.

Образцы карельской речи / Сост. В. Д. Рягов. Л., 1980.

Основы финно-угорского языкознания. Прибалтийско-финские, саамские и мордовские языки. М., 1975.

Рягов В. Д. Тихвинский говор карельского языка. Л., 1977.

Словарь карельского языка (ливиковский диалект) / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990.

Словарь карельского языка (тверские говоры) / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994.

Genetz A. Wepsän pohjoiset etujoukot // Kieletär I:4. Helsinki, 1872.

Genetz A. Tutkimus Venäjän karjalan kielestä // Suomi II:14. Helsinki, 1880.

Genetz A. Tutkimus Anuksen kielestä // Suomi II:17. Helsinki, 1885.

Hakulinen L. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Neljäs, korjattu ja lisätty painos, Helsinki, 1979.

- Karjalan kielen sanakirja. I osa // *Lexica Societatis Fenno-Ugricae*. Helsinki, 1968.
- Karjalan kielen sanakirja. II osa // *Lexica Societatis Fenno-Ugricae*. Helsinki, 1974.
- Karjalan kielen sanakirja. III osa // *Lexica Societatis Fenno-Ugricae*. Helsinki, 1983.
- Karjalan kielen sanakirja. IV osa // *Lexica Societatis Fenno-Ugricae*. Helsinki, 1993.
- Karjalan kielen sanakirja. V osa // *Lexica Societatis Fenno-Ugricae*. Helsinki, 2004.
- Markianova L.* Livvin murdehen morfologii. Nominat da abusanat. Petroskoi, 1993.
- Markianova L.* Karjalan kielen kielioppi. Petroskoi, 2002. 5–9.
- Rintala P.* Sanajohdonproduktiivisuudesta ja sen rajoituksista // Tietolipas 93.
- Vesikansa J.* Nykysuomen oppaita 2. Johdokset. Porvoo, 1978.
- Virtaranta P.* Lyydiläisiä tekstejä. I // Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1963. № 129.
- Virtaranta P.* Lyydiläisiä tekstejä. II // Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1964. № 130.
- Virtaranta P.* Lyydiläisiä tekstejä. III // Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1964. № 131.
- Virtaranta P.* Lyydiläisiä tekstejä. IV // Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1976. № 132.
- Virtaranta P.* Haljärven lyydiläismurteen muoto-oppia // Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1986. № 190.
- Zaikov P.* Karjalan kielen kielioppi. 5–9. 2002.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Байбурин А. К.</i> Несколько замечаний о резистентности, заимствованиях и взаимовлияниях	3
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНИХ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ	
<i>Косменко М. Г.</i> Основные концепции этноса и проблемы этнической принадлежности культур бронзового века – раннего средневековья в Карелии	8
<i>Хартанович В. И.</i> Антропологический состав карельского народа (общность и специфика территориальных групп как результат межэтнического взаимодействия)	13
<i>Филатова В. Ф.</i> Этнокультурные аспекты в изучении мезолитических древностей на территории Карелии	22
<i>Кочуркина С. И.</i> Древние карелы в финляндских исследованиях	29
<i>Тарасов А. Ю.</i> Энеолитическая индустрия каменных макроорудий Карелии в ряду европейских индустрий позднего каменного века	35
<i>Лобанова Н. В.</i> Археологические исследования на Карельском берегу Белого моря (2003–2005 гг.)	43
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ»	
<i>Разумова И. А.</i> Этнокультурная ситуация на Кольском Севере: проблемы, аспекты и методы исследования	51
<i>Хейккинен К.</i> Национальность, пол, социальное положение исследователя и исследуемых – сложный комплекс факторов, влияющих на ход полевого этнографического исследования	56
<i>Логинов К. К.</i> К вопросу об этнолокальных и локальных группах русских Карелии	62
<i>Винокурова И. Ю.</i> Этногенетические истоки традиционных представлений о домашних птицах у вепсов	69
<i>Кузнецова В. П.</i> «Словарь живого поморского языка» И. М. Дурова как источник для изучения этнокультурных контактов	74
<i>Суутари П.</i> Перемены в национальной музыкальной культуре Карелии в 1930–50-е гг.	80
ПРИГРАНИЧЬЕ: ДИАЛОГ И СТОЛКНОВЕНИЕ КУЛЬТУР	
<i>Жуков А. Ю.</i> Этносоциальные истоки генезиса поморов. XV–XVI вв.	85
<i>Борисов И. В.</i> История горного дела Северного Приладожья	91

<i>Пулькин М. В.</i> Переводческая комиссия Архангельского Комитета Православного миссионерского общества (конец XIX в.)	97
<i>Дубровская Е. Ю.</i> Судьбы приграничья в «Рассказах о Гражданской войне в Карелии» (по материалам Архива КарНЦ РАН)	102
<i>Мусаев В. И.</i> Контрабанда в российско-финляндском пограничье как экономическая и политическая проблема (1920–30-е гг.)	106
<i>Дианова Е. В.</i> Кооперация и повседневность: будни и праздники жителей Карелии в 1920-е гг.	111
<i>Филимончик С. Н.</i> Городские школы Карелии в годы нэпа: новации и традиции	118
<i>Сенявская Е. С.</i> Влияние войн XX в. на формирование образа Финляндии и финнов в России	126
<i>Фролов Д. Д.</i> Советские и финские военнопленные 1939–1944 гг.	131
<i>Бутвило А. И.</i> Феномен национальной государственности: этнополитический и историко-правовой контекст	137
<i>Савич О. Ю.</i> Культурная жизнь в Карелии. 1940–1944 гг.	141
<i>Протасова Е. Ю.</i> «Рюсса»: кто это?	148
ФОЛЬКЛОРНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В СВЕТЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ	
<i>Криничная Н. А.</i> Мифологема сотворения мира и ее христианская трансформация (русско-карельские параллели)	155
<i>Дранникова Н. В., Ларсен Р.</i> Предания о чуди в норвежском и русском фольклоре	162
<i>Миронова В. П.</i> Карельская и ижорская эпическая традиция: к истории генетического родства	174
<i>Степанова А. С.</i> Изучение карельских причитаний в XX и начале XXI в.	179
<i>Степанова Э. П.</i> Скрытый мир плачей П. С. Савельевой	186
<i>Онегина Н. Ф.</i> Русско-вепско-карельские фольклорные связи на материале волшебной сказки	193
<i>Лызлова А. С.</i> Зооморфные персонажи – похитители женщин в русских и прибалтийско-финских волшебных сказках	199
<i>Дюжев Ю. И.</i> На грани литературы и фольклора (о прозе В. И. Пулькина)	206
<i>Маркова Е. И.</i> Проблемы идентификации писателей Карелии в постсоветский период	211
<i>Сойни Е. Г.</i> Образ Финляндии и проблема самоидентификации в поэзии Вадима Гарднера	216

<i>Чикина Н. В.</i> Современное состояние литературы на ливвиковском наречии карельского языка	224
<i>Койвисто Р. Р.</i> Преемственная связь романа Х. Тихля «Lehti kääntyy» («Страница переворачивается») с традициями финского критического реализма	229
<i>Лойтер С. М.</i> Особенности поэтики сказок Василия Фирсова	232
ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ДЕРЕВЯННОМ ЗОДЧЕСТВЕ РУССКОГО СЕВЕРА	
<i>Орфинский В. П.</i> К вопросу о сохранении и возрождении национальных культур (опыт междисциплинарных исследований)	238
<i>Бодэ А. Б.</i> Древний Новгород и Москва. О возможности взаимодействия традиций в деревянном зодчестве	244
<i>Борисов А. Ю.</i> Планировочные формы традиционных сельских поселений: опыт исследования этнических особенностей	249
<i>Слудняков А. О.</i> О времени распространения красного угла в крестьянских избах Северо-Запада России	254
<i>Гришина И. Е., Романова М. Е., Ляля Е. В.</i> Ареальные исследования традиционных бань Карелии и сопредельных территорий	260
<i>Косенков А. Ю., Ляля Е. В.</i> Геоинформационные технологии в изучении архитектурного наследия (на примере деревни Рубчейла)	265
<i>Патрашкова Н. А.</i> Архитектурно-планировочное решение этнолитературного музея в деревне Хайкола	270
<i>Воронецкая И. Ю.</i> О проектировании этноэкологических поселений в Карелии	275
БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ В ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКОМ РЕГИОНЕ	
<i>Клементьев Е. И.</i> Языковое право, политика, практика	280
<i>Grünthal R.</i> Itämerensuomalaisten kielten muutos suomalais-ugrilaisen kieli-kunnan periferiassa (Прибалтийско-финские языки на финно-угорской языковой периферии)	285
<i>Õispuu J.</i> Kaunokirjallisuus kirjakielen elvyttämisprosessin osana (aunuksen-kaŗjala) [Художественная литература как компонент возрождения национального языка (на примере ливвиковской литературы)]	291
<i>Зайцева Н. Г.</i> Двуязычие в культурном пространстве малочисленного народа	299
<i>Зайков П. М.</i> I инфинитив в диалектах карельского языка	304
<i>Korpaleva J., Kovaljova S.</i> Kirjakielten sanakirjat: historia ja nykyaika (Словари литературных языков: история и современность)	311

<i>Joki L.</i> Suomen kielen uudissanoista Kielitoimiston sanakirjassa (Неологизмы в новом толковом словаре финского языка «Kielitoimiston sanakirja»)	317
<i>Torikka M.</i> Karjalan kielen sanakirjojen hakusanoituksesta (О структуре словарной статьи в «Словаре карельского языка»)	322
<i>Федотова В. П., Бойко Т. П.</i> Собственно карельская лексика в диалектных словарях Финляндии и Карелии	327
БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. ЛЕКСИКА И ОНОМАСТИКА КОНТАКТНОГО АРЕАЛА	
<i>Крылова О. Н.</i> Знаковая символика женского севернорусского костюма	331
<i>Керт Г. М.</i> Критерии идентификации саамской субстратной топонимии	338
<i>Мамонтова Н. Н.</i> К вопросу о нормализации карельских и русских географических названий Карелии	347
<i>Рубцова З. В.</i> Историко-языковедческая незащищенность географических названий	352
<i>Приображенский А. В.</i> Реконструкция нарицательной лексики на материале русской топонимии Карелии разноязычного происхождения	357
<i>Колосько Е. В.</i> Характеризующая функция русского личного имени	361
<i>Пюльзю Е. А.</i> Экспрессивы со значением личностной характеристики в севернорусских говорах	366
<i>Михайлова Л. П.</i> Внешний облик русского слова в зоне этноязыкового контактирования	370
<i>Жаринова О. М.</i> Названия домашних животных в карельском языке	375
БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ	
<i>Коробейникова С. В.</i> Стилистика и эстетика языка как один из важных разделов преподавания основ перевода в школе	379
<i>Козяр И. П.</i> Влияние русского языка на лексику финского языка в Республике Карелия (на материале финноязычных газет и журналов 1960–1980 гг.)	384
<i>Полин А. А.</i> Отражение постсоветских реалий в финноязычных СМИ Республики Карелия	389
<i>Жукова О. Ю.</i> Образ дома в вепсских обрядовых плачах	394
<i>Гилоева Н. М.</i> Семантическая классификация обобщительно-определятельных местоимений	398
<i>Родионова А. П.</i> Прибалтийско-финские послелогии на ливвиковско-карельской почве	404
<i>Филиппова Е. В.</i> Отглагольные суффиксы имен существительных в диалектах карельского языка	407

Научное издание

**МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПОЛИЭТНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПОГРАНИЧНОГО РЕГИОНА**

Материалы международной научной конференции,
посвященной 75-летию Института языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН

*Печатается по решению Ученого совета
Института языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН*

Оригинал-макет *Т. Н. Люрина*
Обложка *И. В. Хеглунд*

Серия ИД, Изд. лиц. № 00041 от 30.08.99 г. Сдано в печать 16.01.06.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнитура Times. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 30,0. Усл. печ. л. 24,2. Тираж 500 экз. Изд. № 85. Заказ 357

Карельский научный центр РАН
Редакционно-издательский отдел
Петрозаводск, пр. А. Невского, 50